



# АРТ

## СОДЕРЖАНИЕ 6+

### **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ**

*«Силовое поле» памяти...* ..... 4

### **ПРОЗА. ПОЭЗИЯ**

*П. Сорокин. Предтеча. Роман. Продолжение* ..... 12

*Ю. Екишев. Записки о семейной рыбалке*  
(Главы из книги «Наскальные рисунки») ..... 30

*Л. Ануфриева. Горза, горза енэжас... Кывбурьяс* ..... 71

### **КАСТРЕН**

*В. Богораз-Тан. Кастрен — человек и учёный* ..... 80

*М.А. Кастрен. Финно-угорская мифология* ..... 97

### **ПЕРВАЯ МИРОВАЯ**

*О. Бондаренко. «К несению предстоящей военной службы*  
*считаю себя... вполне способным»* ..... 120

*А. Некрылова. Лубок Первой Мировой Войны* ..... 141

### **АРТ-ФАКТ**

*О. Орлова. ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА с глубоким*  
*поэтическим смыслом* ..... 170

### **ОБЗОРЫ. НОВОСТИ**

*Г. Бутырева. WWW.VAENGA.RU* ..... 180

*2014. Культура во. Год культуры* ..... 190

Приложение к журналу:

С. Журавлёв, А. Попов, Д. Фролов

«Край, где дали мне имя-отчество. Чужан му, кōні ним  
меным вичмис». Сборник стихотворений.

**Республиканский литературно-публицистический,  
историко-культурологический, художественный журнал**

**Республикаса литература, публицистика,  
история, культурология да художественной журнал**

Издаётся с 1997 года четыре раза в год на коми и русском языках.

Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной поддержке в форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-35079 от 23 января 2009 г. зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

**Учредители:** *Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям,  
Министерство национальной политики Республики Коми,  
МОД «Коми войтыр»*

Главный редактор — Бутырева Г.В.

Зам. главного редактора — Лимеров П.Ф.

Адрес редакции: 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.229, каб. 136, тел./факс: (8212) 201-499. E-mail: artkomi@mail.ru <http://www.artlad.ru>

Адрес издателя: 167982, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д.229, каб. 136, тел./факс: (8212) 201-499. E-mail: artkomi@mail.ru <http://www.artlad.ru>

© Журнал «Арт», № 4 (69)\_2014 г.

Подписано к печати 25.11.14. Формат: 70×100 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печать офсетная. Усл. п. л. 14,19 + вкл. 1,29.

Тираж — 1200 экз. Заказ 7179. Отпечатано в ООО «Коми республиканская типография» с дискет заказчика в полном соответствии с качеством предоставленных материалов, 167982, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81.

Цена свободная

Подписной индекс **78503**

Все права на материалы, опубликованные в номере, принадлежат журналу «Арт». Перепечатка без разрешения редакции запрещена. При использовании материалов ссылка обязательна. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

В оформлении обложки использована фотоинсталляция Сергея Разманова «Кольца Урала». Фото Е. Шубницыной. 2014 г.

В оформлении заставок использованы работы (©) Ю. Лисовского.

Материалы, не опубликованные в журнале, редакция не рецензирует и не возвращает авторам. Публикуя материал, редакция не обязательно поддерживает точку зрения автора.

Журналын йöзöдтöм гижöдгяс редакция оз рецензируют и авторьяслы найöс оз мöдöд. Редакция оз век во öти кывйö авторьяскöд.

# Благотворительность



## «Силовое поле» памяти...

*Людей, кто осуществляет благотворительную деятельность безвозмездно, бесплатно, в последнее время чаще называют ещё и волонтерами.*

*Есть ли таковые у нас, в нашей республике? Конечно! И в Сыктывкаре, и на Удоре, и в Ухте, и сегодня уже и в Усть-Куломе, — волонтерское движение получает всё более широкое продвижение. И как это ни удивительно, но самые яркие примеры благотворительности, волонтерства показывают сегодня ещё совсем молодые люди.*

*Журнал «Арт» уже писал о некоторых из них. Нашим читателям наверняка знакомы эти имена: Алла Александровна и Сергей Викторович Таскаевы. Это именно они и их воспитанники из республиканской Гимназии искусств им. Ю. Спиридонова три лета подряд трудились на восстановлении Ёртомского сельского храма...*

*А летом 2014 года все вместе они отправились в д. Габово, что в Усть-Куломском районе.*

*Зачем? А чтобы восстановить справедливость...*

### 1.

Забвение убивает дважды. Даже если мы не знаем, где нашёл последнее пристанище солдат, мы должны помнить его ИМЯ. Утрата памяти о героях может рассматриваться как акт символический, означающий разрушение системы ценностей существующего миропорядка. Почтительное отношение к мемориалам является важным составляющим элементом жизни всего общества.

Известный историк С.О. Шмидт отмечает, что «всякое захоронение, отмеченное памятным знаком, — всегда показатель отношения живых не только к умершему и к делу его жизни, но и к самой идее создания (сотворения) памятника умершему». Всякий мемориал в момент его создания — это свидетельство понимания взаимосвязи настоящего с прошлым, поддержание «силовых полей» памяти, обозначение существующей «связи времён». Здесь происходит «культурная» встреча со смертью и нас самих, и наших близких, образуя сферу нашего повседневного бытия, показывает отношение живых к усопшим...

Великая Победа над фашизмом дождалась своего благодарственного храма: построена прекрасная церковь святого Георгия Победоносца в Москве на Поклонной горе. Дождались своей часовни в честь Св. Вел. Георгия Победоносца и 24 солдата, ушедшие на войну из Габово, из далёкой северной глубинки.

### 2.

А всё началось с одной из наших поездок на родину Аллы Александровны, в дер. Габово...

Вместе с нами в этой поездке принимал участие и поэт Василий Лодыгин, тоже уроженец этих мест. И почти одновременно все трое мы пришли к мысли о строительстве часовни — в память 24 своих земляков, участников Великой Отечественной войны, из которых только семеро вернулись домой...

А в деревне об этом ничего не напоминало! Не было даже памятной доски в честь победителей... Раньше в России строили храмы воинской славы: Покрова на Нерли, Казанский Собор, храм Христа Спасителя. Это в центре страны. А в глубинке поднимали небольшие часовенки, малые безалтарные церкви, чтобы люди могли прийти туда и зажечь свечи перед иконами и помолиться о своих погибших солдатах на поле боя. Это были храмы-памятники. И именно такую часовню-памятник прошлым летом было решено возвести и в Габово...

### 3.

Вот несколько выдержек из исследовательской тетради воспитанницы нашей гимназии Анастасии Чалановой (с. Усть-Кулом):

«В годы войны военкоматами Коми АССР было призвано на фронт 179929 военнослужащих, 58577 воинов погибли в боях, умерли в госпиталях, пропали без вести. Такую суровую цену заплатил наш народ за Победу. Источниками нашего исследования стали тома Книги Памяти Республики Коми.

Наши помощники — специалисты рабочей редколлегии Книги Памяти Республики Коми Двинская Любовь Николаевна, Фурцева Галина Васильевна. По наградам удалось установить фронтовую судьбу ст. сержанта Лодыгина Ивана Фёдоровича (1925–2004 гг.) Приведём только один фрагмент из этих документов: «...Тов. Лодыгин в бою 09.02.45 года под д. Обендорф со своим отделением стремительно ворвался в населённый пункт, в уличном бою очистил окраину деревни от немецких солдат и офицеров, истребив при этом с отделением 12 гитлеровцев. Ходатайствую о награждении тов. Лодыгина орденом Славы 3-й степени. Командир полка майор Чекулаев 9 февраля 1945 г.»

Очень важным помощником для нас стал ответственный редактор районной газеты «Парма Гор», поэт-песенник Лодыгин В.Г., уроженец дер. Габово. Он провёл большую работу с информантами в Усть-Куломе, Зимстане, Кебанъэле. Все эти материалы были опубликованы в газете «Парма Гор» Усть-Куломского района в 2014 году.

В ходе сбора материала мы установили связь с 32 представителями семей фронтовиков, выходцами из деревни Габово. Большинство из них очень активно и позитивно отозвались на идею строительства часовни-памятника. В семьях сохранились фотографии, воспоминания. К сожалению, устные воспоминания о трудовом и боевом пути фронтовиков пока недостаточны.

Потомки солдат из «Габовского списка» были растроганы идеей увековечения памяти бойцов, поделились фотографиями и документами. Они внесли посильный финансовый вклад в строительство часовни-памятника. Всё вышесказанное даёт нам возможность утверждать, что потомки солдат, вынесших на своих плечах Победу над фашизмом, и сегодня осознают свою ответственность за сохранение памяти о ней, понимают, что война — это не только боль и страдания, но и наивысшая точка нравственного подвига нашего народа.

В результате совместной поисковой работы с Лодыгиным Василием Григорьевичем к 70-летию Победы планируется издание сборника «Габово: история и современность».

... И ребята, и взрослые с волнением ждали лета, готовились к нему.

Ещё в сентябре 2012 г. было принято решение о составлении «Габовского списка» — воинов из Габово и сборе средств на строительство часовни Во Имя Св. Вел. Георгия Победоносца (Лодыгин В.Г., Таскаев С.В.)

9 мая 2013 г. Совет ветеранов 28-й Невельской Краснознамённой стрелковой дивизии поддержал решение о строительстве часовни-памятника Во Имя Св. Вел. Георгия Победоносца в Габово Усть-Куломского района, ведь в «габовском списке» трое воинов, служивших в этой дивизии. Идея строительства часовни пришлась по душе и последнему ныне здравствующему бойцу дивизии председателю Совета ветеранов Конюхову Ивану Петровичу.

В марте 2014 года епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим благословил проект, состоялся сход жителей Габово. Обсуждали единственный вопрос — о строительстве часовни-памятника. Решили единогласно: «будем строить».

Закрутилась работа: заключение договора о строительстве маковки для часовни в Кирове, заключение договора со строительной фирмой «Монолит», открытие благотворительного счёта в ВТБ-24. В несколько этапов прошёл благотворительный марафон по сбору денег в «Гимназии искусств при Главе РК» им. Ю.А. Спиридонова.

17 апреля, с первым весенним солнцем, в Сыктывкар была доставлена маковка! Ах, какой это был праздник! Может, наконец-то мы и сами поверили, что всё случится! Будто солнца в городе стало больше!

#### 4.

И вот... лето.

С 20 по 30 июня на высоком берегу реки Воч, в центре деревни Габово, развернули свой «палаточный городок» участники лагеря-экспедиции «Дорога к храму-2014». Сорок воспитанников гимназии и школьников из Зимстана, педагоги, потомки погибших солдат, уроженцы усть-куломских деревень, все вместе взялись за дело.

21 июня Василий Иванович Лодыгин, сын одного из солдат-фронтовиков из «габовского списка» привёз строительные материалы. Всем лагерем, с криками «привезли, привезли...», бежали ребята навстречу машине, доставившей в деревню маковку. Ребята видели её только на фото во время благотворительного марафона,





а теперь: вот она, в грузовике, настоящая, переливающаяся золотом на солнце... Казалось, такая хрупкая, что вот-вот сломается, когда её выгружали. День был удивительно радостный, солнечный, и золотые лепестки маковки переливались на солнце, играли всеми цветами радуги... Такое не забудется. Это светлые воспоминания, уверены, будут вдохновлять ребят и потом, позже, уже во взрослой жизни.

В течение двух дней ребята работали на заливке фундамента: подняли грунт, сделали опалубку, мешали бетон, заливали фундамент, изготовили бетонные «стаканы» под крыльцо.

22 июня в деревню прибыл о. Александр Антонов, настоятель Петропавловского прихода села Усть-Кулом и освятил место строительства часовни. И вот что интересно. Дождичек был, пасмурно, а на момент освящения — небо просветлело, улыбнулось волонтерам... Под углы часовни была высыпана земля с братской могилы на Синявинских высотах Ленинградской области, где нашли последнее пристанище сотни солдат, призванных с коми земли.

В экспедиции с детьми работали и журналисты телекомпании «Юрган» (режиссёр Наталья Муравьева).

После фундамента начались работы по благоустройству территории: юные паломники прочистили канавку перед





часовней, а также водослив около места, где будет установлен крест в 2015 году.

По традиции, лагерь закончился небольшим концертом для жителей Габово.

С 1 июля детей сменила бригада строителей. Уже 3 июля к обеду подняли сруб часовни из 22-х венцов.

10 июля состоялась торжественная церемония завершения работы на часовне. Жителям дер. Габово, семье Шучалиных, Андрею Васильевичу и Зинаиде Алексеевне, были переданы ключи...

После освящения часовни, 6 мая 2015 года жители Габово могут в день Победы прийти в часовню и помянуть своих близких, родственников, солдат и тружеников тыла Великой Отечественной...

А все, кто строил часовню, пусть всегда будут под сенью креста, как под защитой...



**«Габовский список» (1941–1945 гг.)**

1. **Лодыгин Василий Иванович** (1909–1942), урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 24.08.1941 г., рядовой. Место службы: 144 СП 28 Невельская СД. Убит: 04.1942 г. Место захоронения: Псковская область Великолукский р-н дер. Сеньково (прим. недалеко от Ступинской высоты, которая находится в 30 км от гор. Великие Луки Книга Памяти РК, т. 3, с. 209.

2. **Лодыгин Владимир Фёдорович** (1899–1942), урож. д. Габово Дзельского с/с. Призван 02.02.1942 г., рядовой. Служил в 144 СП 28 Невельской СД. Убит 27.08.1942 г. Захоронен в Псковской обл. Великолукский район с. Полибино. Книга Памяти РК, т. 3, с. 209.

3. **Лодыгин Григорий Иосифович** (1922–...), после демобилизации проживал на Украине, здесь и похоронен. Книга Памяти РК т. 10, с. 420; Т. 8, с. 702: призван Усть-Куломским РВК 1922 г., судьба не установлена.

4. **Лодыгин Григорий Прокопьевич** (1918–1941) урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 19.08.1938 г., сержант. Служил в 161 СП 95 СД. Убит 19.08.1941 г. Книга Памяти РК, т. 3, с. 209.

5. **Лодыгин Дмитрий Николаевич** (1908–...), урож. дер. Габово. Призван Усть-Куломским РВК в августе 1941 г. Демобилизован в сентябре 1944 г. по ранению. Книга Памяти РК, т. 12., С. 471.

6. **Лодыгин Егор Иванович** (1916–1945), урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 27.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в мае 1945 г. Книга Памяти РК, т. 3, с. 209.

7. **Лодыгин Егор Прокопьевич** (1924–1943) урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 18.08.1942 г., сержант. Пропал без вести в декабре 1943 г. Книга Памяти РК, т.3 с.210

8. **Лодыгин Иван Васильевич** (1903–1969), урож. Габово. Призван Усть-Куломским РВК в январе 1942 г. Демобилизован в июле 1942 г. по ранению. Книга Памяти РК, т. 6, с. 755.

9. **Лодыгин Иван Владимирович** (1924–1944) урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 18.08.1942 г., сержант. Служил в 824 ГАП, 35 ГАБР, 15 АД. Убит 03.11.1944 г. Захоронен в Польше Варшавское воеводство. КП РК, т. 3, с. 209.

10. **Лодыгин Иван Фёдорович** (1925–2004 гг.), урож. дер. Габово, призван Усть-Куломским РВК в январе 1943 г. ст. сержант демобилизован в апреле 1950 г. Последние годы проживал в Сыктывкаре. Похоронен в Сыктывкаре в 2004 году. Книга Памяти РК. Т. 6, С. 755. Награды: ордена Слава II, Слава III, Красной звезды (не вручён), медаль «За боевые заслуги», медаль «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Два ранения, в т.ч. ранение под г. Сталино.

11. **Лодыгин Николай Иванович** (1916–1941) урож. Габово. Призван Сыктывкарским ГВК 20.12.1941 г., рядовой, служил 112 АП 28-й НКСД, ездовой. Погиб 06.10.1943 г. Похоронен в дер. Машенино. Книга Памяти РК, т. 3, С. 558.

12. **Лодыгин Павел Иванович** (1903–1943), урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 25.12.1941 г., рядовой. Служил в 285 СП, 93 ГСД. Убит 09.07.1943 г. Захоронен в Курской обл. село Непхаево (прим. ныне Белгородская область Яковлевский район хутор Непхаево). Книга Памяти РК, т. 3, с. 210.

13. **Лодыгин Пантелеймон Иванович** (1926–1944), урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 23.10.1943 г. Пропал без вести в октябре 1944 г. Книга Памяти РК, т. 3, с. 210.

14. **Лодыгин Степан Васильевич** (1912–1945), урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 18.08.1941 г., рядовой. Пропал без вести 12.05.1945 г. Книга Памяти РК, т. 3, с. 210.

15. **Лодыгин Степан Иванович** (1918–1943), урож. дер. Габово Дзельского с/с, рядовой. Служил в штабе 12 ОЛБр. Убит 16.01.1943 г. Захоронен в Ленинградской обл. дер. Липки. Книга Памяти РК, т. 3, с. 210.

16. **Лодыгин Степан Петрович** (1911–1971 гг.), урож. дер. Габово. Призван Усть-Куломским РВК в августе 1942 г., рядовой демобилизован в феврале 1945 г. по ранению, из-за контузии плохо говорил. Похоронен в Габово. Книга Памяти РК, т. 6, с. 755.

17. **Лютоев Александр Андреевич** (1927–1981), урож. с. Воч. Призван Усть-Куломским РВК в ноябре 1944 г., рядовой демобилизован в мае 1951 г. Похоронен в Габово. Книга Памяти РК, т. 6, с. 757.

18. **Лютоев Иван Васильевич** (1902–1969), урож. Габово. Призван в 1942 г. Книга Памяти РК, т. 6, с. 758; Т. 11, с. 521.

19. **Лютоев Иван Никифорович** (1904–1988), урож. Габово. Призван Усть-Куломским РВК в августе 1941 г. Демобилизован в марте 1943 г. по ранению, Книга Памяти РК, т. 6, с. 758.

20. **Лютоев Павел Андреевич** (1919–1981), урож. дер. Воч. Призван Усть-Куломским РВК в сентябре 1939 г., сержант демобилизован в мае 1946 г. Похоронен в Габово. Книга Памяти, т. 6, с. 759.

21. **Лютоев Сергей Никифорович** (1911–1989), урож. дер. Габово. Призван Усть-Куломским РВК в августе 1941 г., рядовой демобил. в марте 1943 г. по ранению. Похоронен в Габово. Книга Памяти, т. 8, с. 759.

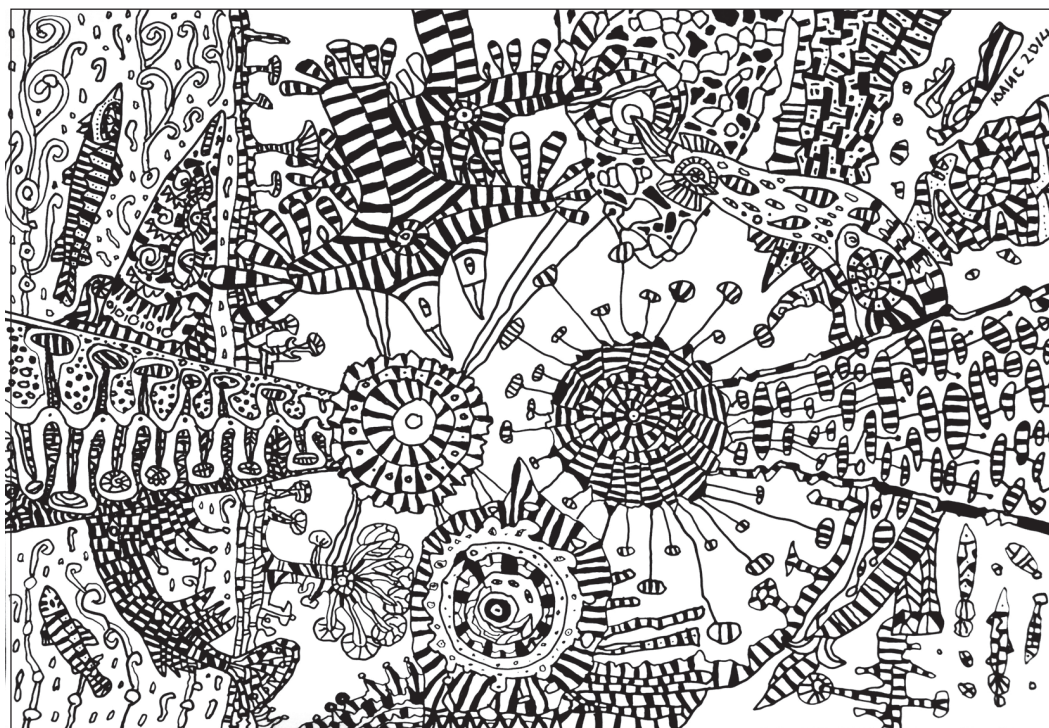
22. **Мизев Ефим Егорович** (1911–1941), урож. д. Дзель. Призван Усть-Куломским РВК 28.06.1941 г., рядовой. Пропал без вести в 1941 г. Книга Памяти РК, т. 3, с. 219.

23. **Морохин Изосим Николаевич** (1912–1943), урож. дер. Габово Дзельского с/с. Призван 11.09.1941 г., сержант. Служил 185 СП 224 СД. Пропал без вести 01.02.1943 г. Книга Памяти РК, т. 3, с. 225.

24. **Морохин Николай Иванович** (1911–1988), урож. дер. В. Воч. Призван Усть-Куломским РВК в августе 1941 г., рядовой демобилизован в 1943 г. по ранению. Книга Памяти РК, т. 6, с. 768.



# Проза. Поэзия





## Питирим Сорокин

*Питирим Александрович Сорокин (23 января 1889, село Турья Яренского уезда Вологодской губернии Российской империи — 10 февраля 1968, Винчестер, Массачусетс, США) — русско-американский социолог и культуролог. Один из основоположников теорий социальной стратификации и социальной мобильности.*

## Предтеча\*

*Роман*

*Начало в № 3 2014 года*

*Посвящ. Е.П. Баратынской*

### Часть вторая

### Идущий и не устающий (Записки Никуличева)

#### Глава 9

Хороши июньские вечера на севере. Чудесны вечерние закаты. Небо горит тысячами красок. Цветистые мазки сплетаются в волшебные хороводы, текут, переливаются и по краешкам причудливо золотятся лёгкой солнечной пылью; горят, румянятся и убегают, наконец, за забуренную полосу леса... Куда? — Далеко, далеко, в сказочное царство Майбыра. Приходит бело-голубая ночь, тихая, ясная, лёгкая... Нет ленивой истомы. Нет тяжёлого южного дурмана. Светло грезят цветы и деревья. Светло шелестят травы. Целомудренно дремлет река. Бодро и весело поют птички в зелёных лесах.

Просыпается утро, радостное, лёгкое. Откуда-то доносится ранний малиновый звон, плывёт он из-за лесов, будит тружеников и зовёт их к работе... Зелёные широкие поля раскинулись пышным ковром, слились с поёмными лучами и

\* Роман подготовлен к публикации М.В. Ломоносовой.

сбежали длинными рядами к широкой и чистой реке... Неслышно катится она, любовно льнёт к зелёным берегам, набегаёт на жёлтые пески, лижет их пенистым языком и всё грезит и грезит о чём-то своём, тайном, невыразимом...

В тихой молитве застыли сосновые боры. Тысячами колонн возносятся к небу стройные сосны, переплетаются в дивное кружево и отбрасывают его на пушистый ковёр белого ягеля. Сурово насупились седые мохнатые ели, обвеяли себя туманами, окружили болотами и молча думают думу великого севера. Застенчиво улыбается алый шиповник, тихо колышутся серебряные колокольчики, скромные, целомудренные. Не пьянят они, как розы, не дурманят, как цветы юга... Они грезят утренними и закатными зорями. И люди севера — люди зорь, бодрых, стальных и целомудренных. Душа их нежна — как душа колокольчика, суровы они, как сумрачные ели, стройны они, как сосны высокого бора, целомудренны — как шиповник, и крепки, как зимние морозы.

Хороши вечерние закаты на севере! Сильны северные люди!..

Кобылин поехал в свою деревню, к своей семье, а я — к старой бедной тётке... Быстро выдули буйные ветры горький осадок прошлого, быстро чистые реки смыли душевный пот, а ясные зори вдохнули новые в усталого странника.

Было радостно снова чувствовать себя ребёнком, новым, свежим и светлым. Вставал рано, с восходом солнца, и принимался за работу: пахал, чинил соху, борону, огороды, рубил дрова; ранними утрами ходил на работу, а по вечерам — неводил и ловил шустрых стерлядей самоловами. По праздникам собирались парни, старые приятели. Балагурили, вели разговоры, и дурачились с девушками.

Сладко пахло свежим кумачом от их сарафанов! Жадно впивали глаза яркую радугу их платьев! Весело звучал в ушах беззаботный смех загорелых красавиц!..

Наступила страда. Разошлись сильные руки, загуляла наточенная коса и... тихо ложилась подрезанная трава на тёплую землю.

Выйдешь на луг — зелёная трава тихо колышется. Волнами бежит и кланяется синему небу. Белые, красные точки, словно цветы, пестреют тут и там. То цветятся рубахи косцов. Вот они выстроились в ряд. В раз взмахнули руками, в раз запели светлые острые косы, и в раз, умирая, запела трава. Снова взмахнули руки и снова шуршат умирающие травы. Прошли раз — и широкий прямоугольник остался посреди волнующейся зелени. Устали... Побросали косы, и перекрестившись, кинулись в ласковую реку. Сошёл пот, и снова тело упруго, снова руки чешутся на работу и снова блестят остро отточенные косы. Приходит полдень — пора обеда; душистый мягкий хлеб, вкусное свежее молоко, пей — не напьёшься холодного квасу. Сладко, ах как сладко растянуться на чистой траве под лучами солнца! Надвинешь на лицо шапку, закинешь руки за голову, и сразу заснёшь.

Поспишь час — и снова работа. А вечером, когда уйдёт под землю жаркое солнце, когда заиграет в воде тихая зорька, радостно закинут косу за плечи и с песней, — старой русской песней, длинной, переливчатой, хватающей за сердце, — возвращаться на ночной отдых. В страдную пору сон глубок и крепок, грудь дышит легко, и сны беспокойные не летают над страдным усталым телом.

Хороша, ах как хороша страдная пора на севере!

\* \* \*

Легко и радостно провёл я лето. Приближалась осень. Нервы отдохнули. Душа помолодела. Сил накопилось много. Куда их деть? Чем ближе к осени, тем вопрос вставал резче и резче, и требовал ответа...

Думал, думал и ничего не выдумал, как ехать в Петроград. Бобыль, без кола и двора, я не мог быть крестьянином. В учителя не брали. Петроград — единственный выход... К тому же решению пришёл и Кобылин.

— Поедем. А там увидим, что делать; важно только, чтобы можно было учиться, а как, при каких условиях — это вопрос второстепенный. С голоду не умрём, а если придётся поголодать, так, слава Богу, дело привычное. Коли сапоги будут драны — тоже не новость. Э, чего тут тужить! Голова на плечах есть, и, слава Богу, не дырявая, а мускулы — гляди-ка, полюбуйся, говорили мы друг другу, хвастая налившимися после летних работ мышцами.

Самый важный вопрос был — как доехать до Питера. За лето ничего я не заработал. Взять было не у кого. Просить не хотел. Но «случай» помог и тут. В один вечер пришёл ко мне дядя Максим, как его называли в деревне.

— Слушай, Митрий, не выкрасишь ли ты у меня лавки, полки и печи в избе. Бабе, вишь, больно захотелось. Не даёт покою.

Я охотно согласился, проработал три дня, выкрасил, разрисовал цветами, львами всю избу, и заработал 3 р. 80 коп.

— Теперь можно двигаться, спокойно решил я, и не очень заботился, что одна дорога в Петроград стоила не менее 25 рублей.

— Для начала есть, — весело сказал я Кобылину, — а там посмотрим.

В первых числах августа, с 3 р. 50 коп. в кармане, с мешком сухарей, я двинулся в город, чтобы там сесть на пароход. Туда же приехал и Кобылин.

Заплатили за билеты и чувствовали себя полными господами. Мочили сухари в воде и ели. Доехали до железной дороги. Сели зайцами. У Кобылина были деньги, но если бы он поехал по билету, нам пришлось бы расстаться. Меня бы высадили, а его нет.

— Значит, и я зайцем, — сказал он, — коли высадят, так обоих. Много смешного и много грустного было за дорогу. Три раза высаживали нас, составляли протокол. Шли от станции до станции пешком, ехали в товарном вагоне, — короче — всего было вдоволь. Но разве остановишь человека, решившего во что бы то ни стало попасть в Петроград? Рано ли, поздно ли, мы должны были попасть туда — и попали. У меня оставался полтинник в кармане, у Кобылина 4 р. 23 коп.

— Если есть по пятикопеечной булке в день и платить за ночлег по гривеннику, то мы можем жить целых шестнадцать дней, — высчитали мы, — значит, тужить нечего.

Вспоминали Ломоносова и повторяли слова Додэ: «Теперь нас никто не знает, но через 15–20 лет город будет нашим». С бодрым настроением вышли мы из вагона, с любопытством присматривались к людям, к бешеной суете, прислушались к смутному гулу.

Вот он какой, думал каждый из нас про этот город.

— Комнаты от полтинника и дороже, — подскочил человек в зелёной куртке

с большими светлыми пуговицами. Это превышало нашу смету и мы гордо прошли мимо.

Вместе с толпой мы вышли из вокзала и потонули в текучей людской волне.

## Глава 10

Привет тебе, бездушный истукан! Великий жёрнов человеческих душ, каменный возбудитель и дымный огонь, манящий человеческих светляков. Сколько людей проглотил ты в своей пучине! Как много юных мгновенно старело на твоих мостовых. Сколько жизней сломано и скомкано в твоих кирпично-булыжных застенках! Распластал ты каменные лапы, впился ими в болото, а остриё своих зубов вонзил в небо и дышишь ему в лицо клубами дыма, смрадами испражнений и проклятиями жертв. Глохнут стоны в твоих застенках, пудра скрывает твои язвы, а тонкая вуаль культуры твоё прокажённое тело. Привет тебе, великий город! Бездушный палач и бездушный благодетель! Не ты ли вознёс на вершины неба канатных плясунов и духовных импотентов? Не тебе ли обязаны многие пьяным экстазом вдохновения? Не ты разве ковал так же бездушно — те кирки и лопаты, которые рушат прошлое и творят будущее? Как быстро ты впился в душу, выросшую среди бесконечных лесов, обвеянную снежными вьюгами, наполненную ароматами полевых цветов и закатами тихого вечера!

Камень... и железо, камень и железо. Всюду, везде и всегда... стискивают они клещами душу сёл и тихих полей. Она стонет, жмётся, грустит. И либо погибает, либо... либо сама одевается в каменно-железный чехол. Мы не погибли. Оделась и наша душа в каменно-железную броню бездушия и безразличия.

Многое пришлось пережить здесь. Голод, нужду, грязь, унижение и оскорбление, всё зло, которым богат город, всё, кроме преступления и разврата.

Безработица... Жизнь в углах... Работа на заводе... грошовые уроки... случайная литературная работа... таковы этапы нашей жизни в городе.

Скоро побледнели обветренные щёки... Быстро прорезалась паутина морщин на лицах. Лихорадочный свет загорелся в тихих, как лесное озеро, глазах. Лицо стало угловатым и жёстким.

Через два-три года я себя не узнавал. А в итоге — лицо стало какой-то маской, бездушной и бледной... Пусть, так нужно и так лучше...

Всего труднее было поступить на курсы. Везде требовали плату, а откуда взять её? Просили устроить нас на курсах одного, другого. Но лицемерная улыбка и лицемерное «жаль, рад бы, да не могу», — было ответом. Так отвечали почти все, особенно же популярные и либеральные общественные деятели и профессора. Помог в конце концов свой же человек, прошедший, быть может, ещё более суровую школу, чем мы. Сын рабочего, до 20 лет работавший на заводе, он после тысячи бед добился до профессуры. Но заняв её, он был заклёван своими коллегами и теперь жил в одиночестве, окружённый немногими своими учениками. Жил и находил утешение в написании дивных сказок, обходимых молчанием критики, и в творчестве философских трактатов, не признаваемых узколобыми коллегами...

— Настоящее меня отвергло. Живу для будущего... Быть может, оно сумеет

оценить меня. А, впрочем, и это утопия... Почему глупые люди вдруг в будущем станут умными? — грустно иронизировал он над собой.

— Дорогой друг! И ты будешь скоро признан. Придёт и к тебе вещая слава, и быть может, немного залечатся твои раны. Ты стоишь этого более, чем тысячи признанных божков, презираемых тобой!

— Что ж? Попробуйте... Только боюсь, что и Вы разобьёте свои головы о камни города. Тогда уж пеняйте на себя, — просто, с грустной улыбкой сказал он в ответ на нашу просьбу, — на курсы я вас устрою, но смотрите, горя будет много, а радости мало. Не лучше ли обратно в деревню?.. Быть по вашему. Коли уж очень тяжело будет — приходите, может, сумею помочь Вам. А по пустякам не беспокойте. Я не нянька. Вы не на бал идёте. И меня никто не гладит по голове, — с внешней суровостью предупредил нас этот добрейший человек.

Курсы... Экзамен зрелости... Университет... Его окончание. Начало профессорской карьеры... разрыв с учёными руководителями. Провал на магистерском экзамене. И одинокая замкнутая жизнь, работа в течение 6–7 лет — вот краткое резюме петроградской жизни. Можно добавить к нему ещё два ареста, иначе говоря, две государственные командировки для практического изучения тюремного ведения и мира преступников...

...Целые годы уложились в этом десятке строк. Чёрные значки спокойно лежат на белом листе бумаги, и будущий биограф прочтёт их, как читают curriculum vitae перед защитой диссертации...

Но если бы воскресить всё это, что замкнуто в эти строки, если прогнать читателя сквозь строй этих годов, пройденных мною, едва ли бы многие из них выдержали до конца. Думаю, не многие. И, конечно, не мягкотелые отпрыски обеспеченных классов. Что было — то было. Ни я, ни Кобылин не погибли. Я стал холодным камнем, а он расточительным шутником. Когда горе давило душу — я замыкался и молчал, а он — смеялся сквозь слёзы. Бывает и так...

...Во второй год столичной жизни приехали Мозжухины. Отец Лизы был назначен в Государственный Совет, и вся семья переехала в Петроград.

Я знал об их приезде, но не пошёл к ним.

— Зачем идти бедному слесарю в важный дом. Там ему не место. Опять скажут: одному можно говорить всё, другим — нельзя. Сделают кисло-сладкую улыбку в лучшем случае, а в худшем — прогонят без церемоний...

Да и с чего я мог думать, что когда-то целовавшая меня дочь теперешнего сановника будет помнить обо мне, бывшем агитаторе и теперешнем рабочем? Разве мало людей на свете? До меня ли ей теперь! Что вызовет моё появление, кроме досады за прошлую глупую сентиментальность? Ничего... пожалуй, ещё вздумают эти гуманные люди помочь мне, дать выгодный урок или пристроить на место. Возможно... Но пусть другие Лазари питаются милостыней и крохами с барских столов. Я же голодал, но милостыни не просил и не буду просить её даже в любви!!!

Так думал я и не шёл к ним вплоть до поступления в университет, и до появления моей первой напумевшей статьи. За все эти четыре года только два раза видел я Лизу: однажды издали в театре, другой раз на улице. Оба раза она меня не видела...

Когда появилась статья «О моральном нигилизме» — я отправил её Лизе,



тогда уже учившейся на курсах. Подпись была простая: «в воспоминание о прошлом».

На второй же день я получил письмо, с благодарностью за память и с приглашением посетить её.

Зачем я поехал тогда? Обрадовался как ребёнок, прыгал у себя в комнате, целовал письмо и готов был плакать от радости.

Важный лакей встретил меня и проводил в гостиную. Сердце отчаянно билось, замирал дух от волнения, пока я сидел и ждал. Кое-как успокоился.

Через несколько минут вошла и Лиза, выросшая, созревшая, но такая же лёгкая, такая же гибкая и прекрасная.

— Вон каким Вы стали, — с любопытством осматривая меня, сказала она. — Вас и не узнать.

В этот раз мой костюм был вполне приличен.

— Изменились и Вы, стали ещё лучше, — тихо заговорил я.

— Ну рассказывайте, где Вы пропадали все эти годы. Вы, право же, похожи на какого-то сказочного духа. Исчезнете и вынырнете, вдруг, неожиданно. Какой Вы нехороший! Хоть бы весточку, хоть бы открытку черкнули! — ласково упрекала меня собеседница.

— Нельзя было, Елизавета Александровна. Тяжело было... Трудно... А жаловаться я не люблю, поэтому и молчал. Теперь легче стало, вот и исправил свою вину. Обо мне неинтересно говорить. Поговорим лучше о Вас. Как Вы жили и живёте?

— Жила... Училась... Учусь... Выезжаю с визитами. Пишу стихи, вот и всё. Скучно, не о чём говорить... вот и чай. Садитесь поудобней и начинайте свою повесть... Я очень прошу Вас. Я, ведь, думала, что вас не увижу уже в живых.

— Неужели же Вы хоть раз подумали обо мне, — с трепетом в душе спросил я.

— Конечно. Помните тогда в усадьбе. После вашего бегства — Вы как в воду канули. Мне было грустно, очень грустно. Я даже плакала. Потом узнала, что Вас ищет полиция. Было страшно за Вас. Несколько вечеров я молилась Богу, чтобы Он сохранил Вас. Вы молчали. Встретить Вас здесь... Но Вы ничего не давали знать о себе. Я решила, что Вы умерли, или где-нибудь на ссылке, и, понятно, стала забывать Вас. И вдруг, Вы воскресли, — журчали задушевные слова. Грусть легла на милые черты, а глаза глубокими лучами проникали в самое сердце души.

— Не ожидал и не думал я этого... Я думал — усадьба была минутным капризом. Уйди я — и через день-два Вы меня забудете. Спасибо Вам за память. Не вините и меня за молчание... Я кратко объяснил, почему не давал знать о себе. Рассказал и свою жизнь за эти годы.

— Вы, прямо железный какой-то, — задумчиво ответила девушка. — В воде не тонете и в огне не горите. Я, право, завидую Вам, Дмитрий Николаевич. Вам есть, что вспомнить. Вы можете сказать, что Вы живёте. А мы не живём, а так, тянем изо дня в день. Окружающие люди скучны и бесцветны. Флирт да карты, танцы да мазурка. Слава Богу, наука спасает, да стихи...

Целых два часа провели мы в искренней беседе. И в эти два часа мы сблизились, подружились... Какие-то тайные нити протянулись между нами и связали друг с другом.

С этого времени мы часто встречались, встречались у Лизы, в театре, на концертах, в аудитории.

Несколько раз она заезжала и ко мне в гости, в первый раз вместе с братом, потом — одна. Мозжухины сначала принимали меня хорошо и радушно. Когда же заметили, что их дочь начинает привязываться ко мне и, пожалуй, даже не прочь полюбить меня, они пустили в ход дипломатические меры с целью помешать нашему сближению. В их глазах едва я не был человеком, ухаживающим за сановитой невестой и её приданым. Такой брак в их глазах был, конечно, мезальянсом, и потому — был нежелателен. Да и сам-то я был ненадёжным: студент, литератор, революционер — того и жди — придут и арестуют. И эти люди были правы. Я не мог быть партией и не думал быть ею. Я просто любил Лизу. Любил глубоко, целомудренно и свято. О будущем не спрашивал. Едва ли думала о будущем и она, по крайней мере, никогда не говорила.

Чем бы всё это кончилось — не знаю. Но пришёл Воеводский. На меня обрушились неудачи... и любовь умерла. Я снова исчез, как и раньше. Разница та, что теперь едва ли интересовались мной и едва ли искали меня. Прошло уже семь лет с тех пор... а я жив, и скоро снова вынырну. Но теперь и мне уже безразлична Воеводская. Моей Лизы нет. Она умерла семь лет тому назад. Я похоронил её. Готов был сам сойти в могилу. Но выжил. Должно быть я и в самом деле железный. В огне не горю и в воде не тоню. Нельзя иначе, друг мой. Мы создатели будущего и потому мы должны жить, жить во что бы то ни стало. Мы — «обречённые на жизнь».

О жить, и жить! И чувствовать себя  
 Тем выше, тем сильней,  
 Чем жарче бьётся сердце.  
 Жить радостно, светло, когда все удаётся.  
 Когда же рок, мечты весенние губя,  
 Всю силу смелых рук упрямо иссушает,  
 То вопреки всему, что давит и смущает,  
 Жить напряжённей, жить страстней  
 С поднятой гордо головой.  
 Мечтать с огнём в очах,  
 У жизни вырывать в бою  
 Все то, что только есть у ней  
 Высокого, прекрасного, святого.  
 Мечтою достигать до высшей из наград,  
 До Ханаана золотого, венчающего жертв неисчислимый ряд!  
 Вот завет Баяна обречённых.

...Сегодня последний день моего отдыха. Завтра еду снова туда... На работу... Пора...

Прочёл свои записки и подвёл итоги своей жизни. Я доволен ими. Накопленный капитал даёт право ходить по земле с гордо поднятой головой. Пережитое делает мою жизнь богаче, чем жизнь большинства. Пройденный мною путь — длиннее, чем путь любого странника истории. Судьба прогнала меня сквозь весь строй жизни, начиная с её низов и кончая вершинами духа. Всё пережито, испы-

тано и превзойдено. Препятствия, побеждённые мною, многочисленны и нележки. Не все могут их перешагнуть. Многие падают. Не потому, что они слабы, а потому, что барьеры непреодолимы. Вечная память Вам, шедшие и не дошедшие. Спите спокойно! Вы были сильнее тех баловней судьбы, которые шли по гладкой тропе жизни, проложенной им заботливыми родителями и мощной золотом! Не велика их заслуга. Она вся в том лишь, что они не отстали от течения. А Вы пытались бороться с ним, преодолеть его... и потому гибли... Я, в числе немногих дошёл. Сила моего разбега победила инерцию истории. Теперь мой молот поднят. Он готов. И скоро-скоро с грохотом обрушится он на наковальню истории и будет бить неумолимо и беспощадно. Закружатся колёса общественного механизма, заскрежещет сталь моего резца и будет высекать статую будущего. Полетят горящие искры, зажгут они тёмные леса, проведут широкие просеки, осушат застоявшиеся болота, просверлят туннели в горах. И глаже будет дорога обречённых, которые пойдут вслед за мной. Чрево народа будет рождать их, а его палец указывать им великий путь. Я уже вижу их, идущих по ней. Вижу сотни, тысячи и миллионы. И пойдут они и не будут больше падать. Не будут гибнуть силы их бесполезно, и меньше жертв будет валяться на путях истории. Идите же, милые друзья! Баловни судьбы стали плохими машинистами исторического паровоза. Нужны новые вожаки! Ими должны быть Вы. Я — ваша предтеча, — протягиваю Вам руку через пропасть времени, жму её, и приветствую Вас. Верю и знаю, — Вы будете сильнее меня. Я недостойн развязать ремни Ваших ног. Но знаю так же, что Вы помяните меня добрым словом. А теперь — смело к будущему!

— Крепки ли мускулы?

— Есть!

— Ясен ли ум?

— Есть!

— Готова ли бомба? Всё ли предусмотрено?

— Есть.

— В таком случае, — ВПЕРЁД! ПОЛНЫЙ ХОД! К грядущему без колебаний!

## Часть третья

### Полдень

#### Глава 1

— Здравствуй, брат, — протягивая руку вошедшему в кабинет Никуличева, сказал молодой изобретатель, — давненько я не видел тебя.

Вошедший что-то неясно промычал в ответ, это был человек лет 35, одетый в поношенный пиджак и обтрёпанные брюки, при пристальном и внимательном осмотре можно было заметить значительное сходство его лица с лицом Никуличева. Только оно было — худое, со впавшими щёками, землистого цвета, с множеством

мелких морщин и глубокой впадиной между бровями. Глаза вошедшего то быстро-быстро бегали, то вдруг — застывали, словно замерзали под тяжестью какой-то навязчивой мысли.

— Ну, садись, вот сюда. Ты поди голоден. Александр, принесите ему ужин, — обратился он к прислуге.

Пока вошедший ел — Никуличев внимательно рассматривал его.

— Однако ты изменился, изменился таки порядочно, — промолвил он. — Давно ли из тюрьмы?

— Неделю тому назад.

— Ну и как? Снова думаешь за старое ремесло и опять в тюрьму, а то, быть может, и на каторгу хочешь?

— Что ж делать, конечно, за старое, — ответил вошедший. — Куда я пойду? Кто меня примет? Да и мне не хочется кланяться. А что ж тюрьма? Не привыкать. Не в первый раз, — усмехаясь продолжал тот.

— А каторга?

— А что каторга? И на каторге люди живут. Да ещё как.

— Значит, не надоело ещё. Чего доброго поди успел уже по выходе кое-что «сделать».

— Есть грех. Не дарма же жить, — опять усмехаясь, промолвил вошедший. — Что там спрашивать — надоело или не надоело. Не в этом дело. Теперь хоть бы захотел я бросить — не бросить. Потому, я человек конченный. Да и ради какого чёрта я буду бросать «ремесло!» Поступать что ли на фабрику, околевать ради какого-нибудь жирного фабриканта. Нет, брат, врётся. Пусть дураки работают, коли хотят, на то они и дураки. Им чем больше влетает, тем приятнее. А мне это не по вкусу. Да и память у меня не ушла. Ты думаешь, прощу я «их» за то, что они со мной сделали? Не они разве засадили меня в тюрьму? Не ради них я пошёл «ремеслом» заниматься? А сломанная рука? А эти полосы по телу? Не они разве надирали? Ноют они, брат, у меня, ох как ноют в погоду! Так пусть же и они поноют! В каторгу, так в каторгу, а свои долги я выплачу им! Будут они помнить меня, — с ненавистью в глазах, беспорядочно размахивая руками, говорил вошедший.

— Кто это они?

— Кто? Да «они». Все богатые. Все Вы.

— И я в том числе?

— А от чего нет? Вишь, у тебя палаты-то какие. Видно разбогател и ты. Одного поля ягода с ними.

— Да, Пётр, ты, я вижу, умён по-прежнему. Однако ты ошибаешься. Всё это не моё. Всё это чужое.

И тут Никуличев кратко объяснил ему суть дела, скрыв от него моральные задачи лаборатории.

— Любопытно, — процедил тот. — Ты знатным химиком стал.

— Так ты говоришь, что не хочешь сделаться честным.

— Нет, не хочу.

— А если бы я помог тебе, дал бы работу, устроил бы тебя.

— Не мели пустое. Сказано тебе — не хочу, и значит, не хочу. Да и поздно. Горбатого могила исправит.

— Ну, что ж, дело твоё. Хочешь — ладно, не хочешь... — спокойно ответил учёный.

— Уж не за этим ли ты грехом разыскал меня, — иронически спросил вошедший.

— Имел в виду и это, а главное, узнал о тебе случайно и захотелось повидаться. Поди ведь лет пятнадцать не виделись.

— Ну, это другой разговор.

— Сколько же в последний раз отсидел ты?

— Два с половиной года.

— За кражу?

— Со взломом, насилием и прочее. Попросту за грабёж.

— Однако...

— Не вздыхай.

— Не хочешь ли посмотреть, кстати, мою лабораторию? Занятого много, а торопиться тебе сегодня некуда. В тюрьму попасть успеешь ещё.

— Что ж, показывай. Авось и пригодится. Может, когда и к тебе понаведаться, так лучше местоположение будем знать, — всё тем же саркастическим тоном продолжал вошедший.

Никуличев позвонил.

Зашёл лаборант — молодой студент.

— Юрий, приготовьте всё для полного опыта, вплоть до кинематографа, — подмигивая вошедшему, промолвил Никуличев, — и пригласите Кобылина.

Через десять минут они вошли в зал, прозванный «морализующим».

— Вот садись сюда, — указывая на кресло, обратился к брату Никуличев. — Сначала посмотрим картины. Тот сел.

Стало темно. На полотне стала развёртываться какая-то картина. Никуличев незаметно сделал знак рукой двум сторожам, сам взял от лаборанта вату, обмакнул её в какую-то жидкость, по запаху немного похожую на хлороформ, и одновременно со сторожами, схватившими сидевшего за руки, поднёс вату к носу брата и стал держать её.

Сидевший сделал движение, но быстро потерял сознание и замер.

— Оглушён. Теперь он ничто. Сознания нет, а следовательно, нет и преступных вожделений. Будем продолжать наш опыт, — говорил Никуличев.

— Это и есть твой братенёк? — обратился Кобылин к нему.

— Да.

— Ну и живодёр же ты, Дмитрий. Да и везёт же нам. Не надо искать материала, — своих родных много. Лежи, братец, не дрыгай, лежи во славу науки, — говорил Кобылин, помешивая какую-то жидкость в мензурке. Ничего, полёживай. Можешь гордиться тем, что ты первый из «неисправимых», кого мы быстро переделаем. За тобой пойдут десятки, тысячи и миллионы. Плохо ли, брат?

— Готова пробуждающая эссенция?

— Да.

— Коли так, к делу!

В зале воцарился полусумрак, послышалось мерное и монотонное тиканье. Оба учёных наклонились над сидевшим. Кобылин осторожно и медленно стал

подводить стеклянку к носу Петра, а Никуличев — начал равномерно делать монотонные пасы. Так продолжалось минуты две-три. По мере того, как Пётр пробуждался (жидкость имела своей задачей именно не мгновенное, а медленное и постепенное пробуждение сознания), по мере того пасы становились всё механичнее.

— Вот сейчас ты начнёшь приходить в сознание. Но ты не проснёшься, а заснёшь. Ты уже начинаешь спать. Ты уже спишь. Правда?

— Я уже сплю,— послышался глухой ответ.

— Теперь ты будешь слушать только одного меня и делать — сегодня, завтра, и всегда — лишь то, что я прикажу тебе. Ты слышишь?

— Прежде всего, ты будешь чувствовать отвращение к тюрьмам, к преступникам и преступлениям. Не будешь ни красть, ни убивать, ни насиловать, ни обманывать, ни пить, ни играть в карты. Затем тебе будет скучно без работы, и ты захочешь усердно делать то, что я прикажу тебе. Будешь в досуги читать и находить в этом интерес. Завтра в 8 часов придёшь в эту залу, сядешь на это кресло и заснёшь.

Всё, что я тебе сказал, ты запомнишь и исполнишь. Забудь о том, что ты загипнотизирован и при пробуждении думай, что ты заснул. Теперь исполняй то, что я приказал тебе.

— Дайте свету! — крикнул Никуличев лаборанту.

Сидевший вздрогнул и открыл глаза.

— Никак я уснул,— потягиваясь, сказал он.

— Немудрено, ты устал, да и поздно. Ты, вероятно, хочешь спать. Ступай за Александром, он проведёт тебя в твою комнату. А завтра тебе будет указана работа. Спокойной ночи! А ты, Иван, зайди ко мне!

— Как ты думаешь, удастся нам этот опыт? — обратился Кобылин к Никуличеву, когда они очутились в комнате.

— Отчего ж? Раз предыдущие удавались.

— А не думаешь, что у твоего брата, того... преступные манеры глубококонько проросли. Как бы не чересчур сильны они оказались?

— Конечно, с ним повозиться придётся дольше. И дольше придётся очищать его душу, но всё же в месяц я надеюсь и выстирать её до чиста, и переделать её, и закрепить новые формы, уже не в качестве форм загипнотизированного, а в форме нормально бодрствующего человека. А затем его можно пустить на волю. Впрочем, он, вероятно, останется при нас. Он нам пригодится.

— Дай Бог. Эх, Дмитрий. Право же молодцы мы с тобой. Дела наши подвигаются и... недурно. А ведь не думали мы, что такими фокусами будем заниматься, когда зайцами ехали в Питер или жили за заставой!

— Ты, да «случай помог», как обычно говорят. Не будь тебя — не далеко б я уехал.

— Перестань, без тебя мне и в голову ничего подобного не пришло бы.

— Ну, ладно, не будем считаться. Нам спорить не о чём и делить нечего. Хватит работы и славы на обоих. Как чувствует себя Лена?

— Хорошо, она с Витей всё возится. Больно уж подружились они.

— А Витя доволен своими учениками?

— Что и говорить. Два часа гуляет, 8 спит, остальные 14 делит пополам:

7 для своих работ по плану общественных и Государственных реформ, 7 на своих двух учеников.

— Ну, спокойной ночи, Иван. Привет Лене.

— Спасибо. И тебе спать пора!

Прятели расстались.

## Глава 2

Описанная сцена происходила через 3 года после первого визита Никуличева к Шахматову, и происходила уже в новой лаборатории, выстроенной на средства банкира. Несмотря на то, что с постройкой её торопились, всё же понадобилось два года, чтобы довести постройку до конца. Дела было не мало. Никуличев и Кобылин не могли доверить никому и потому неизменно присутствовали сами.

Через два года, на одной из окраин Петрограда, где раньше тянулся большой пустырь, выросло белое трёхэтажное здание, необычной архитектуры, с какими-то странными выступами и выемками. Кругом шла решётка, запиравшаяся днём и ночью.

Кобылин с Леной, Никуличев с Витей, 2 лаборанта, 3 студента и ещё два ребёнка поселились в этом здании под видом владельцев особняка.

Сами жильцы занимали очень немного комнат: всё остальное было занято лабораториями для различных исследований, комнатами для маленьких детей, а в нижнем этаже помещались животные, начиная от простейших и кончая высшими позвоночными, в особенности высшими видами обезьян.

Центр лаборатории составляли две залы, из которых одна носила название «интеллектуализирующей», другая — «морализирующей».

Каждая из них имела стены, абсолютно не пропускавшие никакого шума. Войдя в неё, каждый чувствовал себя в царстве молчания. Не слышны были даже звуки его собственных шагов.

По стенам, по потолку и в середине первой залы тянулись какие-то странные машины, огромные собирательные и развивательные стёкла. Приборы для производства различных шумов и ударов, трубы, шедшие неведомо куда, электрические провода, проведённые к креслам, громадное полотно и кинематограф.

Посреди залы, на возвышении, стояла «логическая машина», сконструированная по плану самого Никуличева. Она была лишь отдалённым подобием логической машины Джевонса. Её характерной чертой было то, что любое суждение можно было сразу перевести в письменную форму и эту письменную форму машина механически отображала на громадном полотне.

Основная задача этой комнаты, сложное устройство которой нелегко описать профану, заключалось в развитии быстрого и в то же время весьма прочного усвоения сообщаемого — с одной стороны, с другой — в развитии логической способности мышления.

В начале своих исследований Никуличев исходил из старой по существу мысли: прежде всего учащемуся следует сообщить фактические данные. Усвоение этих данных, раз они поняты, дело памяти. А память сводится к установлению прочных ассоциаций. Вся задача обучения сводится поэтому, рассуждал Никуличев, именно

к тому, чтобы выяснить, в чём же секрет прочных ассоциаций. По своему опыту и по наблюдениям над другими он знал, что в жизни каждого человека есть события и знания, которые не забываются всю жизнь, во всех своих деталях. Многие студенты помнят тот билет, который им достался на экзамене, иные — то или другое событие. Он сам до мелочей помнил сцену похорон своей матери. Поэтому первая цепь исследований Никуличева была направлена на открытие таких «иксов», которые влекут за собой эту «вечность памяти».

Так как в один час можно сообщить бесконечно много, то раз такой метод «вечного» запоминания найден, — тем самым весьма и весьма ускоренно и обучение.

А раз ассоциаций достаточно, и они достаточно прочны, рассуждал он, тем самым дана и способность логического мышления. Ибо мышление в простейшей своей форме есть ни что иное, как та же ассоциация. Следовательно, этим достигается и развитие логики. Для окончательного развития этой способности остаётся только провести в ум ученика руководящие линии, дать ряд рецептов, опять-таки фиксирующихся навеки и потому неуклонно соблюдаемых. Здесь помощником должен быть учитель, или усовершенствованная им логическая машина, позволяющая проверять правильность не только силлогизмов, но и индукции и метода больших чисел.

Этой, с виду простой, но практически бесконечно трудной задаче и было приспособлено устройство «интеллектуализирующего» зала.

И действительно, он оправдал себя. Взятые для опыта два мальчика — один 5 лет, другой 7 лет, в течение года прошли всё то, что знает средний студент первых курсов. Эти результаты оправдывали предположения учёных и давали им ту неутомимость, без которой едва ли мыслима была бы их деятельность.

Вторая основная зала была «залой морализования» или как шутя называл её Кобылин, «чистилищем и прачечной человеческих душ». Главную её особенность составлял своеобразный, какой-то усыпляющий полусумрак, скорее даже сумрак, наступавший одновременно с каким-то монотонно-ритмичным шумом, похожим на шум дождя об крышу. В сумраке таяли все предметы, выделялась только светящаяся зеленовато-зелёная точка, таинственно, на подобие светляка, мерцавшая где-то в углу и невольно приковывавшая к себе внимание. Временами, во время сеансов, здесь распространялось какое-то благовоние, от которого хотелось дремать, терялась воля, усыплялось сознание и человек становился безвольным, мягким, как воск, из которого можно лепить что угодно.

Такова была главная особенность этой залы. И здесь по стенам, в углах, на потолке и на полу виднелось множество странных и мало понятных приборов. Я не в состоянии детально описать устройство и назначение каждого из них. Зато считаю необходимым сказать пару слов о сущности тех принципов, на которых была построена Никуличевым и Кобылиным система быстрого изучения поведения и характера человека. Для своей цели я воспользуюсь первоначальными заметками Никуличева, попавшими в мои руки.

«Всякое воспитание, — значит в черновых набросках Никуличева, — сводится к двум вещам: 1) к тому, чтобы запечатлеть в ум воспитываемого то или иное правило поведения: например, «не убий», «не укради», «не будь обидчиком», 2) к тому, чтобы это правило оставалось не только правилом, но и обладало



силой подчинять себе поведение человека, иначе говоря, чтобы оно вошло в плоть и кровь человека, стало настолько действенным, что против него человек не может поступить или нарушить его лишь при совершенно исключительных обстоятельствах.

Первая задача проста, вторая — сложна. Для того, чтобы достичь её, нужно: 1) усыпить сознание совершенно; тем самым усыпляются и все импульсы, которые толкают человека на тот или иной нежелательный акт, 2) пользуясь гипнозом — в гипнотическом состоянии внушить лицу желательное правило и заставить его исполнять его. 3) Возобновляя гипнотические заряды — держать человека более или менее долго в линии желательного поведения. 4) Благодаря многочисленным актам повторения, хотя бы в гипнотическом состоянии, эти акты будут рикошетом влиять на психику, уничтожать в нервной системе старые следы и проводить новые, соответствующие новому правилу поведения, 5) а тем самым они войдут в привычку и станут исполняться через некоторое время без гипноза, в нормальном состоянии, — «добровольно». 6) Для ускорения этого процесса благоприятствующим обстоятельством служит усиленный обмен веществ в организме и в особенности в нервной системе, а следовательно все те реактивы, которые без вреда дают этот эффект, пригодны. /Задача Кобылина/

1) В исключительных случаях уместно хирургическое вмешательство в нервную систему, — искусственное исправление извилин и нервных нитей, с целью удаления ненужных следов и создания новых. / Нужно будет вместе с Кобылиным сделать ряд опытов./

Таковы были вчерне набросанные основы «стирки и утюжки человеческих душ».

Путём многолетней работы Никуличеву на их почве удалось развить и сформулировать ряд точных теорем механики поведения и найти способы практического осуществления своих положений...

### Глава 3

Утро только начиналось. Гудели гудки фабрик, расположенных вокруг лаборатории. Снег голубовато-белой пеленой лежал на пустыре, тянувшемся вокруг научного здания. Было около 7-ми часов. Никуличев сидел и просматривал последние листы корректуры своей книги. Через некоторое время он кончил эту работу и позвонил.

— Просите ко мне доктора! — сказал он вошедшему студенту.

— Здравствуй, — обратился он к явившемуся Кобылину. — Прости, что побеспокоил тебя. Дело в том, что нам надо условится, когда мы выступаем с докладом. Так как твоё изобретение давно готово, а моя книга выйдет через несколько дней, — то, думается, нет больше оснований ждать. Пора, пожалуй, и на улицу.

— Что ж, идёт. Но каков твой план?

— Мой план таков, я думаю, что лучше всего дебютировать и тебе и мне в Академии Наук. Там, вероятно, сначала поёжатся, но потом, волей-неволей принуждены будут признать наши работы. Одновременно выйдет моя книга. На французском и английском языках она уже появилась недели две тому назад.

И со дня на день я жду откликов оттуда. Затем, мы устроим целый ряд публичных выступлений. На них будут депутаты и общественные деятели. Вслед за этим подадим мотивированный доклад в комиссию парламента по народному образованию и министру.

Этого, пока я думаю, будет достаточно. А месяца через два — я рассчитываю быть приглашённым на доклад в Иностранной Академии. Таким образом, толчок будет дан, а к следующей зиме, я надеюсь, наше дело из вопроса научного превратится в вопрос социальный, в боевой лозунг, вокруг которого завяжется борьба классов и партий. Вот главное. Как ты думаешь?

— Я вполне одобряю тебя.

— Иван, а тебе не жалко порывать с тихой, творческой работой? Ведь, делая эти шаги, — мы прощаемся с ней, по крайней мере, на время. Мы выходим на улицу. И наши имена, как и всё, что попадает сюда, пойдут трепать на перекрёстках, валять в грязи, пойдут намёки, сплетни и прочее. Не знаю, как ты, а мне немножко грустно.

— Но что ж поделаешь? Ведь надо! Конечно, прошлое, быть может, самое счастливое время в нашей жизни. Но то, что добыто, должно быть выявлено. Э! не беда, Дмитрий. Не нам с тобой пугаться. Да и нет худа без добра. Наше дело сразу найдёт тысячи и сотни тысяч работников. И то ли весело заживём мы! Эхма! Есть о чём горевать!

— Превосходно, Иван. Итак, значит, на улицу?

— Да, на улицу. Только не забудь захватить с собой палку, да покрепче, пригодится.

— Ладно, мой друг. обойдётся и без палки. А теперь, вот что. Вот видишь эту статью? Она пойдёт в ближайшем номере «Обозрения науки» и содержит в себе критику — и думаю уничтожающую — всего «гуманистического солидаризма», во главе с Воеводским включительно. Я начинаю выход на улицу с нападения, а ты, кажется, с патента на свой «сверхумород».

— Валяй, во славу Божию! Давно пора одёрнуть этих болтунов! Хотя не забудь, этим ты наживёшь себе врагов среди гуманистов-либералов — и как парламентской партии, и как общественной силы, и как печатного слова, в лице «Звука» и «Времени».

— Не беда. Всё равно это неизбежно. Поэтому лучше уж сразу выступить с открытым забралом.

— Да, пожалуй, что иначе и нельзя.

— Вот и всё главное. На днях поеду к академику Каракозову и условлюсь с ним относительно дня заседания. Теперь же еду в редакцию «Обозрения», а ты займись здесь порядком и ребятками. К обеду приеду.

— Добро.

— Итак, на улицу? — тряхнув головой, хлопнул Никуличев по плечу Кобылина.

— Итак, на улицу, — улыбаясь, повторил доктор, круто повернулся на одной ноге, помахал руками и шутливо запел: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою». Или нет, — оборвал он, — лучше «Отречёмся от старого мира. Попадём мы с тобой в каземат». Чего доброго, нам дадут, пожалуй, титул «Спасителей отечества». Приятно, Дмитрий, а? Помнишь, как голодранцами спасали отечество?

— Ну, ну, ладно, — добродушно рассмеялся Никуличев. — Перевей своё горе верёвочкой! Ладно. Отправляйся к себе. А я распоряджусь, чтобы перед выходом на улицу нам дали обед, да посытнее.

— До свиданья!

#### Глава 4

— Ты не читала ещё эту статью? — спросил Воеводский, подавая жене номер «Обозрения».

— Вчера кто-то прислал мне номер. Уже прочла, — разливая кофе, ответила Елизавета Александровна.

— И что же? Как ты её находишь?

— Как тебе сказать. Статью писал во всяком случае человек не глупый. Мне думается, многое здесь схвачено правильно. Я бы, пожалуй, со многим примирилась, но тон статьи невозможен.

— И я тоже нахожу его возмутительным. Статья не глупая, это правда, надо будет ответить. Уж и разделаю же я его.

— Ты думаешь?

— Да. Я сегодня же сажусь за неё. Но любопытно, кто бы мог написать её? Ведь ясно, что «Отверженный» — псевдоним.

— Не знаю... Узнай. Справься у Гиршмана.

— Лучше бы ты это сделала. Тебе удобнее.

— Хорошо.

Елизавета Александровна Воеводская была на этот раз не вполне откровенна с мужем. Статья «Гуманисты-либералы и г. Воеводский» ей показалась статьёй уничтожающей. Чья-то опытная рука писала её и метко наносила удары противнику, вскрывая пустоту красивых фраз, которыми полны были теории «гуманистов». Путём глубокого анализа работ Воеводского, как лидера, автор показывал невежество и неверность их теоретических положений. Комментируя практическое поведение партии и её лидеров, он выводил их на чистую воду.

И в итоге, как теория, так и практика гуманизма, лишённая пышного словесного убора, получила нищенски-жалкий вид, способный вызвать и негодование, и горькую улыбку. Сила статьи увеличивалась ещё живым, но убийственно-ироническим тоном, на который и жаловалась Воеводская, хотя в глубине души она, помимо своей воли, находила стиль мощным и любовалась им. Не так легко отнёсся к ней и Воеводский. Не лишённый способности самокритики, он ещё при беглом просмотре почувствовал, что за ней кроется враг сильный, что удары его попадают прямо в цель и пробивают немалые дыры.

Вошёл лакей и подал газеты.

— Так и есть, уже есть заметка по поводу статьи, — просматривая «Звук», сказал Воеводский.

— Есть статья и в «Начале», — отозвалась его жена.

— Вот как... Что же пишут?

— Статья озаглавлена «Изнанка гуманизма». Излагается сущность статьи «Отверженного», и вполне одобряет её.

— А здесь профессор Сеницын напротив ругает её.

— Тр...р...р... — зазвонил телефон. Воеводский взял трубку.

— Слушаю. А, здравствуйте. Читал, сейчас читаю, и Вашу статью. Да, да. Я сейчас же сажусь за ответ и вечером пришлю его в редакцию... Обязательно... По-видимому, кто-то начал предвыборную кампанию. Спасибо. Непременно... До свиданья.

— Звонил Сеницын. Я сейчас сажусь за статью, — целуя руки жены, сказал Воеводский и пошёл в кабинет.

Елизавета Александровна осталась одна и занялась чтением газетной статьи. Кончив её, она задумалась. В её голове стоял вопрос: кто бы мог быть автором этой статьи. Любопытство её, помимо всего, усиливалось ещё фактом присылки ей неизвестным автором номера «Обозрения». Статья была специально подчеркнута синим карандашом и перед ней стояла надпись: «Елизавете Александровне, в воспоминание о прошлом, в знак памяти и оплаты, от автора». И ещё два слова: «Скоро увидимся». И только. Кто бы это мог быть. И почему эта надпись и специальная присылка? И что значит это: «скоро увидимся». Быть может, это один из врагов её мужа. Быть может, один из её многочисленных поклонников, неотмеченных ею, желающий обратить на себя внимание? Странно... Кто бы это мог быть, думала Воеводская и мысленно пыталась открыть неизвестного автора. Представляла то одного, то другого из общественных фигур, литераторов, учёных. Но ни одно из предполагаемых лиц не годилось по той или иной причине. Мысль же о Никуличеве ей не приходила в голову, не приходила потому, что со времени случайной встречи на концерте, она его не видела и ничего не слыхала о нём. «Позвонить разве Гиршману, — подумала она. — Он член редакции «Обозрения» и должен знать, кто автор этой статьи».

Воеводская подошла к телефону.

— Это Вы Соломон Моисеевич?.. У меня к Вам просьба. Не можете ли Вы сказать мне, кто скрывается под псевдонимом «Отверженного». Почему же не можете... Мне-то могли бы сказать... Само собой это останется между нами... Кто?.. Да что Вы?.. — воскликнула она с испугом, и затем спокойно спросила, кто он такой. — Вы говорите, что не знаете ничего о его прошлом, но думаете, что это просто удачно дебютирующий публицист. Жаль. Ну, большое Вам спасибо. Во вторник, надеюсь, увижу Вас у себя. Будем рады. Милости просим. До свиданья...

Так вот он кто — этот «Отверженный». Некто, как выразился Гиршман, Никуличев. И образ молодого учёного, с полуиронической улыбкой, застывшей на его губах и с загадочной фразой: «Слово — серебро, молчание — золото» встал перед княгиней... Вот на что значит намекал он при последней встрече. Но как могла она не догадаться сразу о нём? Ведь стиль его знаком ей. Впрочем, этой холодной, разъедающей иронии раньше не замечалось. Что же означает в таком случае это нападение? Неужели месть отверженного, неудачника, не сумевшего выбиться на широкую дорогу и теперь жалащего победителя-соперника?

Нет, такое предположение мало похоже на Дмитрия. А впрочем, кто его знает. Она так давно не видела его, что, быть может, он уже не тот, что был прежде. Но в таком случае, тем хуже для него. Неужели этим он думает возмездие вернуть потерянное? «Напрасно, мой друг, — с усмешкой проговорила Воеводская. — Гуман-

ный солидаризм Вам не опрокинуть, он слишком прочно стоит. А нам видется незачем. Не написать ли ему об этом? Пожалуй».

Княгиня пошла в свой кабинет и быстро набросала: «Господин Отверженный! Е.А. Воеводская благодарит Вас за присылку статьи. Она прочла её с удовольствием, но полагает, что видется нет надобности. Воеводская».

На конверте стояло: «Редакция «Обозрения науки». Г. Отверженному».

— А теперь и я отвечу ему статьёй, — решила Воеводская. — Попробуем поднять брошенную перчатку.

## Глава 5

Академик Каракозов был исключительной «фигурой» в среде русских академиков. Учёный с крупным европейским именем, известный за границей не менее, чем в России, он был последним из того славного поколения, которое дало дворянство в памятные дни конца 19-го столетия. Громадного роста, с большой бородой и добрыми лучистыми глазами, он обладал широкой русской душой. Чуждый узкого доктринёрства, чуткий к зовам жизни, он резко отличался от среды других академиков.

— И за что меня выбрали в Академию, ей Богу не знаю, — шутливо заявлял он не раз своим друзьям. — Готтентотских языков я не изучал, манускрипты Рамзеса не расшифровал, а выбрали.

— Помилуйте, — отвечали собеседники. — А ваши исследования о быте и нраве самоедов? А «Промышленно развитие Европы»? А десять томов «Происхождения нового режима»?

— Ну полноте, за это могут выбрать в Париже или в Риме, но не у нас. Ведь едва ли кто-нибудь из них раскрывал хоть одну из этих книг. Впрочем, и я не в долгу у них. Раз раскрыл я один из выпусков Академии по отделу восточных верований, и на пятой странице заснул. Просто зря выбрали, — доканчивал он.

Лишённый позы и педантизма, он добродушно осмеивал всё, не щадя и себя самого. Стоило послушать его, поглядеть на его барское лицо, посмотреть, как вся его фигура, в особенности его большой живот, колышется от смеха — и нельзя было не прийти в хорошее настроение и нельзя было не полюбить его. Благодаря этим и другим своим качествам — он пользовался исключительной популярностью в России, и как человек, и как общественный деятель. Имя Каракозова или «Мастодонта», как его прозвали многие, служило для многих групп и партий связующим звеном. Где был Каракозов — туда шли без колебаний все честные и осторожные работники: это имя служило гарантией порядочности дела и мысли. К Каракозову же за советом шли и молодые учёные. Не затушёвывая своих мыслей, он умел понять их, умел дать совет всякому, в ком была искра таланта. Бесталантных он гнал. Любитель весело пожить, хорошо поесть, он и работал как монстр. То, что он делал, было под силу немногим. Принимая деятельное участие в верхней палате, и в общественной деятельности, и в науке, он находил время и для советов, и для отдыха, разумно соединяя приятное с полезным.

*Продолжение следует...*



## Юрий Екишев

*Юрий Анатольевич Екишев (родился 6 апреля 1964 г. в Сыктывкаре) — современный писатель, драматург и сценарист, математик, политический и религиозный деятель. Занимается литературным творчеством с 1989 года. Сферой его деятельности до середины 1990-х гг. были переводы и подготовка к изданию православной литературы на коми языке. В 1996 году Ю. А. Екишев опубликовал повесть «Под защитой» в журнале «Континент», которая принесла ему известность общероссийского масштаба. В 1997 году журнал «Континент» (Париж) принял к публикации серию очерков Ю. А. Екишева о Коми крае «На краю Российской земли», где молодой писатель раскрыл себя как талантливый публицист. Начиная с 1997 года, Ю. А. Екишев активно публикуется в*

*журнале «Арт». Успех первого номера журнала во многом связан с публикацией киноповести «Родвуж андел» (Ангел рода), сопровождавшейся предисловием известного русского кинорежиссёра А. Сокурова. С 1998 г. в журнале были опубликованы: повесть «Люди Твоя», роман «По глаголу Твоему съ миромъ, по закону Твоему с любовью» с приложениями в виде пьес «Борик, Витик и Хиппи», «Один только знак», «Давид и Ависсага» (Арт, 1998–2000), «Дыхание ветра». В 2002 году в г. Сыктывкаре отдельным изданием вышел сборник произведений Ю. А. Екишева «О любви от третьего лица», в который вошли лучшие его повести и роман. В 2008 г. в Санкт-Петербурге вышла книга «Россия в неволе».*

## Записки о семейной рыбалке

(Из книги «Наскальные рисунки»)

Начало в № 3 2014 г.

### Запах дома

Конечно, я не только бегал на речку и бредил рыбалкой. Бывали дни, когда всё это наскучивало: и комары, и постоянно промокшая одежда, и бестолковое бесклёвье, и летящий, путающий до психа снасти, сплетающий поплавок с удочкой узлами при неловком забросе, холодный северо-восточный ветер — и тогда так уютно было долго и сладко спать, устроиться дома на весь день и никуда не идти. Хотя, шестое поющее чувство, считающее дни и минуты до школы, подталкивало из дома в лес, к речке, к неизвестным тайнам и красотам, и оно же, от речки, особенно из дальнего похода — ещё как завлекало и манило домой, в бесконечный ежеминутный уют и покой, царившие во всех уголках дома.

Дом наш был большой, как теплоход, севший серёдкой на мель, и от середины, прочно оперевшейся на землю, он немного покосился в обе стороны. Как заходишь

во двор, закрываешь за собой калитку — сбоку в траве летняя печь (несколько кирпичей с чугунной треснувшей плитой и ведром вместо дымохода). Ещё несколько шагов — широкие плахи лестницы (под которыми, если уж очень срочно надо, всегда лежит пара-тройка жирных красных червей) и высокое крыльцо с дедовой подковой. Внутри крыльца — крутая лестница и по обе стороны от неё — по широкой половице для всякой всячины: здесь и наши рыбацкие мелочи, садки, подсачки, и ведро с комком червей под слоем жирной чёрной земли, удобренной спитой чайной заваркой... Здесь стягивают с себя самое опостылевшее и надоевшее — сапоги, бродни, недосушенные у костра портянки, скидывают насквозь промокшую, прокисшую от пота и давленных с кровью комаров, одежду — штормовки, ватники, замызганные рабочие брюки, чтобы потом занести их охапкой на печь.

Массивная домовая дверь с большим кольцом — часто стучат им, а кто знает — поворачивает, открывая странную, тугую толстую кованую щеколду. И за дверью — вечный прохладный полумрак длинных сеней, упирающихся в маленькую лесенку, по которой три ступеньки вверх — и в проём проскакиваешь на огромный, в половину дома, сеновал, под неплотными половицами которого раньше, когда бабушка была ещё в силах — были видны мельком загородки для тёлки, овец, свинок — которых я помню слабо, только мельком отсвечивающие, щетинистые розовые бока, их настороженную, ожидающую кормёжки, возню, когда заберёшься сюда, в уголок, в отхожее место (устроенное дедом в виде продолбленных колод). Пристраиваешься со старым, тут же выдернутым из сваленной печки, журналом — а они внизу чувят, шумно вздыхают, чем-то погромыхивают в надежде, что это я залез скинуть им охапку сена, а не!.. Для них бабушка уже запарила картошки, пусть жрут...

На правую руку в длинных сенях обитая дерматином и войлоком дверь в дом, в жилую половину, состоящую из двух. Зимней тёплой части (сразу в горнице русская огромная печь — корабль, с резными штуками за печкой, полатами, спуском в подвал, и дальше — комната с обычной печью-плиткой). И холодной, неотапливаемой, немного таинственной, заманивающей каким-то необычным движением — большие окна пригнаны неплотно, и утром, и днём, когда солнце стоит над этой стороной — тут гуляет и свет, и ветер, а под вечер наступают таинственные сумерки, оживляющие старые газеты, приклеенные под давно оборванные обои, и весь хозяйственный разноразмерный, сваленный здесь по углам. Сундуки, проклеенные изнутри фотографиями и картинками, старинными бумагами, красивыми позолоченными облигациями. Глухо отзывающиеся на щелчок пилы без ручек, давно выпавших из своих гнёзд. Старинные, лежащие общим железным скопом, кованые гвозди. Огромные, хищно кляцающие ушками, амбарные замки, ключи, не подходящие ни к одному из домашних замков; берестяные туески, наполненные какими-то слежавшимися угольками, старыми рассохшимися шишками; расхлябанный буфетик с разлётшимися на старых пожелтевших обрывках газеты поколотыми списанными гранёными рюмками, слегка позванивающими от редко проезжавшего по улице трактора или грузовика, будто охотники на привале рассказывающие друг другу — а помнишь, а помнишь... По углам, сложенные стоймя в угол, неизвестно чего ожидавшие, непонятные мне детали каких-то домашних деревянных станков... Один такой, действующий, я

видел в Визинге, у бабы Насты, которая долгими зимами ткала длинные красивые половики из разноцветных тряпочек, скрученных из отжившей своё одежды. Я даже сделал парочку-другую стежков-полосок, набив их туго одну к другой качающейся особой плахой — и был несказанно горд этим: вот, видите, не совсем уж я городской и непутёвый — сообразил, как и что к чему тут устроено, как ловко ныряет между ниток проводов челночок, как выплетается тряпочный шнур... — и осторожно отошёл: а сколько они-то за свою жизнь выткали?!.. Ведь везде, и по избам, и даже у нас в городе, в коридоре — эти нарядные половички... Сколько они вынесли, переделали, все мои бабушки-прабабушки? Для кого? И когда мама в городе искала какие-нибудь разноцветные нитки, которых нужно было много на такой половичок — я делал круг и обегал все известные мне магазины, ну хоть чем-то помочь... Мне было их остро-преостро жаль, моих одиноких бабушек, что они вот так, вручную, везде вручную, бились дома, горбились с криворукими косами-горбушами на лугах. И я мечтал — вот будет у меня трактор, или что ещё — я всем вмиг помогу, всё быстро переделаю. От бабушек мои мечты перекидывались к играм, или ещё к чему другому: проникну туда, в прошлое, и изменю всё к лучшему, был бы у меня пулемёт — вот я засел бы вместе с царём Леонидом в Фермопилах. Уж я бы один вместо трёхсот спартанцев показал бы этим наглым персам! (Это, конечно, начитавшись — наглотаившись исторических книг у визингской бабули...)

На этой холодной половине жилой части дома я любил играть, и это была моя территория, куда взрослые заглядывали редко и ненадолго. Там стояла в углу у окон огромная деревянная высокая кровать с сенными матрасами-тюфяками, и когда не было холодно, мне там стелили. И я жил там, обустроивался, как хотел, выскакивая иногда на зов бабушки к обеду или к чаю. Все мои двоюродные братья-сёстры ещё ползали в пелёнках, или, наоборот, жили где-то по далёким городам — и я играл один вволю, от души, создавая уникальный, хрупкий, одному мне понятный и подчиняющийся мир, которого зашедший увидеть не мог, не догадываясь из чего он состоит.

На одном из подоконников доживала свой век полустёртая икона с неистребимым победно-голубым фоном — можно было разглядеть фигуру с грозным, острым мечом. Еле различимая надпись титлами «ахггг мих.» говорила мне, что это был архангел Михаил. Почему он бабушкой не помещался в красный угол горницы, где были гораздо более тёмные и сумрачные лики — не знаю. Наверно, из-за того, что слишком стёрлось и осыпалось изображение. Или она устала от всё не кончающейся, бесконечной войны, в которой даже ангелы, не то что мужики, были однорукими и покалеченными. Однажды, хорошо разглядев икону, я поставил её обратно, и больше не трогал, только изредка взглядывал на неё — как он там, стоит ли он на страже, одинокий архангел с мечом, охраняет ли нашу мирную всё же жизнь?

Не помню, как оказался там маленький трёхколёсный велик для начинающих двух-трёхлеток — может, дядя Миша, ответственный к тому времени работник райкома комсомола, купил для своих ещё мелких Марианны и Максима — но я, уже гораздо более великовозрастная детина, нещадно взгромоздился на него, и, не помещаясь коленями, враслопырку гонял по этой, совсем не холодной половине — наоборот, без печек, без комнатных перегородок, с небольшой, углом, горкой



посередине — это была идеальная трасса, чтобы что-то изображать из себя, мчаться, падать, вновь подниматься и гнать вперёд, за восемьдесят секунд вокруг своего света.

В тёплой комнате было тесно для моих игр. В горнице, постоянно проходной, между печкой, столом, местом для одежды и умывальника — и негде пристроиться. А в комнате, с комодами, с печкой поменьше, и шкафом, и ещё двумя кроватями — уютно было только отдыхать, по очереди валяясь на кроватях. Бабушкина, низенькая, стояла у задней стены, под росписным, смородиновых и угольно-травяных цветов, ковриком, на котором неизвестный мастер ширпотреба изобразил восточного богатыря, булавой стремившегося размозжить голову тигру, которого он держал, задирая верхнюю хищно оскаленную часть пасти, вскочив к тому же верхом ему на спину. Этот воин почему-то смотрел не на свою жертву, а на меня, будто вопрошал — ну, что, бить, не бить? Раскрошить ему пасть своей булавой? Но я был против — сам решай, и он всё ждал и ждал, когда же его отпустят, заставив принести роскошную полосатую жертву...

Бабушкина кровать помещалась ровно в нишу между жёлтым фанерным шкафом и окном. Ещё одна кровать стояла сбоку, не доходя до бабушкиной, повдоль окон, на которой лежало несколько матрацев, так что она была по-царски высока, вровень с подоконниками. На этом ложе, застелённом застиранными, выцветшими, старого рисунка в мелкий цветочек, мягкими простынями, так приятно было нежиться в дождливую погоду, лёжа наблюдая, как скользят по старому, в потёках времени, окну, крупные капли-слёзы, как они кропят тут же, рядом посаженные, кусты смородины, чувствуя, как дождь по-кошачьему скребёт и скребёт дом, крышу, стены, мерно покапывает по торчащему из дровяника кустку толи, как струйки дождя, собираясь во всех желобках и воронках, стекают гирляндами вниз, занавешивая всё пространство за окном — огород, соседские одинокие дома, сгорбленную крышу конюшни, мокнущую под горой пекарню, и дальше — луга, речку с моими канавами, бережками, местечками-водоворотами, вадыбские луга, тайгу, чёрные ожерелья далёких деревень по верхушкам холмов — полмира... А ты в одеялке, в сухости, с книгой, потрескивает печь, варится жирный деревенский суп из баранины... Бабушке надо воды, на чай, а так лень, хотя нужно-то всего два движения — даже не надо идти к колодцу — только сунь ноги в сапоги, да выбеги на миг, схвати ведро, полное уже до краёв сладкой, с пенкой, дождевой водой — подумаешь, пара капель попадёт за шиворот — а всё равно лень, ох как лень... — всё оттягиваешь миг, что придётся вставать, впрочем, прислушиваясь — чтобы бабушка не зашуршала одеждой, сама собираясь за водой — вот тогда пора!.. Иначе будет поздно, когда она молча, зайдёт, звякнет ведёрной ручкой — перед собой-то спящим не притворишься...

У бабушки был старинный телевизор. Уж не помню всех семейных тонкостей — то ли это был наш, старый, городской, то ли привезли его из Визинги, когда бабушка Анна купила себе модель поновей — «Весну» что ли? Папка с дядьками чуть не каждое лето заводили разговор, что нужно новую антенну, каждый раз заканчивавшийся тем, что в один день быстренько снимали с шеста старую, плетёную паутиной из побелевших от старости алюминиевых проволочек, и водворяли на место... Как они ни старались, но изображение то рябило, то снежило, то стояло ровно посередине между кадрами. Всё было зыбко, двоилось и троилось,

звук безбожно шуршал, прорываясь в некоторые дни волнами сквозь пелену дождей, а иногда и вовсе пропадая из-за каких-то севших, уставших лампочек, неизмеримо пыльных и старых, что по одному внешнему виду допотопной колбы можно было смело предположить, что это изделие времён царя Гороха, догагаринское и доракетное уж точно. Но мне для счастья — хватало и этого: летней далёкой Олимпиады, прорывавшейся чуть не с утра до вечера сквозь снежащий эфир в нашу глушь; почти невидных где-то в искривлённых уголках слепой линзы подслеповатого экрана цифр секундомера, замирающих вместе со вскриком комментатора за миг до мирового рекорда; изогнутого чуть не в молнию долго летящего копыя скачущей на одной ноге метательницы, тоже искажённой нашими местными помехами и грозами просто в человека, не, не женщину, не мужчину, балансирующую над пропастью заступа микельанджеловскую фигурку-птицу... Я следил, болел, волновался, тихонько любясь красивыми женщинами, их стройным бегом, их потусторонним синхронным плаванием, делясь с бабушкой своими восторгами от выигрышей, рекордов, своими прогнозами на матчи и переживаниями. А бабуля, оказывается, ходила в лес, по своим местам, на болотце — и носила домой каждый день ягоды — морошку, созревающую первой.

Я помню это несколько варварское упоение — блюдец с посахарённой сверху ярко-жёлтой морошкой передо мной на табурете, а сам я в кресле, стареньком, тоже откуда-то привезённом доживать свой век — и я весь там, где неровные полоски олимпийского бассейна, и движущиеся бурунчики пловцов (будто сопротивляющиеся пойманные рыбы) — и подсчёт медалей, сколько у нас будет, когда кончится этот заплыв, сколько у американцев? И ревновал к их незаслуженным успехам, и лелеял гордость за наших... Морошка таяла при этом совершенно незаметно... В кратком перерыве между репортажами я бежал к стоявшей в холодке трёхлитровой банке и, потрясывая её, пробивал верхний сахарный лёд, сыпал себе ещё — и бежал обратно, не задумываясь ни на миг — я только ем, а откуда она там берётся каждый день? И уж тем более — каково достается бабуле на болоте в эту самую комариную и оводную пору? Я просто знал, что это и есть бабушкина безмолвная безмерная любовь ко мне, и что у меня было право пользоваться ею, тоже безгранично, иначе что это за любовь?! — и я пользовался!.. Ведь это было правильно — когда я могу, я тоже хожу на рыбалку, ловлю, как папка, и ляпок, и палтанов, и подъязыков, и щучек... — ну не в точности как он, поменьше, но всё же, я тоже заботился о других, как это, наверно, привито любому здравому человеку — и по-детски хотел, чтоб сначала заботились обо мне, сколько смогут, а я уж тоже позабочусь! Правда, получалось, сколько захочу — но я ещё не чувствовал этого диссонанса.

В лес, для других, я ещё набегаюсь, нахожусь — для тех, кто не умеет или не имеет возможности, а пока что — я маленький! Любите меня, хольте, лелейте — я смотрю телек, и даже знаю, куда ему надо остороженько звездануть, чтоб лучше было изображение, или чтоб он прекратил шипеть по-змеиному!..

Бабушка, когда уставала или прибалывала, хватая с тихими всхлипами воздух — ложилась прямо так, в своём плескышане (плес — это плис, бархатистая чёрная ткань, а кышан — одёжка; но для меня это было одно слово, означавшее одновременно и бывшую когда-то нарядной семейную радость, и желание быть красивой, придется не хуже других деревенских молодок — ставшую со временем

протёртой по сгибам частью бабушкиной одинокой жизни) — и лежала молча, подняв взор на весь небесный мир, и просто смотрела куда-то туда, вверх. А я с книжкой взгромоздился на другую кровать — и мы так жили, молча, долгими днями, а по вечерам я засыпал под её вздохи:

— Аминь-аминь...

— Но, благосло, Крестос, — начиналось бабушкино утро, и дом оживал. Кругом пахло уютom и спокойствием. Вещи, годами стоявшие на своих местах, которые многие сочли бы старой рухлядью, образовывали устойчивое, как мир, пространство, каждая вещь, по-разному притираясь к общему устройению, пахла — буфет отдавал чуть проолифленным нутром, долго хранившим варенье, конфеты, обрезки клеёнки на подстилку; комод в комнате — потрёпанной слежавшейся одеждой, высушенной на улице, на верёвках, протянутых под окнами; печь встречала меня дразнящим ароматом остывших угольков, перегоревших хлебных крошек, сохнувшего между печью и стеной лука, слабыми остатками жирноватых ароматов простой деревенской пицци, которую летом иначе в самый жар готовили на дворе, на летней печке (состоявшей всего-то из нескольких кирпичей, сложенных безо всякого раствора, низенькой коробочкой, прямо на земле. Их покрывала треснувшая чугунная плита, а для отвода дыма служило бездонное ведро, затянутое гнutoй из проволочек сеткой) — эта пицца была самой ароматной, самой наивкуснейшей, пусть в капельке жира плавал обмякший комар, и всё было чуть поперчено потухшими искорками!.. А варенье, даже не сваренное на дворе, а полученное путём сложных алхимических помешиваний в большом тазу, проб, добавления четвертинки ещё одного полешка поверх уже прогоревших до углей щепок? А его волшебные обильные пенки? Не в этом ли восхитительные, неземные дары, данные человеком просто так радоваться, ценить жизнь, аромат неги и свободы? Римские императоры, ценившие обыденные для нас грузди и капусту, разорвались бы от зависти от поглощаемой огромными деревянными ложками пицци богов — горячих бело-розовых пенок с краплениями уже нагретых, но ещё недоварённых, вот-вот перезреющих и лопнувших, ягод-малинок... Так же, как немцы, высоко ценившие деревянные дома (для которых даже деревянный каркас, набитый глиной, уже был роскошью), посчитали бы наш, сплошь из вековых звонких сосен, дом-корабль, настоящим роскошным дворцом, плывущим по зелёному морю лета к недостижимому счастью и чистоте...

Сразу за нашей калиткой поперёк шла еле уловимая дорожка к соседям, обозначенная заросшей едва заметной колеёй — и за ней снова была наша земля, огороженная лёгкой изгородью от коз и овец — там был лужок, где паслись наши овцы, скудный малинник сбоку, и баня, к которой я привыкал очень долго. Баня топилась по-чёрному, требовала много внимания, воды — хотя колодец наш был вот он, рядом, в каких-то пятнадцати метрах. Но для меня, страдавшего обломовщиной во всём, что не касалось рыбалки — натаскать воды на семью было целым олимпийским подвигом. На каждый раз требовалась ещё не одна пара новых веников — и вот с ними-то была настоящая ежегодная неотвратимая пытка! После Петрова дня — тащиться куда-то за тридевять земель, и не за грибами, не за рыбой — за вениками! Да ещё они в одном месте мелковаты листом, в другом — самые кончики объедены гусеницей — ищи по оводам, по самому комарью, майся по духотице! — ломай, а всё мало... Сколько ж сломать их нужно на год-то, веточек... Дело пойдёт только тогда, когда перестанешь

жалеть себя, обёрнутого туго от гнуса платком, и скинешь его, не обращая внимания на самую злую комариную бесноватую атаку, и по-мужски, прорываясь сквозь мечущиеся, поющие, нагоняющие жути, комариные и оводные облака — будешь крушить, ломать, обдирать берёзки, не считая уже ни веток, ни охапок — на войне как на войне!

Тащить обратно огромный тюк — это уже папашина забота. Потом на дворе, когда начинают вязать веники, ловко подворачивая кончик самой гибкой хворостиной и обрубая вразнобой торчащие хвостики на колоде, ровняя, как пачку карандашей, таскать на сеновал и развешивать их рядами попарно — опять начинаешь сомневаться — хорошо, аккуратно всё получилось, красиво, запашисто, с тонкой, подчёркивающей всё дело, ноткой запаха молодой берёзовой клейковины — и для чего? Чтоб тебя же потом этим же веником жгли, чтоб ты задыхался от нестерпимого углекислого жара в темноте прокопчённой бани, чтоб рвался подальше и от веника, и от ненавистного ковша с кипятком — скорее вниз, к маленькому тусклому окошечку — поймать хоть одну струйку холодного воздуха, чтоб тайком всплеснуться из ведра прохладненькой... — и тут тебя ловят! — и некуда ж деваться — всё же льют на голову чистый кипяток! — и умоляешь — ой, горячо, похолодней, ещё!.. И как блаженство — окатывают из тастика уже приготовленной, прохладной — свободен!

Ох, как я долго привыкал к этой низенькой вечно тёмной бане... Зато когда привык, вошёл во вкус, оценил, как после парилки лежишь на домотканом коврикe в предбаннике, и будто летишь — то уже пошло всё свободно — и заботы о вениках, и тасканье воды... Распаренный-разморенный, мазнув где-то локтем сажи — вскочишь из бани вечером, ляжешь как есть на лужке в траву, и глядишь в ясные августовские россыпи звёзд, помигивающие, матово опоясанные Млечным путём, как ожерельем мира — видишь вечность, ощущая её толчки в грудь, в ровном постукивании сердца. Древняя жизнь, жизнь простая и трудовая моих предков, была теперь мне понятна — я примирился, через возмужание, с их правдой, их непростым и чистейшим бытом. Даже комары, слегка прикасаясь ко мне, разомлевшему, не смели жалить и атаковать, хотя я был полностью раскрыт — они чувствовали, что я их победил.

К бабушке иногда заходили соседи и подружки — то по пути в магазин, то, наоборот, на обратном — отдохнуть, перекинуться парой слов о здоровье, о погоде, о чём-то своём, старческом, о поре, когда уж и им собираться туда, на кладбище. И пахло от них соответствующе, мягким тленом, тихим человеческим омертвением в одной и той же одежде, в одних и тех же вздохах и какой-то неизменной радости, что вот живы, встретились, загорелись отблеском прошлой радости их взгляды:

— Лиза, ой, отдохну...

— Анна, ты что ли? Из магазина?...

Сам я, сколько ни приходилось ходить в гости, с бабушкой, с отцом, с мамкой — так и не мог привыкнуть. Не любил, опасался чужих запахов другого мира, непривычных, кажущихся слишком резкими, слишком странными, свидетельствующими то ли об убогости и нищете, то ли о презрении к чистоте, то ли о непонятных привычках. Может, это обострялось во мне реликтовое, устоявшееся сознание, не допускавшее в свой, сложившийся один к одному, мир чужаков —

и дома, и в лесу, и на реке. В лесу отец учил меня — увидел, что кто-то ещё собирает ягоды или грибы — сделай вид, что собираешь, поклёвывай для формы по яголке, а сам иди дальше, двигайся прочь, на другое место — мест хватит. Он говорил, что так заведено было в деревне всегда, и я сразу принял этот неписанный закон общежития и посчитал его правильным — ведь может случиться, что и незнакомец и его компания — увидев меня на каком-то моём, коренном, издревне негласно принадлежащем и деду, и прадеду, месте — поступит так же, обойдёт, не будет лезть поперёк, как в городе, на городских теснинах, где иногда и не поймёшь, где чьи снасти закинуты то ли крест-накрест, то ли внахлёст нарочно, чтоб избавиться от соседа — как в садиковской игре с одним недостающим стулом, где мест всегда не хватает, и кто не успел — тот опоздал...

А здесь и без слов всё ясно — и уж не дай Бог тебе искутиться, увидеть чью-то поставленную снасть, пусть уже почти поросший тиной, крюк или петельку — и проверить, и тем более взять себе добычу (если только ты уж не умирающий) — грех очень велик — не хочешь, чтоб с тобой было так? Так и не трогай чужого... Так и стоят иногда то ли забытые, то ли брошенные по пьянке, закидушки — неделями. И никто не притрагивается — глядишь, и совсем уж к берегу пришибло тиной и мусором, или даже леса уж висит на кусту, оттого, что вода упала, а хозяин всё не является... Да и дома-то то же самое — прислонил к двери коромысло или веник — значит, нет никого дома, и никто не войдёт.

Я, будучи послушен старшим, конечно, вынужден был ходить иногда с ними в гости — то к одним, то к другим родственникам или бабушкиным немолодым знакомым, где меня одаряли липкой конфеткой или, к примеру, шанежкой — но своё, домашнее, даже по виду и размеру, казалось мне несравненно лучше, и, естественно, вкуснее. Чужие солёные волнушки с путниками мне кислили и горчили, чужие пирожки как-то не так, как надо, отдавали прогорклым маслом — может, невольно ко всему принохиваясь и приглядываясь, я и привередничал, и масло у них было то же самое, в которое бабушка макала птичьим пером, чтоб смазать выпечку. Но, наверно, я так прикипел к своему, таким был однолюбом-затворником, что никакого обременительного чужого добра мне было и даром не надо. Даже когда нам с папкой река приносила вместе с топляков какую-нибудь оборванную запутанную донельзя леску — и мы сматывали её на деревянную моталку, впрок, про запас, на чёрный день, я всё же ревниво примечал: чужая, не наша, и крючки как-то привязаны сомнительно, с вывертом, да и сама она, раз порвалась — значит, непрочная, ненадёжная, может подвести...

Иногда меня клали спать на полати, в горнице. До потолка, до красивых тёсаных тёплых сосновых плах с потемневшими, коньячно-золотистыми полосками-прожилками, было рукой подать, зато вширь было просторно — и спалось, как в сказочной нише, на волшебной высоте от всей суеты, особенно сладко. Туда же, чуть приглушённые, первыми проникали утренние звуки и запахи, когда бабушка потихоньку растапливала печь, а потом начинала стряпать. От полатей над всей горницей к лицевой, с окнами, стене, почти под самым потолком шли две поперечных балочки-бруса. На них бабушка, едва дотянувшись с какой-нибудь приступки, осторожно клала лёгкие досочки с выпечкой — широкие, тонко-тонко отёсанные, тёмно-коричневые от возраста и масла. Если был большой праздник, то и сортов этой выпечки было очень много — и она лежала там, под потолком,

подсыхая и подпревая, набирая вкус, натягиваясь, дозревая, укрытая лёгким полотенчиком — и я мог протянуть руку из своего укрытия, и незаметно для бабушки утянуть ещё слишком мягкий колобок или гнущуюся, распаренную, не успевшую стать упругой, шанежку.

Особенно мне нравились тонкие, они так и назывались по-коми ляпа-шаньгами — однослойные, с картошкой, замешанной прямо в тесто — их, если никто не остановит, можно было глотать до бесконечности... Бабушка пекла разные шанежки — с кашами, с картошкой, с творогом, просто колобки — с застывшими приблизительно в центре вулканчиками сметаны. Были и красиво зачищенные с боков пироги — с капустой, с зелёным луком, с яйцом, рисом, с ягодами, с грибами, с мясом. Пеклись и особенные какие-то остролинейным корабликом двухсоставные пироги — снаружи была форма-лодочка из тонкого ароматного приятно-кисленького ржаного теста, в которой пышным грузом лежал из сладковатой белой муки каравай, промазанный маслом. Этот, без особой начинки, пирог-каравай я распробовал не сразу — маленьким всегда хотелось начинки, изюминки, которая здесь была в другом, в сочетании вкусов двух разных, контрастных хлебов — это на взрослеющий, более развитый вкус. Но взрослые, похоже, придавали им какой-то особый, не кулинарный, а скорее ритуальный, поминальный или праздничный, смысл — а, наверно, сам вкус для них был связан с этим. И потому особо хвалили за них мастерство хозяйки, которое для меня и так было верхом совершенства во всём.

Для меня отдельной статьёй было всё испечённое, что касается рыбной ловли — рыбники, разной величины, по форме и размеру рыбы, по её сорту. Их я перепробовал невероятное число, долго учась как есть, чтоб миновать самое сложное — отвердевших мелких косточек, постигая науку, как разбирать какую рыбу: костистого леща, маленьких мягких щучек, пронизанных в особом порядке рядками мелких косточек... С полномясых язёй — учился одним махом, оставляя на месте всё ненужное, снимать спинку, стаскивать с рёбрышек самое тонкое ароматное, пропитанное луковым соком, рыбе мясо, добираясь до вожделенного, влажненького, хлебно-лукового, с восхитительным рыбьим соком и маслом, донышка.

Каждый пирог был, как крепость — по-особому, по окружности подрезалась корка, и начинался штурм, отламывались и раздавались всем сначала эти куски крышки, сухие хлебцы, на закуску к рыбе, и только в конце было самое вкусное — испод, нежное донце, оставь которое до завтра, и оно засохнет, скукожится, став обыкновенной коркой.

Я не помню в деталях сами праздники — уж слишком там переплетено и наворочено: и выпивки, и вздохов, и слёз, и взаимных переживаний и семейных тонкостей — я больше помню, как кто-то взрослый — первый: отец, дядя Миньон, берёт нож и, спросив разрешения у бабушки, идёт по кругу вокруг первого рыбника — и отламывает так же, по кругу, и обнажается сама рыба, испечённая, ставшая ближе — тёплой из вечно холодной, живой по-новому, щедро раздающей жизнь радостно-золотистой, преодолевшей что-то непонятное, что взрослые не совсем понимают, восклицая после первой рюмки, и закусывая ею — ах, вкусно!..

Ах, вкусно! — взрослые берут понемногу, больше налегая, наверно, на то, что им вкуснее вкусного, хотя хватает всем и рыбы, и того, нежного, пропитанного рыбно-луковым рассолом, донца. И бабушка, раскрасневшаяся, в самой нарядной

своей шали, достаёт из потаённого уголка свой «резерв» — купленную на сэкономленные от пенсии крохи и припрятанную пол-литровку. Взрослым только этого и надо — а донышки и корки, они, не заметив даже их постаревшего вида и вкуса, сморщенного, расхристанного, надкусанного состояния — съедят молча завтра, схрумкают под опохмелку.

Бабушка иногда готовила особенные блюда — как, скажем, похожую на омлет дырчатую бело-жёлтую запеканку из молозива, первого после отёла молочка коровы, за которую мне несильно давали деревянной ложкой по лбу — от бычка! В школьной столовой, встретив его, омлета, бледнеющее рыбовидное подобие, плавающее в жиденькой водице — я вспомнил этот волшебный бабушкин горшочек, и ласковое прикосновение ко лбу — но даже не пытался объяснить своим друзьям, что это такое на меня накатило, и как устроена настоящая человеческая пища — меня бы не поняли...

Из рыбы бабушка приготавливала особо вкусное блюдо. Когда я о нём рассказывал потом, даже взрослым друзьям — мне всё равно не верили — думали, я прикалываюсь — ну не бывает такого! Шутка какая-то... Впрочем, хотя кое-что, пока не попробуешь — описывать бесполезно, но всё же попробую представить для полноты картины...

Нигде, кроме нашей земли, я его не встречал (хотя объехал полмира) — рыбу в молоке. Вернее, то, как рыбу целиком, вместе с крупно порезанной картошкой, в глубокой большой сковородке, залив густым молоком и подправив солью, чуть специями — запекают в печке. И восхитительна тут даже не по-настоящему молочно-нежная рыба, и не творожно-тёплая картошка, а... солёно-мутноватая жижица упарившегося, осевшего пенками на картофельные глыбы и рыбные бока, молока. Вот она, эта переставшая уже быть молоком, водица — и была вкуснейшим из всего, что я только пробовал, не только в деревенской нехитрой кухне, но и в дополняющем деревню, несовершенном мире, казалось бы помешанном на потреблении и гедонизме, изощрившимся в гонке вкусов и ощущений, и не могущем даже близко повторить какую-то настоящую, быстро, как лёд, тающую, между высыхающих рыб и картошек, белёсую желанную жижицу из детства, когда ничего больше и не надо, было бы так всегда — вечер, бабушка и её возня, чтоб побаловать тебя, и её прекрасные угощения...

Конечно, в городе папка с мамкой пытались повторить и воспроизвести кое-что из того, что сами полюбили, и к чему сами пристрастились в деревне — и пекли в газ-плите (так называла её бабушка Анна) картошку (которая, конечно, получалась не как в деревне, и даже оповещала о своей готовности хлопками-взрывчиками — так лопались в городской духовке кожурки), и делали рыбу в молоке (вернее, её подобие), запекали деревенскую яишницу-омлет с кусками городских маковых бубликов на дне... Но это уже выглядело не совсем так. Похоже, и по-другому. Наверное, из-за городского порошкового, хлопьями свёртывающегося безвкусного молока, из-за воды не из колодца, а из-под крана, а может, из-за этой самой газ-плиты с её неровным отчуждённо-голубым светом, и таким же сухо-неприятным, пережигаящим противни, жаром. А, может, из-за всего вместе — ведь в городе хозяйство новое, непритёртое друг к другу... А в деревне — дом, печка, сковородки, дощечки под выпечку, полотенчики, даже птичье крыло для смазки — всё прилажено друг к другу за сотни лет: пусть эта мазилка

для масла — скромная с виду, деревенская, из крыла таёжной птицы — сущая мелочь. А в городе поискать такую — не найдёшь: всюду замены, подмены, синтетические губки и пластиковые подставки, безлика, подслащенная жизнь...

Раньше в деревне сахара было немного, и бабушка постоянно что-то сушила: черёмуху, чернику, грибы, травы. Всё это лежало россыпью на противнях, за печкой, и я иногда таскал эти ягоды, разравнивая это место, где побывала моя горсть. Они рассасывались во рту до кашицы с мягкой кислоткой — а я, привыкший к обманчивому городскому изобилию — недоумевал: с малиной, с черникой, с земляничкой — а столько трудов... Зачем же их переводить на эти вялые сухие катышки, когда варенье из них — просто блеск?! Иногда, когда сахар кончался и в доме, и в магазине (или было долго до его открытия) — бабушка подживляла мой чай такой сухой горсточкой, и он оживал, преображался — особенно хорошо было растереть до зёрнышек распаренную, побелевшую земляничку и с шумом (это ведь придаёт вкуса, не правда ли?), с жадностью, втянуть чайку, закинувшись ещё завалывшейся подушечкой-карамелькой — и вовсе неплохо это было, вовсе неплохо...

В нежилой, неотапливаемой половине — пахло как-то по-особому, не сказать, что не по-жилому, нет — как-то вот так сухо, отлично от обыденной влажной жизни, как эти высушенные ягоды и цветы. Особенно в ярко-солнечные, ветреные дни, когда непрочные и негромкие старые, в потёках времени, стёкла подрагивали в разошедшихся пазах древних, составленных ещё до революции, оконных рам. А огромная комната была заполнена будто поднятым откуда-то блестящим солнечным вихрем из мельчайших пылинок-золотинок. Тогда, наверное, из всех углов выдувало какой-то древний, старинный запах, аромат, выжимку старой высохшей жизни, жизни крепких, особых, каких-то очень светлых, не умиравших, а только усыхавших, становившихся почти что такими же ангелами, как полустёртый победный Михаил с мечом. Этот запах будил в крови что-то подобное, нечто древнее, таинственное — возвращавшееся по кругу, если перебирать все запахи на Земле, к запаху пересушенной, почти окаменевшей, позапрошлогодней земляники, с трудом расправляющейся даже в кипятке.

Я однажды почувал, ощутил такой запах во сне (по-русски иногда почему-то говорят — услышал). Мне приснился луг. Я лежу и слышу этот обволакивающий — тонкий, отточенно-явственный запах, и, не отворачиваясь позади, около затылка, слышу голос и дыхание, от которого мне чуть «холодит» тело, как от лёгкой щекотки, поводки пальцем за шиворотом. Я узнаю — прабабушка. И всё так же, не поворачиваясь, спрашиваю: — Бабуля, это ты? Ты где, в раю? Это рай?

Я знаю вопросы и ответы, по этому древнему сладковатому, чуть ладанному, но всё же незнакомому мне запаху — на земле таких точно нет. Я могу его попробовать воспроизвести, чуть отступив куда-то в глубину, в адамово время, от запаха земляники, от её сложного предвечного вкуса и горечи сберегаемой до Пасхи маленькой заветной баночки варенья — в сторону древних курений и аромата масел, приготовлявшихся омыть жертву...

Бабушка идёт по лугу. Я вижу её вечный белый платок. Я встаю и иду за ней. Она входит в какой-то дом, оставляя дверь открытой. Ветер свободно гуляет по этому светлому неизвестному мне дому — колышутся лёгкие прозрачные светлые занавески на дверях. Я слышу разговор, узнавая и бабушку, и прабабушку — но



останавливаюсь, не вхожу. Мне достаточно того, что есть — что рай есть действительно, и что они — в раю.

Вот такой был у меня сон, когда запах был его подтверждением, настолько узнаваемым и ясным, что я могу его для себя воспроизвести до сих пор.

Остальные запахи были гораздо более обыкновенными — влажный, сладковатый — из угла с умывальником, под полатями, где если забыть вынести ведро — мыльная серая вода просачивается через край и утекает в потемневший от влаги угол, в подвал, где в свою очередь — застой, паутиная затхлость, и остренько-плесневелый прогорклый угарчик от кадушки с солёными грибами, простоявшими с прошлой осени, покрывшимися уже сверху плотной мшистой плёнкой серо-зелёного плесенного гриба.

Во дворе, если трава скошена, и никто из растений (борщевик, может) сильно не выделяется — вся сладковатая, вдохновляющая на то, чтоб прожить день не зря, гармония деревенских запахов... Просоленная рыбка колыхается под весёлой марлевой фатой — накидкой от мух, из которых одна всё же пробралась — жужжит, злится, хочет отложить свои вредоносные яйца, но запуталась... Другие мухи, шмели, пчёлы, осы, жуки, расчерчивая, обозначая окружающее полуденное царство — возятся, гудят, иногда прошивая прохладцу за крыльцом и вновь скрываясь в траве. Под навесом — дровяной, притягивающий аромат пересыхающих берёзовых чурочек, трухлявой, крошащейся под ногами, подстилки из отслуживших своё досок, на которые навечно вкатили дедову инвалидку, внутри которой дермантиновый пузырь сидения перегрелся на солнце, тоже отдавая остатки своего мягкого запаха кожи, капель машинного масла, несбывшихся надежд на поездки по окрестностям, по которым не всякий трактор мог проехать... Откроешь колодец, а там — темнота, гуканье, эхо, позвякивание цепочки на черпущке, плеск недалёкой воды — и прохладная свежесть. Если хочешь пить — подтянешь ведёрко, сделаешь несколько обжигающих нёбо, как мороженое, жадных глотков — зубы ломит, от близкого вида плещущей воды кажется, что глаза расширяются, вдыхаешь аромат воды — и хочется сладости, которая есть чуть-чуть, в каждом глотке, но, наверно, основная — там, на дне... И, так и не достав его, не напившись досыта — ставишь черпущку на перегретую солнцем рубчатую, старую плаху — чёрно-серую, как мамино пальто, давно уже не обновляемую — чтоб не доставать воды лишний раз, когда кто-нибудь придёт.

Сено на дворе скошено. Копна навалена под окном, с которого я тогда выпал. В боязни, что ненароком вывалится так же и кто из остальной ребятни... Но никого нет, мы с бабушкой одни. Отава, взошедшая после чисто скошенной и убранной травы, приятно холодит ступни, приглашая побродить, что-нибудь поделать. Но я жду. Жду папку. Мы скоро, может, завтра — пойдём на большую рыбалку. Как только он выйдет в отпуск и приедет. Как только появится вдалеке, пятном у дороги, у дальнего дома, и я ещё, как бабуля, буду вглядываться — он, не он? А он взмахнёт рукой, увидев открытое крыльцо и чью-то голову (мою же!) во дворе...

Дом, кругом воля, время, вроде бы застыв в полуденном расплавленном воске дня, будто в тихой заводинке цвета слабого чая с молоком, покачивая лилии и кувшинки — тут же, рядом, на стремнине, отсчитывает каждую минуту так быстро уходящего куда-то лета, что я не успеваю, как трава на перекате — огладить и

проводить каждую — всё стремительно несётся мимо из вечности, в которой ты только появился, в вечность, в которой тебя уже не будет, если, конечно, не попадёшь ты в неё, как в сон про бабушкин рай — чудом, запах которого вот он, рядом, где-то здесь, где я жду, всё время жду, устав уже бегать во двор и вглядываться вдаль.

Или собрать удочки и пойти на реку? А вдруг папку пропустишь? Даже часы примолкли, не то что у визингской бабушки, где стоящий на комодке будильник, барин, среди аккуратно расставленных вещичек, мерно, как самоуверенный скакун, резал тишину комнаты: Цосх! Цосх! Цосх! Цосх! — где стыдно было вот так бездельничать, и одновременно, тоскливо представить, что вот пойдёшь куда-то в гости, к Шурке, к Витьке с Валеркой — так ведь до них переть!.. Сколько этого «цосх!» уйдёт туда, на гору? А обратно?..

А в Вотче времени не было, оно измерялось поступками и потерями, связанными с близостью осени, очередной ступенькой жизни.

О, показался кто-то... Серый комочек... Сгорбленный, с рюкзаком — похож на папку!.. А рядом кто? Идут, уж больно медленно... Папка, и мамка! Два комочка, два грибочка — ну, не томите, махните рукой, что ли?

Точно, они! Я бегу навстречу. Мамка вот она, порывается поднять меня, и осаживается — ого-го, на молочке-то, на сахарной простокваше-то, да пирожками, да с морошкой — заматерел, сынок! Можно и надорваться.

— Ну что, завтра на рыбалку? Да? Куда?!.. — я и готов, и не готов, столько всего нужно успеть сделать, если завтра в поход... Завтра — запах дыма, волшебный призрачный аромат речной влаги, фашисты-комары, но главное, не промахнуться, определиться — куда пойти?

## Кёдж-ул-дор

Я уже упомянул, что так называется одно из наших коренных, заветных мест. Если опять посмотреть сверху, то видно, что прежде чем уйти на север, к городу, ниже села река делает несколько поворотов — то к устью Большой Визинги, потом от него к переправе в Первомайске, дальше, вильнув и вобрав в себя Малую Визингу (которая тихо пробирается к Сыsole между Кунибом и Межадором, над которой, как на идеальной картине, высится скромное родовое бабушкино гнездо — Шор-Йыл), она подкатывает под Межадор, и пробежав под ним, круто разворачивается обратно, поближе к нам, образуя большую петлю. Вот под этой петлей-поворотом и расположилось наше место.

Эти повороты, конечно, не такие резкие, как на дороге, километровые, плавные, так что с нашего места и не видать близкого Межадора. И хорошо — полное ощущение, что мы в тайге, что мы в походе, вне зоны действия сельских правил — тут правила устанавливаем мы, хозяева.

Сначала о названии. Кёдж — по-русски будет петля, поворот; ул — значит под, ниже; а дор — место. Место-под-поворотом, так можно было бы перевести, но я, хоть и говорил всё время в городе по-русски, и стеснялся в автобусе неловких бабушек, перекидывавшихся жалкими, будто отжившими своё фразами (так нас настраивали в школе, в городском, презирающем многое, мире) — но всё же никогда не переводил, даже для себя — пусть будет как есть, не надо переименовывать, можно подсократить: Кёджул, и всё.

Само это место было для меня уникально красиво — метров триста вдоль переката тянется довольно круто наклонный чистейший галечный пляж, и чем ближе к реке — тем крупнее и разноцветней галька, а в воде и вовсе, то тут, то там проступают большие обточенные водой, обметанные слизкой тиной серые валуны. Всё это украшает быстрое, бойкое течение, несущее и несущее брёвна, плотики, куски бон, топляки, щепки. Дальше галечный склон, обрамлённый вышедшей к реке тайгой, переходит в высокий берег с длинной луговиной — тайга отступает, оставив лишь полоску ёлок и ольхи, растущих над глинистым обрывом берега. В этом самом месте, где встретились и галечник, и тайга, и луг — вкопано несколько столбов, к которым толстенным, с детскую руку, тросом крепится широкая, в пять-шесть венцов, длинная бона, отводящая сплавные брёвна моли от далёкой, лежащей километром ниже плоской песчаной отмели.

Вот с этой-то боны мы и ловили рыбу, сколько я себя помню. Именно отсюда всегда начиналась для меня основная, коренная летняя рыбалка. Именно сюда выныривала наша таёжная дорога, и на язычке луга мы ставили палатку, и сбегали вниз за водой по галечнику — это пограничье было настолько уютным, что любое движение здесь приносило удовольствие — будь то даже растягивание палатки или сбор сушняка на костёр — будто кто-то впечатывает тебя в свойственный тебе мир, естественный, придающий смысл любой мелочи своей жизни, вне которого он может стать набором ненужностей и жалких второсортных копий даже не жизни, а туристического существования... (Можно ещё долго говорить, не добавив ничего полезного — говорит мне внутренний голос, потому что здесь надо откладывать и перо, и только жить, и только созерцать...)

От дома до Кёджа шла дорога, большей частью лесом, условно разделяемая мной на четыре части. Так легче было её преодолеть, эту ниточку, перерезавшую долгий извилистый путь моей любопытной, заглядывавшей ещё невесть к кому, реки. Начиналось всё с первого шага после калитки — не налево, в село, в магазин, или в город, а направо — через тропку и соседские заборы, через почти заброшенный Яг-выв, через который важно идёшь со связкой удочек, сачков, спиннингов, и даже можешь остановиться у колодца, и попробовать отличной, мягчайшей воды, или с разрешения отца сорвать пару веток чуть недозревшей ещё вяжущей, но уже крупнющей черёмухи, свесившейся из чьего-то заброшенного огорода. Это ещё не всё — тут тропка чуть сокращает через бестолковый вечно сухой сосновый лесок — Джуджыд-яг-выв (придётся привыкать к названиям, как есть, не всё же время переводить и растолковывать), где максимум что можно было повстречать — выводок сухих червивых почерневших от жары маслят. Но это ещё не всё — вот тропка подходит к основной дороге, по обеим сторонам которой луга, сенокосы, с земляничной и можжевелевой обочинами — здесь можно ненадолго застрять: земляника россыпью наливается, ждёт по солнечным склонам канавы вдоль дороги — нежная, осыпающаяся от прикосновений, тут же мошкара бьёт в лицо, взлетая веером — но остановиться невозможно: самая вкусная ягода с куста... Папка зовёт, конечно, пора, неохота идти по самой жаре, надо оторваться, вскинуть рюкзачок — и напоследок, папка с загадочным видом, из-за пазухи вынимает полную горсть ягод, в которую утыкаешься носом, втягивая с пылесосным всхлюпом всё до последней ягодки с его жёсткой, шершавой руки... А он сам? И... Вперёд, вперёд...

Дорога входит наконец-то в лес, красивый, беломошный, где уже можно при везении «наломать грибов» (так говорится, но до отвращения терпеть не могу когда рвут грибы с жадностью, не срезая аккуратно), на супчик, пока рыбы не поймашь... Ну и венички из веток пора уже сделать, отмахиваться от комаров — здесь уже ветра нет, хотя основные комары ещё впереди.

Ручей, условная середина дороги — вот где вкуснящая вода, и самая своевременная — впереди ещё две четверти пути! Дальше ручья летом давным-давно уже никто не ездил — старинная тележная дорога заросла, кругом ямы, да и в ручье можно было застрять капитально. По одну сторону, по левую руку от дороги тянулся давно заброшенный луг, по другую — болотистый лес, дорога двоилась — хочешь иди лесом, хочешь, в пяти метрах, через перелесок, краем луга — и там, и там могут выскочить грибы: рыжики, красноголовики, моховики — и мы разделяемся: кто-то идёт лугом, сторожа маслят и рыжиков, а кто-то лесом. Вот обе колеи сошлись, небольшая полянка, и — склон, конец третьей четверти, начало последней, самой тяжёлой — болото. Дорога будет становиться уже — деревья чуть не смыкаются над головой — и вот они, настоящие комары и мошкара, здрасьте! Кто вас только выдумал?! Идти надо осторожней — под ногами чавкает, кое-где поперёк лежит бурелом, дорога-то старая, нечищенная, зато к дороге выходит черничник с голубичником. Торопливо, постоянно отмахиваясь одной рукой уже потрёпанным веничком (и всё равно ведь успевают и спикировать, и укусить, гады!), хватаешь ягоды, делая выпады в сторону только ради редко мелькающей, переспевшей, налившейся своим нежнейшим неповторимым соком морошки, склонившейся на своих уже почти усохших черенках — падающей от одного прикосновения, — ах, что вы, что вы, как вы опоздали!.. как я устала от солнца!.. Не выносящие малейших прикосновений, лопающиеся шарики костистой морошки — наверно, тоже есть в раю... Может, нектар, который там пьют — это сок морошки, земляники, и манго (который завозили к нам на север из Индии в больших жестяных банках).

Болотце понемногу мрачнело, солнечные искры морошки пропадали — и здесь уже чувствовалось, и начиналось преодоление трудностей — надо было нудно брести вперёд, на автомате, охлёстывая непрерывно руку с удочками, затылок, лицо, руку, затылок, лицо... Дорожка — две грязные канавки — тонет во мху, петляет, обманывает — вот-вот за поворотом конец болоту и покажутся предвестники реки — поляны-беломошника, небольшие борки. Что-то мелькает впереди — ура, просвет, вот она — река, вот он рядом, Кёджул! Впереди ещё поворот дороги, ручей — но что это в сравнении с мелькающей уже во всю ширь, лежащей поперёк рекой! Ручеёк, лужа с греющимися на солнце головастиками, несколько шагов, и вот он, слева — галечник! Дорога пойдёт над ним по лесу, она быстрее, но всё равно выскакиваешь на склон галечника, хоть и неудобно идти с грузом по нему — мы же не лани, не горные козы, у нас ноги одинаковые, и вдоль склона пару сот метров не так-то просто двигаться — но всё равно, вроде как уже дома, ерунда! Главное — тревожно вглядываешься вперёд — в перекрестье начинающейся боны, предела песка, выходящего лугом бережка, отступающей тайги — всё ли чисто? Нет ли впереди дымка, не курится ли чужой костёр, не занято ли место? Нет, всё чисто — спокойно, ура. В те времена, времена моего детства, бездельников да отпускиников кругом, по сёлам, было не так много. Да и

отдыхать северян почему-то традиционно тянуло на юг, на море, в горы — в отдалённые слишком буйные, слишком роскошные, не в меру яркие, на мой взгляд, места. По мне — красивей этого вышедшего к реке приветливого склончика, переходящего в сладко похрустывающий тёплый камешник, да ещё с нашей палаткой над берегом, да с импровизированными лавочками вокруг костра, да с заботливо выдвинувшейся из таёжного переднего ряда сосен можжевельной порослью, сохраняющей в своей гущине, в прохладе — и наши продукты, и наш улов — красивей этого всего, благоустроенней — быть ничего не может! И нечего даже искать по всему миру... Это так, потому что это так и есть — абсолютная красота и прелесть не нуждается ни в чём, ни в каких доказательствах и подтверждениях, кроме разве что благодарного благоговения и осторожного отношения зрителя.

Всё, свободно, ура! Можно скинуть рюкзак — и начинать!

Первым делом, разумеется, надо забросить продольники. Где мешок со снастями? — торопливо развязывается рюкзак, летит, разворачиваясь в воздухе, палатка — на неё, пока нет ещё ни костра, ни чурбачков-сидушек — валом летит всё остальное: продукты, вещи, снасти, вот хлеб, вот сваренная ещё утром каша... Хлеб взрезается, корки остаются на еду, а мякоть идёт в дело — на смесь с кашей... Рыбалка — это в первую очередь продумывание шагов вперёд: на палатке пока можно и разлечься, и быстренько, обжигаясь, заглотив первый супчик — то ли пачковый, с вермишелью, то ли тушёнку с картошкой — уже не так важно, это решается мигом — начало положено, временно лагерь разбит, а обустройство — следующий этап, между проверками продольников...

Я ещё слишком мал, и меня даже близко к боне не подпускают — оскользнуться на глине, на мокром бревне, унырнуть в воду — секундное дело... Да к тому же я, как многие северяне, северные дети, опасаясь воды. Вода хорошо прогревается к середине лета, а плавать, купаться я не умею, как следует, да и не особенно люблю — так, в лагере, загоняли в море окунуться, побрызгаться — и на берег, учить нормально плавать такую ораву было некому (пыхтевшие, потевшие от жары, колыхавшиеся, как желе, толстые тёточки-воспитательницы, казалось, ненавидели эту полуденную пытку: мы-то визжим, стреляемся водными струями, выбиваемыми ладонями, норовим нырнуть и дёрнуть кого-нибудь за ногу, а каково было им — на берегу?). А по северным лесным рекам не больно-то разгуляешься понырять-поплавать — под слоем тёплой воды притаилась хищная, холодная, судорогой хватающая за ноги, и течение быстрое — унесёт вмиг.

Я только плещу себе на лицо, на руки, стоя на безопасной мели камешника — и вхожу в работу — приглядываюсь, что нам оставила весна, тащу ветки сухостоя и коряги на костёр, прочерчивая борозды по песку. Папка на боне. Запалить костёр я уже умею сам — гнездышко бересты, сверху мелкие, сухие, но не одно к одному, не пачкой карандашей, а враспопырку, чтоб было место пламени и воздуху. Как взялось — приваливаем и сбоку и сверху — чурочки поосновательней. И, вечное чудо — есть, костёр есть. Всё, вроде как устроились, теперь можно расчехлить удочки, и весь галечник в моём распоряжении. Я могу ловить хоть сутками живцов папке на крюки, хотя, конечно, я ловлю с прикидом на другое — на уху, покрупнее, ельцов и подъязыков бабуле. Крюки на щук папка поставит ниже, начиная от нашей и до самой нижней боны-коротышки, маленькой пучковки,

поставленной в помощь к нашей, большой, если кто под неё прорвётся — то упрётся в эту, утопленную поглубже, состоящую не из плоских плашечек, а из неровных охапок-пучков. Эта бона бестолковая — совсем шаткая, валкая, на которой стоять-то взрослому человеку не просто. Прорваться до не вдоль воды было сложно, а кое-где и невозможно — глинистый берег съехал вместе с деревьями, и пройти — никак, только верхом, где на краю росли густо ёлки и шиповник, и потом долгий холмистый луг, обычно к середине лета уже скошенный кем-то из межадорцев, кого я ни разу не видел.

Когда у меня набиралось несколько живцов, плававших в котелке, я звал папку, и он возвращался от продольников. Мы с ним шли по лугу, босиком, папка поругивался, царапаясь о шиповник — безошибочно выбирал место, чтоб нырнуть вниз, поставить там крюк. Как он это делал? Для меня загадка — неужто он наизусть помнил, где там склон, а где тайная тихая заводинка с чьим-то, возможно и нашим, старым, сухим удилицем для крюка... Вот он выбирается обратно, мы идём дальше... Последняя рыбка, последний крюк. На обратном пути заглядываем к раскидистой сосне, стоящей посреди луга на холмиках — опять земляника... Здесь я уже не позволяю себя кормить — здесь я рыбак, мужик — мы лакомимся и берём букетик с гирляндами ягод — на чай, вкуснее которого в целом мире нет ничего, проверено.

Иногда мы не брали с собой палатку, и тогда ночевали у костра или в стогу, неизменно одиноко стоявшем посреди этого луга, упиравшегося одним концом в галечник, а другим — в большую, так и необловленную мной, старицу — курью. Для тех, кто никогда не ночевал в стогу, скажу, что это особое удовольствие, смешанное с детскими страхами задохнуться в маленьком, узком, душном пространстве, или психануть от ждущих со всех сторон в темноте укулов... Внешне всё очень просто — поддёргиваешь с одной стороны стога, снизу, пластами слежавшееся сено, и прокапываешь норку — пещерку, какмышь. В дождь там, внутри, весело, тепло, сухо, но уж очень колко и слишком мало места (и я, конечно, предпочитал палатку), и сложно было заснуть — весь организм напрягался неизвестно отчего, и ждал то ли шуршания и поедания недовольного зверька, то ли явления законного хозяина. Утром, как только папка начинал ворочаться в поисках курева и выталкивать сенную пробку в ногах, я мгновенно просыпался — здесь не то, что в брезентовом домике, я и представить себе не мог, что могу спать здесь один. Обсыпанные сеной трухой, особенно мерзко пробиравшейся за шиворот — так, что не достать — мы входили в новое утро, то ли росистое, то ли пасмурное — я ещё не проснулся, но папка заставлял меня заваливать обратно нашу норку, чтобы ни клока сена не осталось снаружи — это же чей-то труд — в назидание, а скорее и в обучение исподволь не нарушать ничем сложившегося равновесия. Повоевав с распушившимся на воле сеном, вмяв его обратно — мы шли к кострищу раздувать угли...

В этом не было какой-то особой поэзии, романтики, эстетики, красоты, позволяющих любить и наделять несуществующими достоинствами что-то нелюбимое — тут красота была повсюду, куда ты ни пойдёшь, и чем ни займёшься: перед твоим взором всегда была будто коробочка режиссёра, камера, в которой разными штрихами очерчивалась драма мира: мы шли к берегу, а из-под ног разлетались сонные хэмингуэевские кузнечики... спустившись к воде, умыться,

обнаруживал астафьевское зыбкое пятно полузатопленной картофельной кожуры лунно-белевшей напоследок, прежде чем сгинуть, отмытыми пластинками срезов... из-за лесочка на той стороне реки медленно вставало моцартовское солнце — и если оно не появлялось, закрытое серым слоем сплошных облаков, то весь день был подобен бесконечной баховской музыке... Конечно, ничего этого наяву не было, это шутки памяти, максимум, что сопровождало — обрывок какой-нибудь застрявшей в мозгу пустой песенки, или коротенькие рыбацкие присказки, а то и не совсем печатные междометия, если мы обнаруживали что что-то не так: то лисицы утащили хлеб, то тихой сапой за ночь прокрадётся под бону топляк и пообрывает лучшие продольники...

Палатка лучше ещё и из-за того, что она знак всем — проходите, проплывайте мимо, место занято. Костёр-то могли и сплавщики запалить, а палатка — это уже не их принадлежность. Как только она полетела на землю, как только я её раскрутил на небольшом уклончике вниз, входом к реке — всё вокруг становится нашим. Рюкзак в миг худеет — летят банки тушёнки, пакет с куревом (папкин... который со второго класса втянут в «употребление», сначала от баловства с однокашниками чаем и мхом, до дедова самосада...). Можно, конечно, наломать веток, совсем для шику, чтобы было мягко валяться и пить чай — лучше разлапистых, ольховых, ломать которые гораздо легче, чем неломающиеся, сгибающиеся берёзовые вицы. Потом, на ночь, мы уже передвинем палатку на кострище, подвинув его на пару метров, и прочертив от угольков и искр (тогда ещё веток можно будет добавить для пышности). Вот в таком брезентовом дворце, осажённом комарами — мне было не страшно почти ничего, хотя кругом были опасности — лес, тайга, медведи, неизвестность. Даже, говорят, каждым летом постоянно берегом реки пробирались, крадучись, беглые, но я ни разу их не видел. Только однажды выхватил взглядом военный конвой на переправе — солдатики сидели на брёвнышках и беззаботно курили, закинув за спину автоматы — видимо, сторожили переправу — но так, на виду, не в засаде, будто в кино. Так что я решил, что это лишь игра — так никого не ловят, только отбывают повинность. Был бы я вором-разбойником, разве я сунулся бы в такое место?..

Ну вот, папка размял насадку — комоль, манку пополам с чёрным клейким деревенским хлебом, взял снасти и, скинув сапоги, закатав штаны до колен — идёт по боне, закидывая наши продольники, удаляясь от берега всё дальше и дальше, чуть не до середины реки. А я закончил и с ветками, и с костром, вернее, с маленьким начальным костриком, большой мне пока не под силу... Это уж папка придёт, притащит из кустов брёвнышки, застрявшие там с половодья. Всё. Я отправляюсь ловить. Весь берег, весь галечник-камешник — мой, моя вотчина. Теперь моя задача — живцы, живые рыбки, ну и если повезёт — первая рыба на уху. Я вполне обучен, самостоятелен — настолько, что даже один, думаю, не пропаду и в тайге, смогу продержаться лучше любого бродяги. Я умею быть свободным и независимым (в тайне, хоть я и боялся сумрачного образа беглеца, но и остро сочувствовал ему — раз Бог дал человеку свободу, никто не в праве на неё посягать, даже общество, этому нет никакого оправдания — делайте что угодно, бейте, если заслужил, но держать человека взаперти в прекрасную летнюю погоду, когда мир так ненадолго расцветает — полный демонизм, выдуманный вечными рабами, невольниками-садистами. Что бы я сделал, подойди сейчас к

костру сумрачный незнакомец? Поздоровался, предложил бы чаю, и в короткой беседе намекнул бы, что место занято, и мы тут рыбачим, если он всё же рыбац...

Перед боной — заворотик, улово, столкновение течений, в которых — столпотворение из брёвен. Хорошо не затор, мёртво заклинивающий всякую возможность ловить. Приходится исхитряться и удить в окошках,двигающихся треугольниках, складывающихся параллелограммах и неустойчивых трапециях брёвен, между радужными плёнками и разводами смолы, всегда опасаясь, что клюнет и потянет куда-то под бревно, или же в самый неподходящий момент со стремнины к берегу толкнёт какой-нибудь тупорылый балан, и он будет неотвратно и бестолково наезжать, целясь ровно на поплавок, на то место, где только что была отличная поклёвка, похожая на ляпкину.

Я хоть и невольно раздражался на сплав — тем не менее был абсолютно счастлив: я тихо сидел, стараясь даже лишний раз не скрипеть галькой с песком под сапогами, на удобной подсохшей на берегу чурочке, которых кругом хоть отбавляй; в бидончике плавает уже парочка юрких красноглазок, и впереди самое волнительное — проверка продольников, послеполуденный, послеобеденный клёв, и вечерняя зорька, и плеск крупной рыбы, и ночной отдых, и ранняя утренняя, самая удивительная, пора, и зыбкое желание испытать ещё, что-нибудь, какой-то новый способ лова, ведь сколько ни лови — всё мало... И где-то рядом, пусть невидимый — возится папка, и что-то делает, может, уже готовит дрова, может, ещё что, столь же необходимое — главное, я знал, он делает нечто, что было как бы материальным воплощением его любви и заботы (никогда вслух так не называвшимися) — не просто по необходимости, а из другого, гораздо более глубокого и объёмного чувства, что надо сделать и как. Иногда этим материальным был веник хилой смородиновой поросли из затемнённых комариных зарослей ивы, на так любимый нами красноватый чай; иногда — сооружённый за моё отсутствие столик, из подобранных где-то досочек, невысокий, шаткий, но столь уместный, уютный, удобный, что кажется верхом совершенства, будь он хоть просто перевернутым, подбитым старым ящиком для бутылок — вот что значит вещь на своём месте — что-то такое, что говорит и о любви и одновременно о благодарности, что я разделил с папкой этот поход, что так пекусь, привился к его вожделенному рыбацкому миру, в котором я сам был некоторой обузой и, надеюсь, радостью: отечество ведь в первую очередь не «отеческие гробы», а живое отцовство и сыновство, не ностальгия, а действие.

Здесь же, уже когда я сам буду приводить сюда своих детей — мы, лёжа в палатке, невидимые, как бы не существующие для них, пятилетних, услышим, как они возьмётся около костра и, не подозревая, что это всё кто-то слышит, рассуждают о мире, о его созданности, величии, о красоте мироустройства и, в конечном итоге, о Боге. Мы не могли шелохнуться, чтоб не нарушить эту внезапно проявившуюся у детей потребность обсудить первое, что они желают вынести к свету одинокого таёжного костра. Потом я услышу, как дочь, оставшись одна, будет кружить вокруг костра, ища по кустам носильные веточки на добавку, и возвращаясь, и всё время что-то напевая, неизвестное, созвучное только её волшебному ночному миру вокруг, и положению вне событий и времён, в центре, на полюсе — там, где течёт вечная река, ловится удивительная рыба, и горит одинокий ночной костёр. В этой ночной бессловесной бесконечной песне моей пятилетней дочери, в этом долгом



птичьим напевом: а-а-а-а-а..., в этом степенном размеренном ходе её движения, как она не спеша находит очередную ветку, несёт её к костру, кладёт в общий огонь, как пристраивается рядом на сидушку, сделанную уже мной из доски и парочки полешек — я увижу своё детское отражение (конечно, я, мальчик, вслух не пел — но внутри всё вот так пело и радостно резонировало, это точно) — и острую потребность маленького человека в изначальной понятности основ мироздания, с самого начала осознанной жизни — в ощущении, пусть кратковременном, небольшого кусочка земли, который ты признаёшь своим, где на небольшом клочке есть всё, что необходимо тебе для счастья — река, рыба, лес, галечник с красивыми камнями, костёр, родной кто-то рядом — здесь не ты входишь дважды и сотни раз в одну и ту же реку — она входит в тебя, и остаётся там навсегда, вместе со всем миром.

Невозможно вобрать реку, но сделать это надо, и хочется попробовать половить и здесь, и подальше — и (тебя ещё не пускают на бону, ты слишком мал) выбирая местечко, ты с сожалением оставляешь другое, но предвкушаешь уже следующее — так ты удаляешься по галечнику всё дальше, к его концу, там, где ручей и тучи комаров, где самые крупные, матёрые, и безотказные ерши. Пока ты не добрался дотуда — перед тобой стремнина, мягко приступающая к светло-кремневым камешкам, глубина, откуда вылетают стремительные подъязики, пескари, ельцы.

Реку нельзя назвать малой, просвечивающей кое-где насквозь, как постоянно пропагандируемый в «Клубе путешественников» мелкий по колено Иордан (или как не пропагандируемые нигде, но близкие сердцу средне-русские Клязьмы, Оредежи, Пажи и Вори), но и большой, как Вычегда, Двина, Волга — назвать нельзя. Нет, она в меру средняя (как Ока в орловском среднем течении или Москва-река у Николиной горы, но быстрее, гораздо быстрее) — в глубине может притаиться кто угодно. И порвать мою слабую снасть. И я издали, краем глаза, почти не отрываясь от картинки с моим колеблющимся на ветру поплавком, замечаю, волнуясь, как отец босиком, с подсачеком, с мешочком для снастей, переходит от продольника к продольнику — есть? есть?

Продольники наши были предельно просты — белый, клинышком заострённый брусок, недалеко от вершинки — сквозное отверстие для скобы из согнутого гвоздя, которая вбивается в расщелину бонь мягкими ударами ладони по верху продольника. Леска продета через петельку на кончике, и намотана на два гвоздика: если возьмёт крупная рыба — продольник сыграет, приподнимет свой утолщённый комелек, или застучит, или так, перевёртышем, и встанет (так и тянешь шею, уплетая пачковый суп, посмотреть туда, чтоб заорать — клюёт! — так и высматриваешь, когда он пару раз отметится кивком — рыба села! Рыба села!..) Может, конечно, под бону поднырнуть предательский топляк (это самое плохое) — и пройтись, пораздёргать подряд несколько продольников. Бывало, только папка проверил, пошёл дальше, возится в конце бонь, присев на корточках — а ты настороже — опа, опа! Кажется, дёргает (но кажется — маловато, потом папка, если просто понадеюсь — непременно пожурит, что оторвал от проверки) — может, это вот-вот покажется, всплывая, подлый топляк? — нет, нет, вот, вот снова что-то двинулось, дёрнулось! — клюёт! — орёшь папке, как резаный — и он бегом, как на Олимпиаде — бег с препятствиями, с подсачком наперевес — бежит назад: — Вон, вон, на втором!

Если что попадалось, я бросал всё и подбегал к берегу максимально близко, чтоб всё видеть издалека — как возится пака с леской, с подсачком, как водит рыбу, поддевает её, как она култыхается в тесноте сетки. Если не срывалось, если папка не ругал выразительно кого-то (себя, рыбу, случай...) — он поспешал ко мне, на то место, где я его высматривал и издали расспрашивал — показать, что за чудище попало. Хотя это, конечно, по рыбацким меркам примета не важная — не стоило рассматривать пойманную рыбу — другую упустишь. Но папка не мог удержаться перед моим нетерпением — я запускал во влажную глубину склизкого подсака свою руку, и ухал, и трогал, и расправлял веер плавника огромной, сердито глазевшей строгим немигающим взглядом, рыбины — грустного лица, грозного толстогубого язя, судорожно хватяющего воздух огромными, как крылья красивой бабочки, жабрами. И тут я сам начал беспокоиться, чтоб этот красавец не задохнулся, чтоб папка скорей бежал по брёвнышкам обратно — и опустил язя или леща в садок, где уже ворочались в своей темнице такие же красавцы.

Долго меня мариновать на берегу, не подпуская к боне, не удалось, а может, папке надоело каждый раз бегать ко мне с уловом и отчитываться, что попало за моё отсутствие, на которые продольники клевало лучше — вопросов-то было миллионы... — и меня стали брать с собой, обучая, как шагать, чтоб не оскользнуться на мокром бревне; как ступить, чтоб не съехать по предательской отмокревшей коре, которая легко, пластом, соскальзывала набок под сапогом; как перешагивать с одного пучка боны на другой, хлипкий, притопленный; как приседать, чтоб не нырнуть в воду, если вдруг появится моторка или водомёт, и пройдёт близко, пустив горб волны... И я осторожно ходил с отцом то хвостиком, то трусил впереди: потрогал садок с рыбой — живы... — и дальше, к первому продольнику, где леска уходит в таинственную глубину, где вихрем из-под боны взмывается речная муть, хвоя, щепки, обрывки водорослей, где на концах ласково развевается тина, будто оглаживая каждую струйку тёплой светло-кофейной воды. Я должен был стоять чуть ниже продольника, наизготовку с подсачком, чтоб он был расправлен и готов в любой миг к действиям.

— Есть, есть? — спрашивал я каждый раз у папки, даже если продольник не сыграл — ведь лещ рыба осторожная, может просто поднять, проглотить насадку, и не пойти никуда в сторону — уж её-то повадки я знал!

И было так здорово, когда папка отзывался — о, о! е-есть! Что-то там того-этого!.. И потихоньку, под мою безмолвную мольбу и заклинание — не сорвись, не сорвись, только не сорвись, осторожней, ещё осторожней, папка, какие же у тебя грубоватые руки-крюки, что беда!.. — папка начинал что-то выводить: сначала леска идёт круто вниз, к свинцовой ложке-грузилу, и то видно, как что-то дёргается, недовольно выдёргивая леску, пропущенную сквозь подушечки пальцев, отбирая рывком большие куски — но папка молодец, внимателен и осторожен, понемногу выбирает, отыгрывает обратно всю леску, вот уже грузило, оно осторожно кладётся на поперечную приступочку так, чтоб не застряло, если сейчас дёрнет и надо будет опять отдавать лесу, вот уже волнительно где-то ближе к поверхности, режет воду наша толстая миллиметровочка... Где же, где? И вот где-то в стороне от боны — всплеск, всхлюп, будто кто-то огромный проглатывает воду — что-то мешает — бок, хвост? — ясно, что сильная, хитрая рыба водит нас, а не мы её — стараясь сделать рывок, упереться во что-нибудь, поймать миг, когда папка будет

держат леску слишком крепко, или зацепится крючком — дёрг! — и сорваться... Но папка всё ещё аккуратен, осторожен, ловок — держит леску как можно нежней в своих сильных, потрескавшихся от воды, загоревших до черноты, ладонях в пупырышках оставшейся несмытой манки — и сильно, и не жёстко — в самую меру, будто гладит ребёнка по голове...

Рыба дёргается то вниз, то вбок, делает развороты, кульбиты — так, что бьёт хвостом, конём упирается в воду, то боком парусит поперёк течения — вдруг пройдёт такой номер и крючок, засевший боком, соскочит с губы — но папкины волшебные пальцы аккуратно, умно минуя поводки с крючками, петельки, узлы — делают своё дело: чуть отпустить, утопить, снова подтянуть. И вот рыбина уже недалеко, рядом с нами, просто плывёт, как тень — устало, параллельно боне, и папка берёт из моих рук подсачек, и осторожно опускает в воду, чтобы не спугнуть уставшего, но способного ещё на последний рывок, богатыря. Тихонько, с головы, чуть снизу, подплывает к рыбине подсачек — неуловимое движение, миг — и она поддета. Всё, наша, ура! Наверное, это счастье, когда подсак уже весь на боне, подвёрнут так, что золотистый красавец, «... как жар, горя» — лежит, спутанный, у наших ног — и вихрем проносится, а что скажет мама, а что скажет бабуля? — вот какие мы молодцы, вот что мы можем! — теперь не стыдно и домой...

Надо идти, возвращаться к садку со спутанной желаннейшей ношей — и идти дальше, проверить снасти, насаживать, вылепливая из манки куколку вокруг крючка, чистить продольники от трав, от коры (папка иногда это делает, так, будто играет на однострунном инструменте — тенькая по натянутой леске — и мусор летит вокруг, брызгами!), менять сломанные или разогнутые топляками (а может, крупнющей рыбой?!) крючки — волнительно, восхитительно и всё же утомительно суетиться, ожидая нового чуда поклевки, и делая такие проходы каждые полтора-два часа, в перерывах перекусывая или отдыхая (ведь сил не всегда хватает на несколько дней, и тогда волшебство может исчезнуть, останется бесполезная, будто у машины, суета — когда не клюёт, хоть тресни...)

Июльский день бесконечен. Солнце почти не уходит, выдаёт всё, что недодало за зиму. Не клюёт. Я слоняюсь по берегу. Удочки закинута рядом, под спуском от палатки — но я знаю, что клюют лишь слизкие колкие ерши, и то нехотя, сейчас будут добывать моего червя — мне и там нечего делать. Я решаюсь заглянуть в палатку — там в этой безвоздушной адской полутёмной печи спит папка. Пятки торчат близко ко входу — кажется, что и они загорели, хотя они жёсткие, твердокаменные, будто незаметно ороговевший панцирь. Как он может спать?! — там даже вздохнуть нечем. Даже комары, и те усыхают на лету от адской жары. Нет, я не смогу так спать — на это способен только он, мой любимый папка. Я знаю, что это любовь, моя к нему, пока что ответная, вызванная шершавой грубостью его рук — клешней, его бронзовыми пятками, его смешным свисающим над плавками, белым, всё же как ни загорай, пузиком — всей его неуклюжестью. Мне нечего делать с этой любовью — полдень будто застыл, ни ветерка. Костёр дотлел до того, что на его месте — еле-еле ворочающиеся от тоже томного ветерка сосисочки и колбаски тёплого пепла, еле перекатывающиеся туда-сюда от лени. Мне лень хоть что-то предпринять, и я иду просто в лес, в бор, тянущийся вдоль реки, вдоль камешника. Мох под ногами рушится, с хрустом, тоже пересушенный, перестоявший — оглянись, и увидишь следы, как на снегу. Грибы могут быть

только там, где влага, где вклиниваются языки влажного зелёного мха с болота. Я иду по границе, по краю. Здесь ни ветерка, но полутень создаёт хоть иллюзию прохлады. Мой улов — несколько красноголовиков, лисичек, букетик земляники — сложить не во что, ведь я пошёл в лес без цели. Руки заняты, надо возвращаться — к лицу липнет клочок паутины, и я отфыркиваюсь — по телу, от мысли, что паучок упал за шиворот, пробегает судорожный брезгливый холодок. Скорей бы прошла эта несносная жара! И вот те на! — она промелькнула так быстро, так теперь затёрта годами, что казавшаяся тогда вблизи огромной, сейчас — едва заметная полоска вдали. Огромное всё же не бесконечное. Только бесконечное издали — такого же размера. Как любовь.

Иногда в Кёджуле сплавщики устраивали залом — может, специально, а может, по нерасторопности. И тогда всю реку на продолжении всего галечника забивало кашей-малашей из брёвен, будто перегораживало неуклюжим, неумелым частоколом, как россыпью спичек из большой старинной спичечной коробки. Бона скрывалась внутри торчавших вразнобой брёвен — с одной стороны это было весело и даже местами уловисто — наверно, в воду так же россыпью сыпались короеды, постоянно тихонько жукавшие своими челюстями-пилками — и рыба подходила к залому кормиться. Но с другой стороны — мест, где можно было расположиться для ловли, было немного и в любой миг могли появиться хмурые, вечно неопохмелённые, сплавщики в своей не в меру, не по-летнему тяжёлой, защитной одежде и броднях — и начать разбирать, растаскивать, матерясь и срывая злость на соскальзывающих с крючков брёвнях, будто те были в чём-то виноваты, как коровы у пастухов. Тогда здесь дня два-три делать было нечего.

Я помню, мне, ещё совсем маленькому, дозволили забраться на залом с мамкой и с кем-то из дядьёв и троюродных братьев — родственников, кто тогда увязался на коронную родовую рыбалку. С берега-то ловить я уже умел неплохо, и тут, благодаря опыту, мне удалось выделиться — клюнул, повёл в сторону, сел на мой крючок хороший подъязык, вывести которого я ещё не мог, только водил и ждал помощи от осторожных восторженно восклицающих взрослых. Дядька, увидев всё-таки, что я не справлюсь, посоветовал мне отдать удочку мамке, которая было и подвела моего подъязыка к краю брёвен под нашими ногами, но — дядька нагнул, чтоб подхватить рыбу, а мамка чуть перестаралась, хлопнув рыбу боком о бревно, дядька рукой дал промах — эх, рыбаки! Ну кто так делает! — и подъязык, мой, самый большой на всю нашу удрящую компанию — бац, сорвался! Я вспузырился обидой — на маму, на всех, у кого на глазах это произошло — и не сдержался, бросился в рёв, убежал на берег, наплевав на такую ловлю — как же так?! Ну, как же так можно — это же была моя рыба! Я помню, даже папка отвлёкся, стал меня успокаивать, что я ещё поймаю. Но я не останавливался долго — да как он не поймёт, насколько велико моё горе?! Так всё казалось несправедливым — ведь это было наше место, наша река, и моя рыба, доказывавшая, что я тоже кое-что могу! — как же так, а?!

— Ну, мама ведь не нарочно...

Но слёзы всё текли — как же так, я ведь лучший, нет? Они так смеются, хохочут, с криком подсекая... А я, сделал правильную проводку, выбрал насадку, глубину, подсёк — и, и ... и — и, фиг-на!.. Для них рыбалка — шум, смех, веселье, а для меня...

Хорошо, хоть папка не участвует в этом — вот он-то потому и спит днём, что ночами ловит самых крупных, самых осторожных, матёрых, выходящих к его прикормке...

Полдень. Жара страшная, я иду по боне, вода приятно холодит ступни, но как же жарко!.. Верхушка лета, верхушка лета... На берегу лениво курится костёр, там, на ветерке, остывает чай, но возвращаться неохота. Я выбираю местечко и, встав на колени, пью, лакаю вышибающуюся из-под боны тепловатую, сладковатую воду. Из ладоней не напьюсь, а так — можно. Через десятки лет в ветхозаветных историях я прочитаю, что так выбирали воинов — кто лакал, тех брали, а кто откладывал оружие и пил из ладоней — нет. Я пил во-волчьи, смыкаясь со своим отражением, и небом.

Я настолько освоился (про себя я знаю, что повзрослел), что мне даже разрешают взять штуки три оставшихся продольника (они похуже, про запас) — и пойти самому поставить на нижнюю бону — коротышку, то есть заняться самостоятельной рыбалкой. Собрав всё, что нужно, — червей, кашу, запасную леску, крючки — я иду туда. Спуск неудобный — часть боны закинута на берег и можно запросто соскользнуть, но я уже цепче мартышки — умею, как скалолаз, просчитать малейшую опасность, пройти где надо, как канатоходец — пусть неудобная, это моя бона. Я впервые от начала до конца делаю всё сам — выбираю место, забиваю острые скобы в расщелины, укрепляя снасточку, когда свинцовая ложка касается дна — поддёргиваю, чуть даю слабину, и слегка внатяжку укрепляю остаток лески, продев в петельку на кончике поставушки — у меня всё, как в лучших домах Лондона — недаром мамка — отличница, а папка — вообще феномен, гений, вот только не могу точно определить, в чём... Кашку экономлю, но всё равно не хватает — приходится сажать пучком, шевелящимся клубками, по несколько красных червей на крючок, хотя я и сам сокрушаюсь — ну разве это насадка, тем более на ночь глядя? Ерши же всё раздолбают за пять секунд. Утром я вылез из палатки вместе с папкой — ему хорошо, он-то пойдёт проверять хорошо наживленные, прекрасно заряженные донки, а я? Мне и идти-то лень до своей боны — плетусь босиком, низ штанов почернел, весь в росе — ну что там может быть у меня? Ничего у меня быть не может... Соскользнул удачно вниз, первая донка — так и есть, пусто-пусто, выросла капуста... Только голые крючки да трава... Вторая — та же история, пришёл невод с тинной морской, противно облепляющей леску, да петли, где крепятся поводки. Насаживаю кое-как, для проформы, вообще вся затея кажется мне бесполезной — хорошо тем, кто на основной боне, там течение, там проверенные «клёвые» места, прикормка — вон папка возится, поднял что ли кого, подъязика? Не видно издали. Ну и ладно. Тащу, несколько беспечно, последнюю донку, даже не обращая особого внимания, что леска идёт как-то не так — в сторону. Успеваю сообразить только тогда, когда во всей красе, боком ко мне поднимается из тихого, еле сочащегося слабым потоком, течения, огромный удивлённый лец, косясь на меня огромным глазом — а ты что тут делаешь? А я обалдело стою, без подсачка, вернее, балансирую на короточках на неровных пучках, собранных из неокоренных ёлок. Лец стоит спокойно, неспешно плещет плавниками — в метре от меня, омываемый медленной торфяно-черноватой прохладой утренней реки — видно, утомился за ночь. Держа его, будто на привязи, оборачиваюсь и кричу: «Подсак! Подса-ак!»

Я вижу, как отец подскакивает, будто на пружинке, сообразив в чём дело, и сверкая голыми щиколотками, работая руками и локтями, будто раздвигая препятствия, с подсачком наперевес — бежит, скрывается в той стороне, где самое начало его боны, чтобы успеть добежать берегом до меня. А я не знаю, что делать... И всё держу лецца накоротке — мокрого, чёрно-спинного, сказочно-величественного, с жёлто-серебряными прекрасно подогнанными пятнами чешуи-кольчуги, а на губе болтается мой маленький крючок с бордовым ошмётком выползка.

Я мог бы достать его рукой, но вытащить — вряд ли: папка ловил таких. Они даже в мешке, в рюкзаке — устраивали бешеную революцию, ворочались и бились с такой силой, что приходилось проверять — не развязался ли рюкзак, не ослабла ли верёвка на горловине?

Лецца не стал ждать, пока появится папка. Он лёгким движением мотнул головой — тюк! — и крючок, едва держащий его за губу, слетел... И он не спеша ушёл в глубину, хотя этого не может быть! Это было невозможно, невероятно! — можно было ещё броситься, схватить его обеими руками — нет... Я только проводил его взглядом.

И как раз прибежал, ловко спустившись по коварному спуску, папка — что, где рыба?

— Ушла, — говорю. — Лецца. Огромный.

Папка оглядел место вокруг, что-то прикинул, констатировал:

— Да. Здесь матёрый может взять. На что?

— На червя. Красного, — я переживал потерю спокойно, анализируя, что произошло: надо было брать с собой подсак, а если уже не взял — надо было донку с грузом обратно опустить, подождать папку.

— Надо было грузило-то опустить, — будто прочитал мои мысли папка. Лецца бы походил-походил, и не сорвался, груз бы смягчил рывок...

— Он еле держался, головую только мотнул, и сорвался, — рассказал я.

— Ну да, да. Ночью, наверно, взял. Самый крупный — в ночь берёт, жары что ли боится?

Это верно. Похоже, я приобрёл верное рыбацкое чутьё, похожее на папкино, мышление — по интуиции, от него, мне передавалось понимание — почему он так устраивался по ночам: с двух сторон продольника, обязательная марлевая бомбочка с шлейфом сочащейся прикормки, удочки отлажены на самого крупного... И вот этот лецца говорил — что я могу так же. Но силёнок, воли было ещё маловато, я заваливался дрыхнуть прохладной ночью, а когда утром выползал, и солнце стояло уже высоко, то лениво интересовался у папки, возившегося на реку:

— Ну что, есть? Крупный-то как?

— Е-есть...

Я спускался к боне, поднимал садок, и в нём шевелились они — самые крупные, самые-пресамые настоящие леццы — недовольные, обрызгивавшие меня за то, что потревожил их — о ком я потом буду мечтать снова в своих долгих зимних предчувствиях.

С таким уловом можно было уже и домой, и тянуло поскорее туда, вывалить из мешка в белый таз эту грудку рыбы, чтобы бабушка заохала, запричитала, радостно похвалила нас, смертельно уставших рыбаков-добытчиков.

Иногда налетал какой-то особый, пронзительный ветер, что клёва не было, только тоскливо билась в бону волна, пенясь и сердито намекая, что тут делать нечего. И вроде небо было обычно-лазурным, и облака почти такие же, грязноватные, но всё шептало-намекало — нечего ловить... И тогда мы с папкой (достаточно было переглянуться) срывались, возвращались домой, чтобы устроить поход куда-нибудь в лес, либо бежали в другое место, где не было этих настырных волночек, этого неизвестно почему холодно-безразличного неба — например, налегке, со спиннингами к устью Поинги — и там всё было по-другому: от перемены мест под небом менялось всё.

Но, грешить не буду, иногда клёв был такой бешеный — что было не просто горячо, а так жарко, что только держись, да лови!

В одно лето приехал погостить живейший золотозубый дядя Толя Цветков, муж тишайшей тётки Эммы, младшей папкиной сестры, вышедшей каким-то образом замуж за этого жизнерадостного дядю Толю куда-то далеко, в Родники Ивановской швейной ситцевой области. Родила она там ему моих двоюродных брата с сестрой — Гришку с Ленкой — и стала глубоко непривычно по-ивановски, не по нашему, окать: — Вот хорошо, добрались! — так что эта буква «о», хорошо, по-коровьему, по-доброму, обрамляла всю её незатейливо-молочную речь.

В то лето, когда приехали Цветковы, лец клевал, как сумасшедший. В первый же вечер, нарушая все законы, весь распорядок клёва — дядя Толя ринулся на реку, показать Гришке, что такое река, удочка — на мои места на песчаной косе — и, оборвав все крючки, уполовинив лески, тем не менее приволок и хлестнул на стол, на клеёнку, двух приличных палтанов: — О! Вот и рыба!..

— Но вот, хорошо! Вот молодцы, — как нарочно, стараясь подбирать слова с этим «о», говорила тётка Эмма, так что я опасался как бы не собезьянничать и не ввернуть где-нибудь случайно такое же «о» (у меня был еле осознаваемый мной недостаток: эхо-сознание: с другом-поэтом Серёгой Зелинским я говорил о вычурных недостатках Маяковского и травил литературные анекдоты о Есенине, вычитанные мной на обороте какого-нибудь календаря; с другим другом Юркой Борманом — говорил о том, как хорошо быть одному и удрать из дома, хотя и не собирался этого делать, потому что и так очень часто был один, в лесу, в тайге...) в силу эхололии. Эти леци были слабенькой прелюдией к нашему победному походу в Кёджул.

Вот тогда мы за три дня наловили (просится другое слово — накосили) столько, что у нас даже кончилась вся соль. В самую жару. И меня в срочном порядке впервые одного-одинёшенька отправили домой через всю тайгу, набив рюкзак рыбой до отказа. За солью, за хлебом, которого тоже оказалось мало для нашей кровожадной компании.

Отец проводил меня немного, до конца галечника, до начала болота, и заспешил обратно — некогда, лец клюёт, то и дело продольники тарабанят, призывно, властно, не успеваешь вытаскивать — сход, ещё сход! — да и плевать, такая горячая пора, такое дело, что я, как понимающий, что рыба пропадёт без соли — должен был и домой дойти, и ещё обратно вернуться. Одному, по тайге, по комарам, впервые — это не шутка даже для такого уже обстрелянного рыбака, как я, четвероклассника.

И я пошёл. Волнуясь и опасаясь. Изредка оборачиваясь — не преследует ли кто, не высматривает ли из глубины леса медведь, не крадётся ли по следам,

прячась за деревьями, необъяснимое расплывчатое зло. На сумасшедшем турбо-ритме сердца я проскочил болото, отмахиваясь от комаров ольховым веничком, взобрался на полянку, где у нас обычно был привал, но останавливаться не стал — страх и неизвестность гнали дальше. Вот ручей, вот боры, приветливые, когда рядом кто-то есть, и таящие нечто, когда ты совсем один, знающие, что ты всего лишь сам по себе, слабосильный мальчишка... Изнутри лезли все эти так и не материализовавшиеся страхи, и ошупывали сердце, трогали желудок своими холодными лапками — а мне-то что, я в какой-то момент определил их местонахождение: они же внутри, и вдруг перестал бояться леса, с теми, внутренними — я справлюсь, только бы деревню увидеть, церковь.

Вот они, родненькие. Всю муть — как рукой сняло. Деревня, дорога упирается в забор, я лезу по длинным следам, тяжёлый рюкзак переваливается, чуть не удавив меня — надо было его перекинуть, а потом самому... Последние метры — наша калитка, родное, незапертое крыльцо, наконец-то прохлада, награда за всё.

Белые, помнящие и так пухленькую добрую тётю Эмму, перетяжки платья. Остро, с благодарностью переживаемое мной радостное бабушкино удивление — золотое дитя, да как ты один-то! Сколько рыбы, аминь-аминь!.. Мягкое, пузырящееся, как лёгкое платье, тётино говоренье: — Вот, молодец, хорошая такая рыба... Молодцы! Поди сюда, Юрочка, поцелую, хорош внучок у бабы Лизы...

Я хочу быть маленьким, хочу остаться в этой воздушной прохладности, обвеваемой лёгкой, невесомой тканью любви — но я мужик, мне некогда тут расслаиваться с бабами — завтра я с утра в магазин, — и в обратный путь, как вы, сороки-лежебоки, соли-то не запасли!.. И хлеба свежего надо на комоль!

Я строг, как маленький Цезарь в своём неразвитом нищестии. Да-а, всё же дома так хорошо, так легко — прохладно, так беззаботно реют занавески, не знающие пытки в душной палатке — они тут не от мух, не от комаров — так, для умягчения сквозняков, рассеивания закатного пожара... И женщины, покорные твоему желанию возвратиться как можно быстрее на рыбацкую битву, всё же так легко, спокойно обволакивают своей суетой: — Чаю? — Угу... — и уже не очень-то хочется обратно, в пекло, в комариное болотное царство, которое ни объехать, ни обойти... А надо! Так без меня рыба пропадёт! — встряхиваюсь я, опять эти скользкие, крадущиеся осторожно, мысли, только уже не пугающие, сладко соблазняющие: отдохни, расслабься, подумай, денёк отдохнёшь...

Иду. Провожать не надо, даже до первого забора — и бабуля с тётей Эммой, с мамкой остаются у крыльца — щурясь вослед мне, вполне боеспособному.

Дороги я не боюсь, не страшусь, возмужав в один день. Бор? — тхе! — пихаю придорожные, страшные, типа больших ракушек, тёмно-коричневые грибы — наверняка поганки. Болото, морошка, даже не нагибаюсь. Я ещё и песню могу спеть — идёт солдат по городу!.. Уже издали вижу у нашей палатки — не один дымок, а два... Что такое? Соседи? Ещё кто-то к нам пристроился? Непорядок, если так... Тороплюсь, спотыкаюсь, лечу, наткнувшись и руками на корни сосен — в конце пути, и вот те на! — ссадина. Ладно, переживём! Уф, я у палатки! Наши все на боне — кричу: я пришёл. Папка увидел, идёт по боне, лезет вверх, на берег, семейные трусы подогнуты наподобие плавок.

Устал? Не, нормально. Как клёв? Просто фантастический, даже папка такого не упомнит. Гришка полез на бону и провалился между брёвен, чуть не утонул...



А рыба?! Куда же рыбу девать? Ведь жара, она мигом снёт в садке, усыпает, не углядишь... И это что, берег загорелся от жары? Нет. Это изобретение! Коптилка. Выкопали под бережком печку, а это как бы труба. Поддувало внизу, полешки ольховые, можжевеловые ветки, а здесь — на решётке из веток, под веничками — коптится рыба. Соли-то не было, вот и нашли выход, ожидая, пока я не приду. Так. Значит, рыба лучше всего клевала, пока меня не было. Как же это так, самый клёв — без меня, вот этим вот ивановским неумехам!.. Вот он, самый коварный голосок — обида с гордостью...

Но я успокаиваюсь. Всё тем же лекарством — я мужчина, на мою долю хватит ещё, вы-то гости, а я, с хлебом, с солью — хозяин! И я стал вылавливать невиданных до того мною лещей, и забрался со своей удочкой на самый конец боны, стараясь доказать папке, что там могут быть самые-пресамые, и у меня действительно клюнуло так уж клюнуло! И я снова кричал — подсак! подсак! И уже дядя Толя, сверкая лодыжками, бежал по боне ко мне босиком, загоревший, по-пиратски сверкающий золотым зубом, будто негритянский стайер, торопясь перескочить барьеры и лужи — и уж он подхватил моего, самого откормленного, самого высиженного мной, трудового красавца-леща, не того же самого, ушедшего воина-богатыря, тот был больше — всё же сорвавшаяся, как ни крути, самая здоровенная!.. Самая запоминающаяся...

Кончилось это летнее безумие тем, что дядя Толя, обещая починить дедушкину инвалидку, прицепил её к какой-то попутке, и, погрузив до отказа всюду, где только можно, коробки с ароматным, золотистым, подкопчённым (кое-где всё же подпорченным мухой) лещом — и укатил. Так и оставив, наверное, у себя впечатление — что у нас тут всё всегда так щедро, в переизбытке! Инвалидка, конечно, так и пропала, не так и не извела в полноте дорожной жизни. Да и дядя Толя с тётей Эммой что-то незаладили — но я этим не интересовался, не совался, испытывая только неясную боль за тётю, её безответную мягкость и молочного цвета платье и доброту. Ведь, что было, то было, осталось и мне будто напоминание — есть времена щедрые, и есть времена раздавать и брать, и есть времена — делать что-то впервые, одолевая тайгу, будто умирая для самого главного — для рыбной ловли, ради чего, ради кого?

Теплынь. Мягкая, влажноватая жара, оживляющая все запахи. Мы с отцом скачем по лугу — ловим кузнечиков, — сами как кузнечики. Определив, по звуку, где он сидит — я крадусь со своей парусиновой шапочкой наизнанку. И если удаётся увидеть его, будто среди геометрического узора — объёмную настороженную фигурку — медленно приближаюсь. Кузнечик замолкает, понимая, что надо не стрекотать, а готовиться к прыжку, но мой выпад проворней — он накрыт шапочкой, и я нащупываю в смятой горсти травинок его приятное для меня, охотника, шевеление. И медленно, сантиметр за сантиметром, отгибаю обшлаг, пока не появится недовольная, смородиновых цветков, головка, как у спелёнутого биоробота — ты мой! Извольте в банку с дырявой крышкой, к своим братьям.

Это папка затеял новый для нас вид рыбалки. На Печоре он так ловил хариусов и сегов — на кораблик, который под углом, под силой течения, удалялся, унося за собой шнур, на котором висели поводки со всякой всячиной — оводами, кузнечиками. Встряхнёшь — и они начинают прыгать по воде, оживая, давая равномерные, как капли, круги — и рыба, если она к тому расположена, хватает наши настоящие мушки! — успевай только подтягивать.

Это хорошо только в воображении, или там, где рыба не пугана. Наш же кораблик — как ни бороздил тишь реки ниже боны — никого так и не привлёк. Хотя рыба периодически играла и плавила, заставляя кипеть наши мозги — ну как, отсюда, с боны, или с берега — дотянуться до неё.

Кузнечики уже без крючков, скопом — полетели кто куда — в основном в воду — проверить, может, не берёт из-за грубой снасти — и плыли, плыли, копошась, пока не скрывались за поворотом стремнины: кто-нибудь да подберёт же, если местные привереды так прихотливы...

И опять лещ становился нашей основной рыбой в Кёджуле, хотя, конечно, ловились там не только они. Что не получилось с корабликом, совершенно неожиданно вышло совсем в другом месте — в гуще брёвен, создававших толчею перед боной, скапливавшихся здесь густо, прибывавшихся, прижимавшихся к боне, и неспешно, преодолевая трение, с шелестом рушащейся подсохшей коры, с гулками тумканьями друг о друга, продиравшихся дальше, на большое течение.

Мы с папкой проверяли продольники, и у нас за спиной, там, в скоплении неправильных треугольников, на которые режут реку бестолковые брёвна — всплеснулась, взметнулась вверх крупная рыба. Ещё когда мы сидели на берегу, и пили чай — в этой чехарде, прямо перед нами (бона уходила углом вниз, вправо) — мы видели этот гордый выпад, будто вставшего на дыбы коня. Стерлядь — определил отец. Но ловить там, в хаосе, постоянно, чуть не сплошняком плывущего покрова из брёвен — немыслимо.

И вот опять этот дразнящий, дерзкий прыжок-вызов: ловите, ловите своих подлещиков... Я-то тут, рядом, под носом ... — поди возьми, это вам не теорема Ферма, тут думать надо!

Конечно, если б мы были простыми добытчиками, которым нужно всё, сразу, и побольше — мы бы взяли сети, забрались в какой-нибудь укромный уголок, которых у нас ещё хватает — и всё. Но нам нужно было всё, сразу, как можно больше — и там, где мы этого хотим, и так, как желаем — в единоборстве. Вот такая у нас родовая упрямая черта — искать ключи не где потерял, а там, где хочется. И главное — находить, что самое удивительное.

Как это так?! — рыба у нас под носом, можно сказать, а мы не можем её взять?.. Непорядок. И мы, там же, ещё на боне составили план. Я предложил — пап, давай рискнём куском лески да парой крючков — сделаем насадку на спиннинг, и забросим его туда, прямо под нос рыбине, пару миног — положим на дно в том месте, где она сейчас всплеснулась... И мысль наша лихорадочно заработала: — а как же брёвна? Леска ведь попадёт поверх брёвен — их там, что спичек в коробке? — выберем момент, просвет ведь бывает... А дальше? Они же наплывут, заденут натянутую леску? А мы притопим, леска пусть по самому дну пойдёт... А как узнать, что клюёт? Ведь рядом с берегом всё равно леску надо чуть-чуть приподнять, чтоб не волочилась по дну, чтоб хоть кончик мог быть на весу?.. А мы запруду сделаем! Маленькую бону из самого толстого бревна — и оно одним концом будет лежать на мели, другим стоять под углом и отталкивать от донки дерева... Красиво, но осуществимо ли?

На то мы и екишовская упрямая порода, чтоб пробовать самое неосуществимое. Я с какой-то бодростью, в приподнятом настроении остаюсь у костра — переделывать спиннинг в донку-закидушку: отцепляю грузики, поводок, блесну и

вяжу пару петелек для обычных наших крючков, и посередине цепляю свинчатку-ложку, по-обычному продевая леску в ушко и захлестывая. Тем временем папка уже сходил вниз, ко второй боне, с котелком, принёс троечку миног в мутной кашеце — одну лишнюю, на всякий, вдруг заброс будет неудачный, или слишком резко дёрнешь — и она улетит в воду, отцепившись, сама по себе.

Всё, снасть готова, пока мы сооружаем запруду — кончик снасти, грузило с крючками и миножками, опускаем в воду, и они резво колыхаются, красиво вибрируя и колыхаясь — был бы я рыбой, клюнул бы обязательно!

Папка затаскивает комлем на мель толстенное, больше обхвата, сосновое бревно — жирный смолистый тёплый пузанчик, на котором одном можно плыть — оно и не почувствует, есть ещё у нас леса! Посмотрев, как оно себя ведёт под ударами брёвен со стремнины, припираем его ещё на всякий случай тоненьким брёвнышком — так, первая часть безумного дерзкого плана, ловить посреди брёвен — прошла удачно. Ждём просвета в пелене сплава. Вот затишок. Я отхожу чуть подальше, соблюдая технику безопасности — это только в мультиках смешно себя поймать, а если тебе с размаху всадят парочку хороших крючков — не посмеёшься! А что? Бывало... Бывало и такое: крючок цепляется за небрежно незастёгнутый рукав... — и грузилом в лоб кому-нибудь из соседей — ах! ох!

Тут папка — мастер. Хорошим броском аккуратно кладёт леску донки посреди просвета, я так не умею... Аж под конец щёлкнула катушка — леска размотана на полную, грузило шлёпнулось там, где нужно, где приблизительно дразнила нас рыбина — да и миноги не сорвались — дали по сторонам круги, будем надеяться всё как должно быть...

Но это ещё не всё — папка кладёт спиннинг боком, почти к воде, и закрепляет его между двух брёвен так, что леска и вроде как над дном, и если рыба тонет, то кончик удилица, идущий леске поперёк — засигналил... Я предложил, для верности, положить ещё в воде на леску камешек, чтоб совсем притопить, но это лишнее — пока отказываемся.

Вот и всё. Теперь ждать, что из этого выйдет — всё уже затянута брёвнами, но пока они идут выше нашей снасти... Это хорошо. Но рыба может её поднять и зацепить — это плохо. Ну а тогда мы на что? Папка на всякий случай натягивает осторожно леску, делая несколько поворотов барабанчиком катушки. Идём перекусить — картошка уже наверняка испеклась в костре. На такой жаре надо доесть все скоропортящиеся городские припасы — высушенные на концах перья зелёного лука; огурцы, помидоры, помятые, помягчевшие; размякшее на солнце сало... Вермишелевый с копчёностями суп, судя по потёртостям на пакетике, уже не впервые с нами в походе (и ещё подождёт!). Сбитое в пакете до крошек, печенье; консервы — тоже пока в сторонку; соевые конфеты комом — это на третье, к чаю... Пока что откидываем золу, выкапываем картошечки, кое-где обуглившиеся, мажущие руки да края щёк (ведь рядом с угольками — самое вкусное), всё же распечатываем ножом одну банку килек в томате, и папка, впридачу, балуя меня — одним круговым оборотом вспарывает маленькую жестянку паштета (якобы ему под червей, но зная, что это ради меня). Но мы пируем недолго.

Тресь, тресь... — Что это? Тресь-тресь — тр-р-р! — да это же спиннинг с катушкой! Удилище гнётся; леска с треском, сходит! Брёвна, в которых зажато удилице —

чуть не ходуном ходят — так это же рыба! Это же тормоз трещит — значит, что-то большое, увесистое, — главное, чтобы не тупорылый топляк! — так можно и поперхнуться, подавиться — вскакиваем и бежим с папкой туда, скатываясь с берега: так и есть, рыба села, большая рыба! Я оторопел — что теперь делать, кругом, блин, свалка из брёвен?! А папка выпростал спиннинг и, кончиком вниз, к воде, стал потихоньку подматывать, стараясь не поднимать леску высоко. Но стерлядь не дура — ну давать свои коронные свечки, прямо в просветах! — ну водить, биться, стараясь зацепить где-то леску, запутать... Но папка-то, рыбак матёрый, опыт-то куда денешь — понемногу смягчает рывки, и слабины не даёт и воли, придерживает большим пальцем катушку, и — подматывает, подматывает... Рыба уже недалеко, и тут он оборачивается ко мне: — Где подсак? Эх, я, раззява, вместо того, чтобы смотреть спектакль, давно надо было смотреться наверх, к костру, за подсак — я же рыбак, а такой недальновидный!.. Бегу рысью на берег, в лихорадке рву, цепляющийся за мелкие сучки, подсак, прислонённый к вкопанным брёвнам — и чуть не кувирком вниз, обратно — вот мы! Стерлядь уже совсем близко — выписывает призрачные фигуры в прозрачной воде, режет пространство треугольником под брёвнами: я как был за перекусом — штаны до колен, босиком — забегая в воду, неловко пытаюсь её подсакнуть, но она, отрицательно намагниченная торпеда — легко уворачивается, чуть не сорвавшись. Папка волнуется, ругая меня за неумелые действия, будто нашего нападающего, мажущего в пустые ворота с трёх метров (это мы умеем, старая школа!): — С головы, с головы, ....! Ты что делаешь?!..

Хватает у меня подсак — вот так! — миг! — и она наша. Рыба в подсачке, и папка отдаёт мне ручку, сам сматывает остаток лески; крючки, грузило — как бижутерия — уже висят на ромбах подсачка. Всё, на берег! Ох, переживаний хватит на год! И какой-то особой, не грешной, рыбацкой гордости — ведь вот, сложностей море, а мы такие рыбаки, что ничего не боимся: если есть тут рыба — возьмём, способ найдём, и пымаем, будет наша!

Возвращаемся к костру. Стерлядь водворена в наши закрома — теперь можно и дозакусить, с двойным аппетитом. У нас перед глазами — опять то же марево брёвен. Интересно, а ведь говорят, что они ходят парочками... Надо попробовать ещё раз!.. И даём себе разрядку — вся пицца летит как в топку, комками, пролетает только в путь, бутерброды с печонкой, те, что рот еле раскрывается — исчезают со скоростью тёплого, нежного июльского света...

Испытают ли мои дети хоть часть того, что я им пытался передать по наследству, минуя владычество чьих бы то ни было оценок над моментом, временем, способом зрения? Будут ли они так же поджимать ноги, стараясь, чтоб лежащая поверх вместо одеяла штормовка укрыла и ступни, и ножки, и рукав прикрыв ухом, чтоб не слышать тревожащих воображение далёких звуков — то ли заблудшая корова где-то реванула от коровьей тоски, то ли медведь крикнул сломанной нечаянно корягой, то ли парочка влюблённых филинов поверх тайги прокладывает дорогу шашечками звуков — там, здесь, подальше, поближе? Будут ли они благоразумны, снимая в предбаннике палатки подмокшие от влажных ног сапоги, ставить их так, чтоб они проветривались, подсыхали, и с другой стороны, чтоб не затронула их ни роса, ни внезапный полночный дождь?

Я-то не был поющим у костра, хотя что-то постоянно, не прерываясь, звучит во мне с тех пор, как стал делать самостоятельные шаги вдали от людей, от мира,

от соблазнов и ложного единства в общественно-безликих социальных опытах. Сумеют ли они, преодолев все грустно-поэтические соблазны, стремящиеся получить часть нашего наследства, и потом, как в сказке про лису и лубяную избушку, прорвавшись тайком — управлять нашими местами, и нашими действиями — смогут ли они, отвергнув всю эту поэтическую самозванскую муть, быть прекрасными хозяевами родовых заветных мест? Будут ли они к этому так же близки, как Адам в раю, ещё до падения — так же совлечены одежд ветхого, гнилого, фрейдистски-грамотного, бездарно-унисекс-просвещённого барби-человечка из пластикового пакета со своим ценником — и почувствовать те древние ароматы, что чувствовал я?

Я сам, родитель, не знаю, да и никто не знает — ответ без опыта абстрактен: может, да, а может, нет. Чтобы «да» стало «да», а «нет» исчезло в небытии — мало сжечь все подрывно-наркотические книжки и притупить жажду потребления — мир в своём красивом естестве ненавязчив, и, более того, высмеивается за «неинтересность», косность, скуку бесконечной череды неприглядных облаков, или акварельную размытость не приправленных «обладанием-наслаждением» дней — и выбрать, несмотря ни на что, его абсолютную красоту, когда он оплёван цивилизацией (как это сделал я лет в пять-шесть) — очень непросто. Выбор, который предлагает тебе кусок луга, галечник, стремнина, костёр — невидим и необъясним, но он есть.

В первый раз, когда мы с детьми выдвинулись на наше местечко (как только они стали способны пройти несколько километров, с привалами, разумеется) — мы заблудились. Дело в том, что мы шли не привычной мне дорогой из нашего деревенского дома, а напрямик, с автобуса, через переправу, и — налево по луговой дороге, которая должна была нас вывести к реке чуть выше нашего места, и которую (моя вина) — мы потеряли в лабиринте, в сканворде мелиоративных канав, изрезавших торфяник с пожелтевшей, в рост взрослого человека с руками вверх, переспевшей, так и не скошенной травой. Мы стали ломиться напрямик, по направлению. Дети захныкали, увязнув в этом стоящем стеной, как кубинский сахарный тростник, царстве — не зная, что, зачем, почему мы так идём? Волны раздражения (я был ещё молод, а июльские искушения удушливы) — ну что они капризничают? Ну что они жалуются на комаров (а что будет на болоте)? Ну что они хнычут от усталости (что они вообще о ней знают)? — привели к паре шлепков, и к тому, что дочь прочно устроилась на моей шее, это не считая перешедших ко мне изначально, по определению, всех палок-удочек, рюкзака, ну и так далее... Нас сопровождал горячечный истерично-истошный крик местных чаек-обывательниц, тупоголовых, беспокоящихся о своём орущем башковито-неуклюжем потомстве (да кому оно нужно...). И всё же, отступив в сторону лугов от прямого направления, с детьми наперевес, уже не способных идти — мы выбрались, как из окружения, к реке (кстати, обратный путь был невероятно лёгок — дорога шла, будто ниточка Ариадны из лабиринта — легко, не теряясь, чуть в стороне — люди не любят прокладывать прямые пути — как решение задачи, когда уже подсмотрел ответ в конце учебника, как жульнический ход в разгадывании головоломки, когда чертишь единственно возможную линию от центра, куда нужно было прийти). Вот за этот прорыв я и был награждён той ночной их беседой о мироздании, и пении у костра.

Теперь уже им нельзя было на бону (как мне в детстве), но на их радость, я больше стал ловить с берега — теперь-то я уже умел устраивать запруды из брёвен по всей длине галечника (сплавщики не сердились, зная, что под конец я их разрушу, им даже было хорошо — берег после нас был чист от брёвен), закидывая ниже каждой треугольной запрудки не очень длинные доночки с миногами. За миногами ходили всей компанией — и это было целое приключение для детей, терпеливо выносивших назойливость оводов и слепней в ожидании, пока я шарил между корней полузатопленных кустов, нащупывая очередную кочку или просто вычерпывая на берег, им под босые ноги, жидкую серо-зелёную, с синеватым отливом, прибрежную грязюку, где водились вьюны-миноги, и таились, пока их не коснёшься и они не выскочат безопасной юркой змейкой...

И мы, семьёй, зачастили сюда — и каждый раз нам везло: каждую рыбалку на этом каменистом бережке, к детскому восторгу, находилось что-то особенное, и они просили поддержать леску, поводить рыбу, потом благоговейно передавая её мне обратно, исполняя малейшее желание беспрекословно — стонять за забытым подсачком, принести червей... — каждый раз у нас были примечательные, будто подаренные к семейному празднику, рыбины: прекраснейшие из всех на свете, кофейно-молочные, кремовые, выточенные веками, соразмерные с самим миром рыбы — стерлядки, перезрелые, налившиеся тугой силой, великаны-язи — первое время нежно оглаживаемые детскими руками — ух ты, ух ты, какой! ну-ка не волнуйся, ты теперь наш! ух, какая стерлядка! всё, теперь нам на уху!.. Красивая, косточки у тебя, шипы, и ротик!..

Правда, теперь улов увеличивался не только за счёт рыбы — домой следовали и самые лучшие, прекраснейшие, некоторые сочтённые инопланетными красивыми путешественниками — камни с галечника, забивавшие теперь карманы рюкзака (тускневшие, незаметно терявшие свою силу в городе). И это тоже было только их, не моё отношение к месту — я в детстве ни отсюда, ни с других мест (даже с моря) не притащил домой ни одной коллекции ракушек, раковин, куриных глаз, ну и так далее — оставляя всё на своих местах, да и некогда было — на рыбалке я ловил рыбу (ну, и смотрел по сторонам: может, мои камни — невидимые?).

Однажды нас с детьми в Кюджуле застал такой ливень, какого я не испытывал нигде и никогда. Мы забрались в палатку, легли на днище, мигом превратившееся в тёплую лужу. Кругом были молнии, так что земля дрожала, непрерывно угловато трещал, разрывая полотно небес, гром, ливень пробивал палатку насквозь — от постоянных сполохов было светло, хотя солнца и не было. И мы смеялись, и переживали. Потом оказалось, что невдалеке, метрах в десяти от нас, грохнулась вывернутая то ли молнией, то ли порывом ветра, толстенная сосна — а мы даже не заметили — так, наверно, всё тряслось у нас внутри в первобытном страхе грома, молнии, мгновенного электрического удара... Днище хорошо держало воду, но это было для нас плохо — вода-то пробивалась сверху, и сплошная лужа под нами превращала нас в единое целое — ударит, так пробьёт всех вместе — и мы, прижимая детей, вовсе и не так переживавших как мы, смеялись их восторженным шуткам, шуткам пригревшихся плотоядных червячков, смеющихся, что ты глупо лежишь в тёплом бульоне, как мокрая курица, ха-ха-ха, очень смешно... Пап, ну ты совсем мокрый, фу! Пап, ну когда это кончится, а? (я ещё и в этом был повинен, а как же — это же я всех сюда привёл...). Пап, а в дождь хорошо клюёт?

Пап, а как мы потом сушиться будем? Ой, я сапоги забыла перевернуть, там, наверное, воды...

Гроза, с её декорациями, шумом, фанерным грохотом — переместилась дальше, в тайгу — и мы выбрались наружу, считать убытки. Так, мокрое всё — от еды до запасных носков, но нас это, поправимое, не волнует. Огляделись — живы, целы — смотрим уже на галечник, где воткнуты прутьики донок, с колокольчиками — всё красиво, по правилам. И вот прекраснейшая из живых картин: выглядывает солнце, освещая бурый, влажно-коричневый галечник, промытую глубину луга и леса на том берегу, отступающую колодезную тьму небес — и восхитительно гнущийся сторожок донки, сопровождаемый весёлым смехом колокольчика! — подвалил кто-то к нашему берегу подкормиться, и клюнул!

Я будто со стороны вижу эту картину, как мы с детьми сбегает вниз — забыв про всё мокрое — и под сенью влажно-атласной набрякшей поддёвки, оливково-грузной мешковитой подкладки каких-то сверкающих золотом небесных одёжек — мы, как сказочные персонажи, тянем-потянем, вываливаем крупнейшую рыбу (язя, я уже знал по первым же повадкам и рывкам лески). Язь был не просто здоровенный, а соответствующе остроте и свежести картины, непревзойдённо-величавым. Он по-царски култыхался, выбивая из детей всевозможные эпитеты и восхищения, демонстрировал свои упругие бока и потяжки вглубь, как записной резвый жеребец — я его подтягивал, всё ближе, всё осторожней, кожей, через нахлынувший озон, проводящий, наверное, и звуки, и дыхание, и всё-таки острей, сверхпроводимей — ощущая весь сладкий детский ужас при очередном взбулькивании. Они уже не кричали, не дышали, они только попискивали, замороженные этим маленьким таинством — совсем не замечая ничего другого, кроме приближающихся кругов на воде — ни полыхающего ещё редкими зарницами уходящего грозного неба, ни наэлектризованного эфира-воздуха, ни остро, разрезающего из-под туч мир, будто плоским ножом, солнца (и мы при этом оказывались будто спасёнными мокрыми заглотышами из чьего-то могучего чрева). Для них существовала только нескончаемая цепочка круговоротов и всплесков рыбы, которая была свидетельством великого равновесия сил: этот язь, его величавое к нам неотвратимое шествие — было некоторой справедливой платой за пережитое нами только что хождение по краю какой-то пропасти, нахождение в недрах опаснейшего чуда-юда рыбы-кит — ведь эта мирно лежащая сейчас сосна могла упасть чуть ближе, прямо на нас, и перечеркнуть всё в нашей жизни — но мы этого миновали, всего лишь намокли, правда, насквозь — и вот наша награда — в золотых доспехах, тучная, как богатырь, выходящий из воды. Ну что может быть естественней?

Из уважения к величию рыбы и к моменту — не тащу её прямо к берегу, сам захожу по колено в воду, и там, на глубине — мягко поддеваю красавца, за которого мне достанется ещё и детский визг, и поцелуй, и — ура!

Может быть такое, что мои дети и не помнят этого случая, так, как вижу я до сих пор. Может, и для них многое слилось в какие-то общие невоспроизводимые ощущения, вовсе и не подаваемые памятью наружу, затаённые в призрачной глубине (я и сам болею такими повреждениями памяти, что можно диву даваться, будто стремясь к рекорду — добыть всё). Но я, по крайней мере, попытался передать им в наследство лучшее, что сам знаю в мире. Как уж они распорядятся своим

владением, своим пользованием — не знаю, да и кто может знать. И даже если мы, скажем, помним — как именно лежит на боку один детский сапог, и как к нему притулился другой, и внутри — хлюпает, полоскается от пятки к носку полно воды — что это нам даст вне контекста, вне всей радуги одновременно нахлынувших, сведённых с этим розово-серого цвета с выдавленной пупырчатой безделушкой на боку истёртым (но раз вода не выходит, значит, не дырявым) сапожком, родительских чувств.

Иногда в Кёджуле не клевало ничего. И ключ к разгадке этой головоломки был рядом, но необходимо было напрячься, чтоб найти его. Отец как-то без слов, одними действиями, научил меня многим вещам, в том числе и тому, что шаблонов и готовых рецептов нет. Рыбалка — это не просто пришёл, намял манки с чёрным хлебом, закинул продольник, ну, ещё и донки с миногами — и потом сидишь, куришь, ждёшь, когда дурная рыба созреет, и будет сажаться тебе на крючки, а ты только и будешь, как Кашей бессмертный — склоняться над садком и любоваться своим живым золотом.

В школе мы ходили в походы всем классом, насколько я помню, дважды в год: осенний поход восстанавливал утраченную уже было связь с летом, обнаруживал наши новые привычки (алкоголь, табак?), новые формы (девочки нас опережали, и потому находились под пристальным вниманием — куда их дальше понесёт?) — он как бы оказывался свежей «инь» — точкой в окружении серых «янь» — рутины, предстоявшей нам до следующего лета. Весенний поход, напротив, был предчувствием воли, свободы, лета — и расставанием с нашими школьными влюблённостями — он был пропитан этим духом настолько, что наши классные дамы только махали рукой на разбредающиеся влюблённые парочки и кучкующиеся вокруг подозрительных стаканов тройки (мальчишковые) — всё равно лето уже рядом, никого не накажешь, да и зачем? Они предпочитали близоруко печь картошку, да и выслушивать мычание и споры тех, кто остался рядом с ними, в стаде (высоко называвшемся коллективом).

Походы, за их неряшливость и бестолковость, я терпеть не мог, но снисходительно участвовал до этой формы коллективного обезличенного веселья, стараясь хоть в чём-то подчеркнуть свой профессионализм (математика и тайга): как разжечь костёр с одной спички; как владеть топором (хотя цельно-металлическое чудище, «смерть туриста» — так назвать было бы кощунством над освящённым веками орудием). Короче, исполнял роль «лишнего» отверженного человека, Байрона-Чацкого, только по недоразумению попавшего на этот фестиваль дикарей. Поход, ура, завтра поход! — орали все возбуждённо в классе, заражая друг друга бессознательным возбуждением, и на следующий день мы, наспех собравшись — неслись всей толпой в какой-нибудь легко доступный, истасканный лесок в пригороде — удовольствие ниже среднего, на мой изысканный вкус, страдавший от преувеличенного визга: ой, комары, ой, оводы, ой, мушки!.. Комаров вы не видели, дорогие мои!..

Поделиться своими сокровищами — рекой, тайгой — не на словах и не в ироническом пустословии — меня всегда тянуло, но папка меня часто останавливал, понимая, что я не ясно себе представляю, зачем это нужно сделать, да и прочие трудности. Но к классу седьмому мы созрели (я-то гораздо раньше), чтоб самостоятельно ходить компанией в тайгу и пить водку. Каждый из нас



продвигался в чём-то своём, в разных направлениях, и потом за ними шли другие. Я, хотя и оттарабанил на скрипке пять лет — не мог угнаться за Игорем Голосковым (Игошка) и Олегом Примой — те уже играли вовсю ансамблем и на школьных танцах, и в кафе «Северянка», где для них (и для нас, их друзей) всегда был бесплатный тёплый «Агдам», сногшибательный напиток, особенно, когда ребус школьной любви складывается так, что тебе ничего иного не остаётся, как совершить какой-нибудь подвиг или исчезнуть с лица Земли. «Агдам» прекрасно позволял нам на время соединить одно с другим — подвиг, ломание стульев, крики и стычки на улице, и похмельный провал...

Пять лет, отданных скрипке, отдельная история. У меня был слух, не очень сочетавшийся с абсолютной тягой к лени и покою. Мне было томительно неуютно учить эти все ноты, бекары, диезы, лиги — и я старался запомнить в классе то, что мне задавали, чтоб не повторять дома, а на следующий раз я по памяти (не притрагиваясь к ненавистной, скользкой в руках, скрипке дома) воспроизводил пазлы преподавателю. К пятому классу задания усложнились. И тут курьёзным образом выяснилось, что я так и не знаю в целом нот. Сначала всё шло хорошо. Мне задали концерт Вивальди, преподаватель сыграл первые несколько тактов — и я их запомнил. А потом пошёл в отдел грампластинок в ЦУМ-е — и нашёл этот концерт, благо, Вивальди везде было валом — какие-то там гиллельсы да коганы да рихтеры перезаписали, наверное, всё. И вот я стал учить этот концерт, сдирая с пластинки такт за тактом. Но однажды, уловив какую-то неточность, мой преподаватель, Юрий Владимирович Раппопорт (что же они так любят скрипки и нефть?) — ткнул пальцем в какое-то место, и попросил его проиграть ещё раз. И я сел в лужу. Слух-то у меня был, а вот нот, этих злобно-угловатых закорючек, я не знал. Тем не менее, в классе я считался профессионалом и в этом (мог зевать на уроках пения, поплёвывая в потолок, всё равно «пятёрка» будет у добрейшей Раисы Васильевны Куклиной, нервно, со взмахами головой строчившей на расстроенном вконец школьном пианино, и призывно, глазами округлёнными донельзя, и иными жестами, и громким туше, добивавшейся невозможного — чтоб нестройный школьный хор хотя бы фразу начинал одновременно...) — но максимум, что я мог достичь в компании Игорёшки и Олежки — это постучать по пустым коробкам, изображая Ринго Старра, при записи на старенький, разобранный до да-винчиевской обнажённости, магнитофон «Альфа» рок-оперы с громким названием «Замок» с ударением на втором слоге: «Замок! Ту-ту-ту-ту-ту! Замок! Ту-ту-ту-ту-ту!» — и дальше нашими подростковыми фальцетами шла история о рыбаке, золотой рыбке, и о том, что всему виной в этой грустной истории — замок на какой-то таинственной двери. Даже при незнании нот, скрипка тут, может, и вписалась бы, но у меня не было основного составляющего всей рок-музыкальной блажи — у меня не было куража, желания это сделать... Так, наверно, и сгинула эта запись (иногда мелкие дворовые шпанята, обнаружив их в куче хлама, развешивают на деревьях, и они шелестят там годами, никем не замечаемые) — где было моё бессмертное: тути — тутум — тум — тум.

Зато я мог всех отвести в поход, вернее, на настоящую рыбалку, в тайгу. Здесь-то у меня куража было хоть отбавляй, и равных себе (в классе, разумеется) я не видел. Куда идти большой компанией? Конечно, в Кёджул (название я своим школьным друзьям не упоминал — они бы всё равно не смогли переварить —

так, наверно, и осталось для них это место безымянным). Собрались мы более-менее сносно — взяв напрокат пару резиновых лодок, мы спустились от автобусной остановки в Межадоре к реке, загрузились, вернее, комом, хаотично закидали груды вещей, втиснувшись между ними — и поплыли. Уже тут я начал ощущать лёгкие, настороженные сигналы, будто покусывание комаров — что везде надо следить самому — и лодки надувать, и показывать как грести... И это продолжилось уже на месте — где я обнаружил, что то, что в походе с отцом было естественным — молча принести дров, вскипятить чай — в большой компании вдруг превращалось в проблему: каждый хотел, как в походе — отдохнуть, или сожрать бутербродик, или в лес — и всё это было несогласованно, невовремя, со множеством слов (что меня особенно напрягало) — а с чего это я пойду за дровами? Ты иди! А почему я — что я, рыжий, таскать на всех?!..

«О-о-о...» — что-то простонало у меня внутри, — так мы каши не сварим. Мы кое-как расположились: кругом, будто после набега разбойников, валялись вещи, — еле-еле закинули продольник (я сделал всё как всегда — кашу с манкой, прикормку), и... — не клюёт! Хоть тресни, лопни, провались... Столько трудов, молодых сил, разговоров... — все мои рассказы про это место (ну, красиво, ну, да, лужок, бережок, облака, речка, костёр — обычный походный набор, до зевоты одинаковый везде, куда ни ткнишь) грозили обратиться в басни, в призрак того моего школьного сочинения, когда я (как всякий рыбак) — приписал себе и папкины подвиги, и папкину щуку — увеличив размеры и масштабы до крайности, до смешной (а в школе это убийственно) крайности...

Жара имеет свойство усиливать нехорошие мысли, особенно, мрачные — о бегстве, о том, что не пора ли нам сматывать удочки? Продольники стоят вдоль боны, как вкопанные, не шелохнувшись. Я знал, я видел явственно, как там, в тёплой глубине, дурная, нахальная мелочь теревит, лениво обсасывает насадку на крупную рыбу, преспокойно минуя лещовые и язёвые крючки с длинным цевьём — знают, сволочи, что не попадутся... Вот один, вроде, шевельнулся — и? Противный, мерзкий всхлоп... — и всплывает топляк, и я вижу, как он поднимает леску, как провисает в воздухе сначала грузило, потом оно падает, зато начинают нехорошо, некрасиво тенькать по очереди обрываемые толстым склизким бревном-утопленником нежные поводки — это я слышу и вижу один, потому что слух у меня настроен именно на эти звуки и ноты... Надо срочно идти, спасать, чинить этот никчемный теперь продольник, но я медлю у костра, сложенного тоже как-то сегодня не так, неважно, наперекосяк — что делать, что же по большому счёту делать? Сначала не клевало, а потом совсем перестало...

Холмик (румяный крепыш Андрюха Холмогоров, надёжный, как друг, и совершенно бесполезный, как рыбак) удалился в лес по нужде (тоже повод для подростковых острот) и неожиданно (как я в детстве) обнаружил, что там, в бору, протянувшемся вдоль реки — полно грибов, да каких! В основном — рыжики (на мой изощрённый вкус — это супергриб, вне конкуренции по аромату, по твёрдой приятной хрусткости, сохраняющейся форме среди обмякающих единой чёрногубчатой массой подберёзовиков и красноголовиков). Отвлеклись, всей гурьбой в пять человек обшарили лес — грибов больше ведра, это хорошо. Но теперь-то уж точно надо решать, что делать — или домой, или ещё вот так потыркаться по боне, попробовать половить — это плохо. В том смысле, что будь я один — у меня

не было бы такого выбора, я просто остался бы, но тут, в компании, иерархия ценностей другая — *интересно* или не очень происходящее (а оно, на мой взгляд, сквозь их сознание было не очень интересно, хотя сам я этим «интересно — нет» почти никогда не оперирую, у меня просто нет в тайге таких категорий — тут интересно всё).

Вдоль берега в тот год (78-ой, год нашего общего четырнадцатилетия) от основной боны лежала другая, снятая с какой-то целью снизу (на которой я тогда упустил первого крупного леща). Её почему-то просто пустили вдоль прибрежных кустов — может, чтоб брёвна не лезли туда по большой воде, а может, руки не дошли поставить как следует. Она преградила нам часть традиционной рыбалки, заняв те места, где обычно стояли наши крюки: без дела остались и захваченные с собой снасточки, и живцы, которых братва теперь просто дёргала из реки — хоть на какую-то минимальную уху... Ну вот, как ослик Иа, я добавил к списку сегодняшних минусов и то, что щук нам не видеть...

Чтоб окончательно подтвердить этот последний, добивающий всю картину, тезис — я решил на последний шаг: возьму-ка я крепкую удочку (из тех, что мы на всякий случай хранили в кустах), сосновую, прочную, привяжу-ка к ней любимую блесну на толстой леске — и пойду-ка я на эту бону, от нечего делать, в сторонку от отчаявшихся и разочаровавшихся уже в рыбалке, друзей... Заодно и точку поставлю на нынешней ловле. Вернее, большой жирный крест.

Холмик, самый жизнерадостный из нас всех, уселся на берегу чистить грибы (хоть это не пришлось мне делать) и заодно поглазеть, что это я выдумал — неужто я собираюсь хоть что-то поймать на такой, прямо скажем, примитив?

Я влез на тёплую, шатающуюся под ногами бону, устоялся, чтоб в случае чего не плюхнуться в мутновато-белёсую, с какими-то почти невидимыми хлопьями, воду — вот-вот готовую то ли проясниться, то ли зацвести, подсвеченную солнцем до слоя глубинной тьмы... Заброс. Моя «Уралка» покорно хлюпает, погружается к этой границе подводной загадочной части. Я знал, что это хорошая блесна — если её вести в среднем темпе, играет она отлично, размашисто — за то и избита щучьими зубами до свежих искр металла под отскочившей эмалью... Водоворот, удар, есть! Щука! Снасть действительно примитивная, да и ситуация сложная — щуку долго не поводишь, подсачка не дождёшься, надо поднимать рывком на бону, а там будь что будет! Холмик, молодчага, мигом сообразил, что происходит, и не успел я ещё очухаться — он был уже рядом, на боне — и я выхлестнул рыбину прямо ему под ноги. Холмик на секунду (вернее, её десятую часть) ошалел, а потом хищно бросился на неё, в восторге — ух, ты! И прижал живое, пятнистое полено с хищным оскалом прямо между брёвен, как Отелло Дездемону, так что та открыла пасть, но ничего квакнуть не смогла — что ты можешь сделать против рук, заточённых под боевое самбо, и боевых приёмов?! Я, внешне спокойно, противно дрожащими от напряжения пальцами, выпростал тройник из открытой пасти (Холмик и остальные, надеюсь, ничего не заметили). И продолжил. И пошло дело!

Андрюшка мигом отнёс первую нашу рыбину на берег, на суеверием запрещённое обозрение остальным рыбакам, а сам (вот спасибо за такую уверенность в моих рыбацких талантах) вернулся ко мне с холщовой сумкой для рыбы, объёмной, удобной...

И я стал выкидывать щук, которые, надеюсь, прибились к затишку под этой боной чуть ли не стаей — а Холмик стал их паковать в сумку, как будто так и надо, так и задумано, как будто мы занимались этим всю жизнь!

И на боне дела оживились, что-то зашевелилось — когда Игорёшка Голосков вытаскивал продольник — вдруг кто-то навалился всей тяжестью, набросился на свинцовое грузило-ложку — и, бац! — откусил его! — аккуратненько так срезал, и спасибо не сказал!

Так вот оно что — жор! Щучий, безудержный, беспощадный жор. А мы сидим, лещей, язей ловим, которые, наверно, все попрятались, сиганули кто куда!..

Я уже понял, что мы выиграли, что дело сделано — мы с уловом (и впечатлениями), которого хватит на всех — а нас было шесть человек, шесть рыбаков. И отдал свою удочку с блесной Холмику, который тут же взял напарника, и они пошли дальше, до конца боны — дёргать щук («средний стандарт», надо сказать, по нашей с папкой классификации), в диком охотничьем восторге от вдруг открывшегося у нас под носом чудеснейшего и красивейшего, с вылетами откуда-то снизу, сбоку, с разворотами, с шлёпаньем хвостом, со свечками, с эпилептическим потрясыванием заблеснённой головой, со сходами, — клёва — нападения пятнистых, серых, как немецкие подлодки, щук — торпед.

Нам тогда не хватило своей соли (пришлось брать у сплавщиков), чтоб просолить всю рыбу. Теперь мы торопились домой, но по совсем другой причине — во-первых, попортятся грибы; во-вторых, похвастаться солидным уловом: мы разложили рыбу на траве на равные кучки каждому — и это было очень, очень весомо — а вместе так просто «много рыбы» (иногда это самое подходящее определение, особенно для того обманчивого, невероятно нудного начального бесклёвья, в которое мы попали) — куча, ворох, гора, мешок — не переводить же в цифры, в десятки и килограммы — в которых всегда теряется смысл и суть каждой побеждённой рыбины.

Небеса почувствовали тот перелом, который внесла первая наша щучка в парное марево происходящего — и стали помогать: мы планировали ещё долго спускаться вниз на наших резиновых лодчонках-лягушонках (даже не знаю, во что превратились бы нежные, элитные недотроги-рыжики) — но как только мы отчалили от нашего бережка и собрались в путь, нас, по какой-то доброй инициативе, подхватил на борт быстроходный сплавной катер — и вмиг донёс до места назначения, на двадцать километров ниже — теперь всё было за нас, опять, в который раз в жизни! Будто ласковая, нежная, отцовская рука легонько подтолкнула нас вперёд, к нашим величайшим открытиям иногда материализующегося, но быстро исчезающего блага и чуда (плёнки стёрты, изжёваны старыми магнитофонами, записи игр и нот исчезли, рыба и рыжики давно съедены), оставляющего лишь какой-то неуловимый аромат, лежащего где-то вовсе недалеко, рядом с нами, в неизвестную сторону, манящего блеском зыбкого куража.

Больше на такой дикий жор там я не попадал. Но, как известно, самая большая рыба — непойманная, потому что она со временем растёт и увеличивается. Однажды, когда я там был с детьми, я встал ранним утром, чуть позже, чем солнце, которое, казалось, с каждым утренним обновлением, несло какую-то восстановленную за ночь, обновлённую невинность, девственность всему. То место, где ты вчера споласкивал чайники, где ко дну с начала боны пошли отсыревшие

стебли земляники и смородины — вновь приобрело таинственную чистоту, в глубине которой могло таиться что угодно и кто угодно. И я это почувствовал. Взял спиннинг, и встав в самой начальной расщелине между берегом и боной — всего-то метра три — забросил блесну вдоль берега, и повёл. И на полпути у меня из рук чуть не выбило удилице мощнейшим ударом — это был далеко не «средний стандарт» — это была матёрая, вышедшая поохотиться, зверюга. И я её упустил. Опять можно было спокойно здесь чистить рыбу, ополаскивая с боны, рассеивая по течению серебряный дождь из чешуек, стряхивая сопливые внутренности, обтирать руки и нож об пробковую мягкость отсыревшей коры — вся прелесть и тайна отступили в глубину... Лишь на глинистом берегу осталась ямка — блесна вылетела с такой силой, что как осколок снаряда пробила в глине глубокую щербину. Я рассказал детям о щуке, и они стали суетиться — вот бы поймать живца, и поставить сюда дедушкин крюк... — но я-то знал, что эта щука — неберущаяся. Есть и такие. Без них было бы всё куда прозаичней.

Через несколько лет, когда кончился молевой сплав и давно сняли с реки все боны и заграждения (а кто-то понаделал себе из них бань, кто-то изрезал на дрова), я встретил на переправе в Первомайск мальчишку, школьника. Был конец июня, и он бодро метил куда-то на рыбалку: с удочками, с лёгкой торбой. Я поинтересовался: куда пойдёшь? Кого хочешь ловить? И он простодушно поделился, что вот туда наискось заливными лугами, от переправы налево, можно добраться до реки вновь, а там ещё чуть ниже — великолепный галечник, где в это время иногда на червя берёт стерлядь. Я, конечно, вмиг понял, что он идёт вот так, налегке, на скорую руку — на наше место. И внутренне, притупив лёгкую ревность, как бы отдал ему его, не отягчая мыслей чем-нибудь тяжёлым, не осложняя разговора — зачем ему знать, что там да как прожито и пережито кем-то, целой семьёй, родом. Тем более для него, этого парнишки — впереди всё своё: свой берег, свои места и их названия. Тот же только неистребимый дух.

Я знаю, что когда-нибудь вновь зайду туда, вернусь, проскриплю по кромке отмытой прибрежной гальки — не для того, чтоб отнять у кого-то, занять пораньше — нет. Это место, откуда мои дети, да и я — возвращались с карманами рюкзаков, набитых не только рыбой и грибами, и камешками (там мы разглядывали и собирали красивейшие в мире). Дома, развязав узлы, сбросив кожаные тесёмки застёжек — мы вновь вдыхали принесённый с собой глоток свежайшего в мире неповторимого воздуха, которого больше нет нигде (я задыхался без него в Америке, во Франции, в Германии, в Финляндии, в Армении, в Азии...) — там душа моя лечилась от смрада и удушья, как настырный серый комарик, прикасалась, прилипала к тайнам Божьего устройства мира, и пила, как кровь, его суть — через вечные вещи, через уход домой от погашенного костра и возвращения к нему. И это место настолько велико, что никому не будет тесно, пока есть река и тайга, и пока никто не смахнул тебя с земли и не прихлопнул так и не напившуюся душу.

Да, чуть не забыл — на стогу тоже хорошо. Ближе к небу. Особенно, когда дети возятся где-то далеко, у реки, ждут и волнуются, поставленные сторожить донки в самое безнадежное, бесклёвное время — а вдруг дёрнет?.. Не дёрнет, уж я-то знаю, прошёл через это...

Вот только забираться на него не очень удобно, на этот прилизанный,

причёсанный, как чёлка у ризеншнауцера, соломенно-твёрдый горб посреди луга. И соломинки лезут всюду. А сам стог, как слон — мягко пружинит, но... мы рискуем уйти в другую книгу, уцепившись за эту, вынырнувшую здесь волну совсем другой темы, другого зацепления тугой косы, в которую всё сплетается в реальности — в ту, которая скидывает с уютного дивана, заставляя искать невесть что, которая лишает сна навязчивыми образами, и то ли греческими, то ли ренуаровскими очертаниями, и наконец ту, за которую могут дать по шее (полную греха), а мы ведь этого не хотим... Наша цель, чтоб эту книгу можно было лениво полистать под мелкий накрапывающий дождь. И, что почему-то важно для автора, чтоб это была правда (а где вы найдёте правду в книгах о поисках любви? — сплошной туман и выдумка, затушёвывающие основное противоречие: как можно быть в любви, и одновременно снаружи, холодно её описывать, препарирова живому?). Ту книгу, которую ждёшь и которую, как видно, никто не напишет, и приходится писать самому...

Нет уж, назад, полный назад, к созерцательному обломовскому дивану, от паровозно-шатунных движений каренинско-толстовских интриг, от мармеладовско-раскольниковских брёвнышек, на которых они в конце концов оказались, и — смотрят на реку! опа! — один: ноль в нашу, обломовскую, пользу.

*Продолжение следует...*





## Любовь Ануфриева

*Ануфриева Любовь Андреевна чужис 1987-öd воын Изьва районса Гам грездын. Помалис Сыктывкарса государственной университет, коми филология факультет. Йöзöдліс гижöдгъясö «Арт», «Войвыв кодзув», «Знай наших» журналгъясын, «Белый бор» альманахын. 2008 воын Таллиннын петіс коми, роч, эст, англия кывгъяс вьлын «Лэбачъяс оз дивитны» книга, 2011 воын – «Мукöд енköлаын», 2012 воын — «Дас витöд из» кывбура небöггъяс.*

*Уджалö И.А. Куратов Литературной музейын.*

## Горза, горза енэжас...

\* \* \*

Эськö тöдін кö тэ,  
кутшöм изгъя берегö  
веськавлі тöрыт!  
Кöмтöг воеді  
вичколань...  
эз кольччы  
меысь  
шондіыс,  
бытгö кöсйис шöпкöдны меным:  
«Бергöдчыв...»  
Пыри вичкоас  
да кори  
Микöла Чуднойлысь  
лэдзны менö  
лолас.  
Но сэки ас пытшкам  
кылі юлысь  
бузöдчöмсö.  
Гашкö,  
тайö юыс и вöлі  
сійö кывнас,  
кодöс кöсйи кывны ме  
вежа Микöласянь.

Муні вичкоысь гортö.  
 И унмовси  
 рытъя шонділөн  
 лайкөдан югөръяс улын.  
 И вөталі шонді рөма  
 паськөма мортös  
 (гашкө, тайö  
 Микöла Чуднöйыс и эм)...  
 Сійö лолös  
 мыйлакö  
 вышивайтис  
 крестикөн.

\* \* \*

Тöвруыс вайис мен  
 письмö.  
 Сійös лыдди да  
 гөгөрвои —  
 чужöм вывсьыд  
 мунöма шондіыс,  
 сьölöмад  
 шаракылöмөн  
 гылаліс  
 арлөн косьмöm  
 корйыс.  
 Тайö коръясас олöмыс эз вöv,  
 и кадыс эз вöv...  
 Кысь аддзыны тöрытъя лунас  
 войтыштöm шондісö?  
 Весиг тэнад  
 радейтана еджыд хризантемаяс  
 оз вермыны  
 ловзьöдны сійös.  
 А тöрыт на тайö чветъясас  
 коли эскöm.  
 Сьölöмтö бурдöдысь эскöm.  
 Эскömöй менам  
 вöлі вынаджык  
 тöрытъя шондісьыс.  
 Кор нуи тэн  
 хризантемаяс —  
 жынняяныс вичкоас  
 горөн бөрдіс,  
 поткөдіс и енэжсö,  
 и мусö,



и став паныд локтысь йёзыс  
мен чайтсисны  
сисьясөн.  
И на костод  
восьлалі,  
тэрмаси тэ дорё.  
А тэ мунін...  
корсьны  
мод шонді.  
Вильос.  
Меон гогорвотомос на.  
Еджыд хризантемаясөн  
век на которта  
тэ борся.  
Суода тэнё  
али ог?

\* \* \*

Горза шопкөдөмөн,  
быд кыв бөрын  
пукта городан пас!  
Горза, горза  
енэжас,  
мед коть отик юсь петкөдчис  
и корис  
аскөдыс!  
Көсья лоны еджыд лэбачөн  
ю дорын,  
и пörны ставлы  
казьтыломө!  
Ю дорас  
бергөдчи вижөдөм кыз пу вылө  
и адззи Вадько вокос,  
и Микул Öндрей дядьос,  
и Парасья бабос,  
и медся дзоляник чойос  
Светкоос...  
Найö  
менö сывъялигөн  
колисны лолам  
көйдыс мында лөнълун,  
көйдыс мында радлун  
и радейтөм.  
А сәссия  
кыпөдчисны енэжас.

Найö ставöн — юсьяс.  
 И ме кыла  
 ас пытшкын  
 бордныслысь  
 вынсö.

### Вöлöгда

Тайö тöдтöм карыс  
 тыдовтис меным  
 рöмпöштанын моз  
 кывлысь ловсö.  
 Сэн сы мында лöсас:  
 то бушколөн шутёвтис  
 Иван Куратов,  
 нымөн кок йылысь эз уськöд,  
 а сэсся шондiөн мыччысис  
 и зэрис  
 зэрөн.  
 А войтъясас  
 йиджöм шондыс  
 визувтис бан бокöд  
 мужичöй синваөн.  
 ...Катшасина лөнъын  
 лолалис  
 Николай Рубцов,  
 дзоридз сырйö  
 асьсö быртöдз  
 колис.  
 А Крешеннö кöдзыдыс  
 пышкайөн пырис  
 керка öшиняс,  
 и Кывйыс сылөн  
 гылалис енэжас!..  
 То асья шытöлөн  
 чужан сиктас  
 волис Василий Белов —  
 лөнъ югыдсö  
 пернапасён колис...  
 ... Видзöдчи, видзöдчи  
 рöмпöштанас...  
 и Кывйö эскöмыс  
 быдмис сёлöмам  
 медводдза лымгоров чветөн.

**Айö****1.**

Шондiыс доналöма...  
А мудзöм синмад  
кусöма олöмыс.  
Ме вöзъя шондi югöрсö  
тэныд,  
айö...  
а тэ вештан синтö бокö...  
Ме бöрда...  
а тэ мöвпалан  
Енэж йылысь...  
сэн пö Вадимным,  
и Микул Öндрейным,  
и Филько пернайыд...  
Ме бöрда...  
и кора тэнö  
выльысь аддзыны  
олöм визьсö...  
А тэ  
важас вöйтчöмыд  
и век на сэнi олан!..  
Айö,  
вай кöть кианым кутыштам  
шондi югöрсö...

**2.**

Куржайтöм кадсö  
вешталам син водзысь...  
Айö, пуысь вöчöм кöрöбным  
то век на шы пöлэсаным\*...  
А пытшкас! Турунвиж рöма чача!  
Помнитан  
сылы лолас  
Выльвоя первой лунö  
пуктылим кабала  
пасйöм каднас?!  
(Тайö сöмын миянлөн гусятор).  
То ставыс син водзын!  
Выльысь лыддям...  
Кутшöм мисьтöмөсь шыпасъясöй!

\* Шы пöлэс — иж. чердак.

Айё, а тэ сэтшөм дженьыдика  
 письмөтө гижөмыд...  
 А талун сійё миянлы  
 сэтшөм кузь казътылөм.  
 Лов йитөд.

## 3.

Мен колө енэжас нюжөдлыны пос,  
 көть нин векныдикөс...  
 мед аддзыны керкасө Вадько воколысь,  
 мед пыдзыртны сёлөмысь кывъясөс,  
 песни синма тывйө йөрмөм кывъясөс,  
 и бөрддзыны, бөрддзыны Вадькокөд  
 синмасигөн  
 да киссыны му вылас гырысьысь-гырысь  
 шондіа зэрөн!  
 А сәссия ен мегыр югьдөн  
 пасьвартны воясөн туом шогсө  
 айё лолысь,  
 и олөм рөмгьяссө  
 кольны мудзөм видзөдласас.

\* \* \*

Важ көрөбысь аддзи ассыым  
 көлысьдырся чусіөс.  
 На дорө инмөдчөмысь восьтіс сёлөмам  
 топыда пөдлалөм өдзөс!  
 Бөр вои көлысьдырся лунас —  
 аддзи вижөдөм пуяссө,  
 гөрдсьыс-гөрд пелысьсө...  
 И сійё мортыслысь кори прөща,  
 өд арыс эз вермы менө  
 кольны ськөд.  
 Мен сысянь колис чусі, —  
 арся дженьыдик зэрлөн  
 кык ыджыд синва войт.

**Из да Енкöла костын циклысь****1.**

Изъяс — менам  
шыльöдтöм гижöдъяс.  
Наын сы мында мöвпыс...  
Век выльысь  
и выльысь  
сунсьыла налөн  
чукль-мукукльясö  
да восьтыла аслым  
мöвпөн чужтöм  
мöд олöм.

**2.**

Изъясыд войнас  
оз узыны,  
век видзöдöны енэжас.  
А мукодыс на пиысь,  
чайта да,  
кöсийöны ваö моз  
дзурсунны сылөн  
джуджыд йирö, —  
бөр лоны эзысь кодзувъясөн  
да индыны туйсö  
шуд корсьысьлы.

**3.**

Вötөн воа Петыркоö  
да окала вадор изъяссö,  
а найö  
оз тöдны менö —  
верстö мортöс нин.  
Ки улын кодзюдöсь.  
Тайö абу менам изъясыс!  
Менсьым изъясöс  
нуöма визулыс.  
Но вольтвлöны-ö найö  
мена челядьдырö —  
Петыркоö —  
ме моз жö — вötөн?

## 4.

Изсö ныж емön  
 быттö дойдалöмаöсь.  
 Кута сійöс кийн — дзик кын.  
 Шонта.  
 Небыд лов шыön  
 тырас асылыс — эска.  
 Но изйыс  
 оз ловззы.  
 Мортис кулас да,  
 сьылöдöны.  
 А кор кулöны изъяс,  
 мый колö вöчны?..

## 5.

Кор кадыс сувтас  
 сьölöмам,  
 пöра изйö —  
 лoa помасьлытöм кадön.

## 6.

Öкмыс из — öкмыс буркыв  
 шуд йылысь.  
 Найöс öтикön-ötикön  
 разöдi матыс йöзлы.  
 Аслым эз коль.  
 Но ме йиджтi  
 ас пытшкам  
 йöзыслысь радлунсö —  
 налön шудыс  
 öкмыс изйön  
 ыпнитас сьölöмам  
 да матыстас менö  
 Ен дорас.



# Кастрен



(1813–1852)



## Владимир Богораз-Тан

**БОГОРАЗ-ТАН Владимир Германович** (15.IV.1865–10.V.1936) — этнограф, фольклорист, лингвист и писатель. Как народоволец был сослан на Колыму (1890–98), где занимался изучением быта, языка и фольклора чукчей и др. народов Крайнего Севера. Принимал участие в этнографических экспедициях на Крайнем Севере (1894–96, 1900–01). С 1918 — сотрудник Музея антропологии и этнографии АН СССР, с 1921 — профессор ряда высших учебных заведений Ленинграда, с 1932 — директор Музея истории религии АН СССР. Б.-Т. один из инициаторов создания Комитета Севера при Президиуме ВЦИК и Института народов Севера. Из научных трудов наиболее значительна его монография «Чукчи» (ч. 1–2, Л., 1934–39). Б.-Т. — автор работ, посвящённых общим проблемам этнографии. В советское время много сделал для создания письменности у многих народов Севера. В ранних ра-

ботах Б.-Т. находят отражение его народнические взгляды и влияние некоторых идеалистических направлений буржуазной этнографии. Известен также как беллетрист и поэт.

## Кастрен — человек и учёный

Кто в увлечении молодости не готов жертвовать жизнью за идею?  
(Из дорожного отчёта М.А. Кастрена за 1842 г.).

Матвей Александр Кастрен (по-русски Матвей Христианович)<sup>1</sup> родился 2 декабря 1813, а умер 7 мая 1852 г., на полтора года не достигнув сорокалетнего возраста, дающего полный расцвет человеческой жизни. И образ его в летописях науки остаётся вечно юношеским, динамическим, стремительно-ярким.

«Кто в увлечении молодости не готов жертвовать жизнью за идею?»<sup>2</sup>. В этих коротких и пылких словах, взятых из дорожного отчёта 1842 г., основной девиз и стимул работы Кастрена.

Но два года позднее (16 марта 1844 г.) письмо к академику Шёгрену звучит, как похоронный звон.

«Сегодня врач произнёс надо мной смертный приговор. Лёгочная чахотка — вот болезнь, которая съела мозг костей и продолжает уничтожать его с огромной жадностью. И вот я стал разбитым человеком на весне моей жизни. Отныне могила будет той целью, куда направляются мои шаги. Я не стану скрывать, что я предпочёл бы окончить свои дни в кругу моих друзей и родственников, если бы силы позволили добраться до родины. Но в конце концов мне мало важно, где

<sup>1</sup> Например, см.: Справочный словарь о русских писателях и учёных, умерших в XVIII–XIX ст. Берлин, 1880, стр. 121–122.

<sup>2</sup> Ссылка на посмертное издание сочинений Кастрена, в обработке академика Шифнера, под общим заглавием Nordische Reisen und Forschungen. Римская цифра обозначает том, арабская — страницу.



будут гнить мои кости, зато я никогда не унесу в могилу упрёка, что я взял у Академии субсидию, сознавая свою неспособность окончить работу».

Это ужасное письмо выявляет и другую черту психологии Кастрена, его чрезвычайную цепетильность в деловых и личных отношениях, Кастрен был не только фанатиком идеи, но также фанатиком каждого взятого им на себя обязательства — перед финляндским университетом, перед Академией Наук, перед друзьями, даже перед финским литературным обществом, одним из основателей которого он был.

В первую половину своих путешествий Кастрен постоянно нуждался в средствах. Так, в 1842 г., во время морского путешествия по Белому морю, Кастрен был выброшен на берег вместе с судном. Три дня он лежал без памяти. Когда он пришёл в себя, то напрасно умолял рыбаков отвезти его в ближайшую деревню. Рыбаки просили 100 рублей, этих денег у Кастрена не было, и рыбаки оставили его одного в рыбацкой хате.

В дальнейшем поддержка Академии Наук сделала его материальное положение более обеспеченным. Он получал вышеупомянутую ежегодную субсидию, получил также за зырянскую грамматику вторую Демидовскую премию. В 1849 г. он был назначен экстраординарным адъюнктом Академии с разрешением жить в Гельсингфорсе. — Так обыкновенно передают его биографы.

Впрочем, по более точным данным, заимствованным из архива Академии Наук, Кастрен не был назначен адъюнктом, а только — «определён на службу Академии Наук в качестве путешественника-этнографа по северной экспедиции со всеми правами и преимуществами адъюнктов оной, со времени отправки в экспедицию до представления окончательного отчёта».

При этом «доцент Александровского Университета доктор философии Кастрен, действительно был оставлен на жительство в Финляндии. С другой стороны Мин. Нар. Просв., отношением от 14. II. 1844 г., запросило от Академии Наук сведения о том, «имеет ли право на службу в оной Кастрен по своему происхождению».

Жалованье Кастрену производилось с 11 мая 1845 г. по 700 рублей в год. По экспедиции он получал на содержание и расходы по 1.000 руб. в год, с высылкой авансов на полгода вперёд. Зато в расходовании оных денег Академия отчётов не требовала.

От финляндского университета Кастрен получил в 1844 г. в виде единовременного пособия 1900 руб. Вообще же, Кастрен к местной финляндской поддержке относился скептически. Так, в 1846 г. он пишет Снельману: «Относительно моего будущего я ещё не принял определённого решения. Если в Финляндии я не смогу добыть себе кусок хлеба, как это весьма вероятно, то я ничего не имею против того, чтоб вернуться в Сибирь и заняться изучением тунгусского племени и надеюсь, что Академия Наук не откажет мне в поддержке».

«Жертвовать жизнью для идеи» и «умереть от лёгочной чахотки». Между этими двумя психическими и физическими полюсами отныне протекает вся жизнь Кастрена.

Работы своей, несмотря на болезнь, Кастрен не оставил. Совершенно больной, он забирается в самые далёкие и гиблые места, работает с упорной интенсивностью в самых невозможных условиях.

В Колве на Печоре, посёлке оседлых самоедов, где и теперь не легко найти приличное жилище, Кастрен поселился в жалкой избушке.

«Меня мучила там жара и сырость, не давали покоя комары, паразиты и целая куча крикливых детей. Хотя я привык работать при всяких условиях, но здесь мне трудно было собраться с мыслями, и я уходил в погреб под моей избой. Здесь под землёю я писал свою зырянскую грамматику, но занятиям моим мешали крысы и мыши. Мой самоедский переводчик питал ужас к моей преисподней и неохотно спускался в её недра».

В Сургуте на Оби в сентябре 1845 г. Кастрен, вместе со своим спутником Бергштади, поселился в каюте большой обской лодки. Входить и выходить приходилось ползком, а свет проходил через отверстие для мачты. Сундук служил столом, самовар печью, сидеть приходилось прямо на полу. Кастрен сравнивает свою деревянную берлогу с бочкой Диогена.

И сквозь этот мрачный юмор прорывается новый крик отчаяния.

В записной книжке Кастрена за 1846 г. находим такую трагическую запись, короткую, как выстрел:

«В Дудинке я думал, что умру и собрался составить завещание».

Дудинка лежит на нижнем Енисее, в 500 верстах от Туруханска.

Таких завещаний Кастрен написал на своём веку несколько. В одном из его писем к Ф.И. Раббе находим перечисление оставляемого им имущества: книги и рукописи, кучка аквамарин и других ценных камней, различные древние предметы из золота и серебра, несколько сот рублей серебром. И дальше указание: «Всё это наследство обратить на поддержку того, кто захочет предпринять путешествие к самоедам, чтоб изучать их язык, обычаи, религию и пр., и после того обработать и издать мои работы. В их настоящем виде они для печати не годятся».

В этих строках отражаются вместе мужество и скромность великого работника. Академик Шифнер нашёл в себе силы, чтобы исполнить это завещание в самом распространённом смысле и, не отправляясь ни в одно путешествие, обработать и издать все труды Кастрена.

В последние четыре года в отчётах и письмах Кастрена постоянно перемежаются сообщения о великих открытиях в этнографии и лингвистике, и краткие рассказы о страданиях, о болях, о великих напряжениях измученного тела, которое повиновалось до конца железной воле Кастрена. Смерти Кастрен не боялся и глядел ей прямо в глаза. И недаром в письме к Снельману от 17/III 1846 г. он цитирует из «Калевалы» мужественный вызов Лемминкайнена: *Yks on surma, miehen surma* — «Одна смерть у человека».

В последние дни перед смертью, пока была возможность, он не переставал писать карандашом свою самоедскую грамматику.

Лишь в письме к Фабиану Коллану прорываются жалобные нотки. И то в подписи: «Твой озябший Друг М. А. К-н».

Это озябшая в сибирском одиночестве душа Кастрена искала человеческого участия. Но другие подписи в письмах к различным друзьям только отражают разнообразие странствий и работ Кастрена: «Твой странствующий друг», «Твой Турецкий друг» и даже «Твой Китайский друг». Или на северном русском наречии, хотя и латинскими буквами: «Твой брат Затундренской», «Твой друг Забайкальской», «Твой брат Барабинской».

Между прочим, русскому языку Кастрен практически обучился в Сибири. Правда, по свидетельству Я.К. Грота, он раньше довольно свободно читал русские

книги<sup>1</sup>, но ни говорить, ни писать по-русски он не умел. «По-немецки он кое-как изъяснялся», — пишет Грот. Также и по-немецки Кастрен писал не особенно охотно. Его немецкие письма в Академию Наук испещрены его собственноручными исправлениями стиля. С другой стороны, в Сибири Кастрену приходилось писать по-русски. Так, в архиве Академии Наук нашёлся довольно любопытный счёт о покупке различных коллекций для Академии Наук, написанный Кастреном по-русски в Туруханске 12/24 января 1847 г.

Я.К. Грот, проживая в Финляндии, вёл с Кастреном дружеские отношения вплоть до его смерти. Кастрен обучал Грота финскому языку.

В последний год жизни скупая судьба улыбнулась Кастрену, как будто в насмешку. В 1850 г. он женился на дочери отставного профессора Тенгстрема, молодой девятнадцатилетней девушке, и летом 1851 г. у него родился сын. Денежные затруднения смягчились не столько благодаря субсидиям из учёных источников, сколько при содействии и щедрости зажиточного тестя.

Нужно, однако, отметить, что до самого последнего времени Кастрен всё же был стеснён в средствах. Так, в письме, адресованном им в Академию Наук, за 2 месяца до смерти (24 февраля 1852 г.) он пишет о том, что ему приходится дополнять своё недостаточное профессорское жалованье доходами от частных лекций и других побочных занятий. Его беспокоила мысль о том, что его отношения с Академией Наук должны прерваться, и он скромно просил о дальнейшей поддержке, обещая в ближайшие три года обработать значительную часть своих материалов.

Свои обязательства к Академии Наук он рассматривал, как нечто священное, и мы имеем об этом, как бы загробное свидетельство в письме, написанном уже после его смерти его другом доцентом Кельгреном (от 21 августа 1852 г.) от имени его вдовы:

«Чтобы исполнить обязательства покойного перед Академией Наук, посылается при сем рукопись его самоедской грамматики на благоусмотрение Академии».

Умер Кастрен всё же довольно неожиданно и, по-видимому, не прямо от лёгочной болезни, а от рака или язвы в желудке<sup>2</sup>.

Такая болезнь могла развиваться на почве общей изнурённости его организма.

В последние дни перед смертью он не мог ничего есть.

За год до смерти, 26 апреля 1851 г., Кастрен стал профессором Гельсингфорского университета и, открывая осенью свой курс по «Калевале», сказал с прежней твёрдостью:

«Когда пятнадцать лет тому назад я принял твёрдое решение посвятить мою жизнь науке, прекрасная песнь «Калевалы» стала первым предметом моих изысканий».

Его стальная душа, однажды намагниченная, указывала без колебаний в одном и том же направлении.

В личных отношениях Кастрен отличался бескорыстием и благородством, но он не отличался мягкотелостью, и суждения его были резки и определённы. Современники его называли сдержанным и даже высокомерным.

<sup>1</sup> Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым, т. I. СПб. 1896 г., стр. 6.

<sup>2</sup> Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым, т. III, стр. 581.

Так, например, по адресу местных финляндских учёных доморощенного цеха у него вырывается подлинный крик негодования: «Вся эта раса обскурантов, ленивых и хвастливых, которую гнев божий ниспослал нам в наказание». Он называет своих почтеннейших коллег «толстопузыми иезуитами, которые лоснятся от жира, интригуют во мраке, злословят и клеветуют по углам» (Письмо к Снельману. 18 ноября 1844 г.).

Финляндский биограф Кастрена считает необходимым полить словесным елеем этот жестокий приговор<sup>1</sup>, но можно полагать, что через три четверти века слова Кастрена, какие бы они ни были, уже не нуждаются в смягчениях.

В другом письме та же желчная оценка финляндских современников:

«В Петербургской Академии Наук господствуют взгляды более широкие, чем в нашей Гельсингфорской коллегии с её ограниченными мыслями» (Письмо к Лённроту, 5/X 1847 г.).

В тогдашней финляндской обстановке Кастрену и его единомышленникам было и душно и тесно.

И недаром над могилою его Снельман разразился гневным укором: «О, финское отечество, самые благородные твои сыны проходят по земле твоей, опустив взоры вниз, и в раннюю могилу они сходят с разбитым сердцем».

В юности своей Кастрен не чуждался и более активного протеста. Так, в 1828 г. он был исключён из университета за участие в студенческих беспорядках, правда, всего на полгода.

Приятные встречи с полицией бывали у Кастрена и в более зрелое время. Так, в карельском путешествии, земский заседатель, ночевавший в одной и той же избе с Кастреном и его спутником, ночью обшарил их мешки и карманы, и нигде не найдя паспортов, решил немедленно арестовать их и отправить под конвоем в ближайший город на благоусмотрение начальства. Их избавил от ареста другой случайно встреченный чиновник в чине коллежского советника, нагнавший в свою очередь холоду на ревностного заседателя.

Так жил и умер Александр Кастрен. В то время работа этнографа-лингвиста среди первобытных и мало культурных народов встречала огромные трудности и вела к преждевременной смерти. Одновременно с Кастреном, в том же году, на расстоянии менее шести месяцев, умер другой талантливый финляндец, Георг Валлин. Он был старше Кастрена лишь двумя годами и надорвал свои силы в трудных путешествиях по Аравии, Сирии, Египту. Он между прочим побывал и в Мекке, переодевшись хаджею.

И третий учёный, связанный с Россией и Академией Наук, академик Г.И. Лангсдорф, в начале того же XIX века, но на десять лет раньше, совершал своё путешествие сквозь глубину Бразилии, тоже среди постоянных лишений и трудностей. Трудности эти в конце концов привели его к душевной болезни, от которой он уже никогда не мог оправиться. Он заплатил науке ещё более тяжёлую дань, чем Кастрен, ибо разум ценнее жизни. Физическая смерть Лангсдорфа имела место в том же 1852 г., как смерть Кастрена и Валлина.

Ещё одна подробность. В тяжёлых колебаниях своей болезни Кастрен имел несчастье встретиться с тогдашней медициной. И с некоторой жутью читаешь в

<sup>1</sup> E.N. Setaelae, Centenaire de la naissance de M. A. Castren, Journal de la Societe Finno-Ougrienne, Helsinki 1913-18, vol. XXX, 1 b., p. 40.

его письмах описание той духовной и телесной помощи, которую он получал от присяжных целителей духа и тела.

В 1848 г. на возвратном пути из Восточной Сибири, не доезжая до Красноярска восьмидесяти вёрст, в селении Балай, с ним произошёл тяжёлый припадок.

«Я страдал от невыносимого кашля; кровь пошла горлом так сильно, что все присутствовавшие думали, что настал мой последний час.

Ночью произошёл новый и сильный припадок. Я заснул и проспал 20 часов, и вероятно, проспал бы и дольше, если бы меня не разбудили прибывшие из волости приказные. Их было пять человек. Во главе их стоял писарь, который прочёл мне волостной приказ. Уполномоченные должны были переписать моё имущество и забрать мой труп для вскрытия. Чтобы мне было понятнее, приказ прочли мне три раза.

Вошла и другая депутация, отправленная, вероятно, церковным советом. Эта депутация самым настойчивым образом убеждала меня призвать священника и покаяться в грехах. Они дали мне понять, что умирающие в таких случаях дарят церкви и её служителям коров и тому подобное добро».

Это помощь духовная. Дальше появляется помощь телесная.

Не успел он кончить, как послышался звук колокольчика и стук тарантаса, остановившегося перед моим домом. Вошли трое: врач, хирург и исправник. Красноярский губернатор приказал этим господам съездить в Балай и помочь мне.

Врач пустил мне кровь и прописал разные лекарства, но не в его власти было остановить третий припадок...

...Опять мне пустили кровь и так удачно, что кровохаркание скоро прекратилось...

Благодаря частым кровопусканиям и другим приёмам выведения крови, моему врачу удалось предупредить острое проявление болезни...»

В Красноярске Кастрен написал завещание и дальше поехал вперёд с ланцетом в кармане для тех же кровопусканий.

Причиной преждевременной смерти Кастрена обыкновенно признают лишения, которые он вынес в своих поездках. Но нельзя упустить из виду эти постоянные врачебные кровопускания, которые приходили на подмогу к кровохарканью, чтоб вытягивать кровь из организма Кастрена. У него просто крови не хватило вдвойне для чахотки и для тогдашней медицины...

Как рождаются люди, подобные Кастрену? Чтобы понять Кастрена, нужно прежде всего припомнить основные черты его биографии.

Он родился 2/ХІІ 1813 г. в далёкой финляндской глуши, в климате холодном и суровом, на 66° с. ш., почти на самой черте северного полярного круга. Таким образом со дня рождения он знал незаходящее летнее солнце и долгие шестинедельные полусумерки зимы.

В этом климате родилась выносливость Кастрена. Тут рано привыкают к снегу. Кто, скользя вниз по обрывам на лыжах, не держится прямо, тот трус. Здесь мальчишки на рассвете уходят на охоту. Они вырывают себе яму в снегу на опушке леса и спрятавшись туда, ждут приближения добычи.

«Как и прежде, мне казалось лишь весёлой игрой скользить по бурным волнам сквозь пену налетающего шквала».

Условия материальные были не менее суровы. Мать Кастрена после смерти мужа осталась вдовой с восьмерыми детьми. Она получала пенсию в 90 рублей в год. Ей помогал натурою торговец брат, зимою мясом, летом рыбой, а к Рождеству и Пасхе он посылал ей голову сахара и десять фунтов кофе. Вся жизнь проходила под знаком натурального хозяйства. Даже в университете Кастрен носил одежду, выпряденную и сотканную руками его матери.

Другой дядя по отцу помог молодому Кастрену окончить гимназию и поступить в университет. Кастрен рано начал жить уроками, и время своё делил между латинской грамматикой и спортом. Всё его свободное время уходило на игру в мяч, плавание, катание на лыжах и коньках.

Такая тренировка потом пригодилась Кастрену в его путешествиях. И в описании своей первой поездки он рассказывает: «Мы целыми днями ходили по полям и лесам, пробирались на многие мили сквозь топи и болота, помогали нашим лодочникам тянуть лодку бичевой и перетаскивать вещи по берегу, обходя стремнины».

В университете Кастрен упорно занимался греческим языком и готовился к пасторскому званию. Это считалось в Финляндии завидной карьерой для одарённых и честолюбивых юношей. Пасторское место давало материальный достаток и порою профессора и директора школ меняли свою школьную науку на более доходную проповедь.

Уже из Сибири в 1847 г. Кастрен пишет одному из своих друзей: «Если в моё отсутствие освободится один из упомянутых пасторатов, то не забудьте упомянуть в моём послужном списке, что я в течение трёх месяцев в Минусинском округе исполнял обязанности могильщика (т.е. раскапывал курганы). В Академии Наук можно получить об этом лучшее удостоверение».

Этот мрачный юмор был в высшей степени свойствен Кастрену.

В университете Кастрен проявил исключительные способности, энергию и усидчивость в изучении языков. После латинского и греческого он занимался восточными языками. Так, в письме к академику А.И. Шёгрёну от 28 сентября 1838 г., он пишет: «Я намерен посвятить себя всецело изучению литературы востока, в особенности семитических языков». Потом, под влиянием Калевалы, он перешёл к изучению собственного финского языка, далее перешёл к другим финским наречиям, к карельскому, эстонскому и лапландскому.

В то время финляндское национальное сознание едва пробуждалось. И в студенческих землячествах на собраниях возбуждались такие вопросы: Вправе ли одна нация (т.е. шведская) поработить другую, менее цивилизованную (т.е. финляндскую) под предлогом того, чтобы поднять её до своей культуры?

Финский язык и культура, кроме шведского давления, подвергались, разумеется, и русскому. Через 12 лет Я.К. Грот, отмечая, что Кастрен назначен ординарным профессором финского языка и членом университетской консистории, тут же указывает, что «финский язык при экзамене не требуется». Неудивительно, что Кастрен на своей новой кафедре чувствовал себя не особенно прочно.

Там же Грот отмечает, что «было запрещено печатать на финском языке всё, кроме предметов, относящихся к религии и сельскому хозяйству».

Тридцать студентов, товарищей Кастрена, подписало обязательство изучить финский язык и доказать свои познания в нём перед землячеством.

Для Кастрена это обязательство юности сделалось долгом и культом.

Первая статья в первом томе его сочинений открывается как бы присягой:

«С пятнадцатилетнего возраста я принял решение труд моей жизни отдать изучению языка, религии, обычаев, образа жизни и всех других этнографических условий финского племени и других родственных племён». Эта статья помечена 1838 г., когда Кастрену было всего 25 лет от роду.

Так воспитывался и вырос Кастрен, как лингвист.

Раньше было упомянуто, что его первая профессорская лекция за год до смерти открывается той же присягой, но только вместо «с пятнадцатилетнего возраста» сказано: «пятнадцать лет тому назад». Между этими двумя датами 15 и 15 протекла вся рабочая жизнь Кастрена.

В полевой лингвистической работе Кастрен не знал усталости и был одинаково беспощаден к себе и к другим.

Своих переводчиков и помощников туземцев он доводил до полного изнеможения. Он сам рассказывает, как его переводчик самоед вначале усердно исполнял свои обязанности, но через несколько часов дошёл до полного отчаяния. Он чувствовал себя больным, катался по полу, плакал и стонал, подползал к ногам Кастрена и просил пощады, пока неумолимый и неутомимый лингвист, потеряв терпение, не выбросил его за дверь.

Бедный самоед потом отдохнул на снегу вблизи кабака. Так как до того Кастрен называет его самым умным и трезвым человеком на всей Канинской тундре, то можно, пожалуй, предположить, что только полное отчаяние под воздействием лингвистики, довело его хваленую трезвость до дверей кабака.

С другой стороны Шифнер описывает, что в 1850 г. он часто присутствовал при занятиях Кастрена в Петербурге с различными самоедами, случайно приезжавшими с тундры. При этом Кастрен искусными расспросами заставлял самоедов с лёгкостью разрешать самые трудные вопросы, фонетические и лексикологические.

Кастрен заставлял туземцев склонять и спрягать слова их языка как-то незаметно, этап за этапом.

Одновременно с этим отношение Кастрена к туземцам было глубоко человеческим в тот жестокий век, когда на туземца смотрели вообще не лучше, чем на зверя.

Острый взгляд Кастрена видел все притеснения чиновников, торговцев и вообще русских соседей, по отношению к туземцам, даже угнетение более слабых племён более сильными.

Он передаёт, например, как русский смотритель хлебного магазина на Толстом Носу угрожал самоедам должникам, что всех их сошлют в каторжную работу на золотые прииски, и перепуганные самоеды решили избавиться от этих угроз массовым самоубийством. Ему стоило большого труда успокоить несчастных самоедов, — водкой и добрыми словами.

«Правда, я не мог оспаривать полностью угрозы смотрителя», — прибавляет Кастрен с характерной осторожностью, — очевидно, от русского начальства можно было в то время ожидать всего.

В другом месте он рассказывает с полным знанием дела, как ижемские зыряне сперва отнимали оленей от ижемских самоедов всеми дозволенными и недозволенными способами, а потом от имени этих же уже безоленных самоедов заявляли

притязания на всю юго-восточную половину Большеземельской тундры, стараясь оттянуть её от северных самоедов, ещё сохранивших свои стада. Действовали зыряне при помощи мезенского земского суда, который, очевидно, был предварительно подмазан.

Такие взаимоотношения ижемских зырян и самоедов, как известно, продолжаются и ныне. После Большеземельской тундры ижемцы явились и на Канинскую, перешли и на Ловозеро, в соседство с лопарями, распространились также и за Урал, как это описывает уже и Кастрен.

С другой стороны Кастрен не обходит вниманием и ссыльно-поселенцев, которые умирали с голоду в негостеприимном Туруханском крае. Он отмечает, что большая часть состоит из крепостных крестьян, указывает и на всё разнообразие ссыльных по религиозным делам, скопцов, духоборцев, раскольников и иных. Особенно он выделяет духоборцев. Как известно, ссылка духоборцев в Туруханск продолжалась с перерывами до самого конца XIX века.

Также и по отношению к внутренним финским делам, к взаимному положению бедных и богатых классов, глаза Кастрена были не менее широко открыты. Так, в одной из своих статей по финской мифологии он приводит жёсткий отзыв бедного крестьянина таваста о старых рассказах и песнях: «Мы занимаемся больше хлебопашеством, чем такими пустяками». И в оправдание этого крестьянина он тут же передаёт рассказ его о том, как он разработал на чужой земле лесной участок и как через несколько лет его согнали с участка. «И богач завладел плодами моих трудов», — кончает рассказ крестьянин.

«После этого отступления я возвращаюсь к моей собственной теме», — продолжает Кастрен.

Такие отступления весьма характерны для литературной манеры Кастрена.

В путешествиях своих Кастрен, как указано, отличался полной неустрашимостью. Так, он пишет академику Шёгрёну из Шадацкого Поста в Минусинском уезде, от 17 июля 1847 г.: «Я принял непоколебимое решение съездить в Китайскую империю, чтобы познакомиться с сойотами. Правда, такая поездка не упомянута в вашей инструкции и даже запрещена китайским пограничным регламентом. Но самая мысль о том, что происхождение сойотов останется неисследованным, для меня нестерпимее, чем опасность китайской тюрьмы».

И он совершил свою «рискованную поездку через Саянские горы в небесное царство Его Китайского величества. Вскрабкался по узкой дорожке, из Сибири ведущей на Китайское небо. Питался по дороге козьим и овечьим молоком и съедобными корнями, кандыком и сараной».

Любопытно, что другой биограф Кастрена Тиандер, очевидно, не питая влечения к сибирской этнической ботанике, исключает из своего перевода Кастреновых отрывков названия съедобных корней<sup>1</sup>.

Научное наследство, оставленное Кастреном, настолько велико, что одно описание оставленных им рукописей и изложение его основных идей потребовало бы долгого труда и многотомного издания.

Он одновременно является лингвистом и этнографом, археологом, мифологом и, наконец, писателем стилистом, полным сдержанного юмора и пламенных лирических описаний.

<sup>1</sup> К. Тиандер, Матиас Кастрен — основатель финнологии. Журн. Мин. Нар. Просв. СПб., 1904, май, стр. 41.



Его лингвистические работы не имеют себе подобных. Они вышли из глубины его творческого гения в украшенном и стройном виде, как Афина Паллада из головы Зевса. Они представляют чреду грамматических правил, как фонетических, так и лексикологических, длинные ряды склонений и спряжений.

Мы не видим чёрной работы исследователя, и также не имеем лексических документов, ни текстов, ни фразеологии.

Кастрен создал их как будто по наитию. Однако при проверке они оказываются правильными и точными. И если сравнить работу Кастрена с работою других современных ему исследователей, тоже одарённых и блестящих, различие выступает выпукло и отчётливо.

Так, Шифнер, обработавший с таким несравненным трудолюбием и искусством посмертное наследство Кастрена, в том числе и его тунгусскую грамматику, относительно лингвистических записей другого основоположника тунгусоведения, академика А. Миддендорфа, мягко замечает, что эти произведения писаны, конечно, не лингвистом, но тем не менее они имеют своё значение.

По этому поводу и Миддендорф спешит подтвердить, что он имел с тунгусами лишь беглые встречи, да и то они сговаривались с ним только по-якутски<sup>1</sup>.

Но и встречи Кастрена с тунгусами тоже имели характер весьма беглый. Он использовал для этого остановку в Чите, где задержала его упорная и злая лихорадка. Там в промежутках болезни от нескольких нерчинских тунгусов он сделал ряд записей грамматических и лексикологических, из которых Шифнер потом извлёк основы тунгусской грамматики.

У Миддендорфа мы видим как раз тунгусские тексты, отсутствующие у Кастрена, и притом весьма любопытные. Но вместо подстрочного перевода они снабжены вольной передачей, ничуть не объясняющей грамматического построения фраз.

Напротив того, тунгусская грамматика Кастрена до сих пор является классической, единственной в своём роде и теперь, через три четверти века, её приходится переводить с немецкого языка на русский для практических надобностей<sup>2</sup>.

Все позднейшие работы в области тунгусской лингвистики, вплоть до второй четверти двадцатого века, в сущности представляют лишь переработку грамматики Кастрена с некоторыми добавлениями.

Мало того, Кастрен в последние годы своей жизни составил план нового путешествия в Сибирь, именно для изучения тунгусов, как видно, например, из его письма к Снельману в марте 1846 г.

Финские биографы Кастрена предлагают Финно-Угорскому обществу осуществить в ближайшем будущем предположения Кастрена. Будем надеяться, однако, что инициатива в этом деле будет принадлежать русским учёным, в частности Академии Наук СССР.

В области фонетики Кастрен отличался тонкостью и сложностью восприятия, далеко опередившею его эпоху.

«Сжду и прилежно изучаю широкое и узкое е в турецких наречиях», — пишет он из Минусинска.

<sup>1</sup> IX. 138. Примечание А. Миддендорфа.

<sup>2</sup> М.А. Кастрен, Основы изучения тунгусского языка, перевод с немецкого М.Г. Пешковой. Редакция и примечания Е.И. Титова. Иркутск, 1926. К сожалению, перевод не особенно удачный, с неточностями и пропусками.

Е. N. Setaelae даже упрекает посмертного редактора в том, что он не напечатал целиком подлинных записей Кастрена в их черновом виде. По его мнению каждая отдельная запись и заметка Кастрена имеют особую цену.

Точно так же Кастрен сумел рано оценить значение физиологического анализа звуков. И в 1846 г. он пишет в своём дневнике.

«Изучение звуков перед зеркалом с точным наблюдением всех движений и действий звуковых органов будет оценено каждым серьёзным учёным. Только таким образом можно выяснить факты фонетики, ибо они зависят главным образом от различного действия звуковых органов в разных языках».

Из своих лингвистических трудов Кастрен успел обнародовать при жизни лишь те, которые относятся к его финно-угорским исследованиям.

Сюда относятся такие работы, как:

1. De affinitate declinationum in lingua Fennica, Esthonica et Lapponica, 1839.
2. Статья — Om accentens inflytande i lappska spraket, 1844, переизданная по-немецки в 1845 г.
3. Elementa grammatices Syrjaenae, 1844.
4. Elementa grammatices Tscheremissae, 1845, и, наконец,
5. Versuch einer ostjakischen Sprachlehre, 1849, вошедшая шестым томом в серию Nordische Reisen und Forschungen в 1858 г. и потом переизданная Шифнером в 1858 г.

Однако посмертное наследство, оставленное Кастреном, содержит в этой области много необнародованного даже и поныне, несмотря на огромное трудолюбие академика Шифнера.

Так, сравнительно недавно, в бумагах Кастрена, сохранившихся в Финляндии в руках его потомков, была найдена финская грамматика, уже на половину приготовленная к печати.

Монументальное издание трудов Кастрена в обработке академика Шифнера содержит 12 томов. Оно называется Nordische Reisen und Forschungen.

- I. Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838–1844.
- II. Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845–1849.
- III. Vorlesungen ueber die Finnische Mythologie.
- IV. Ethnologische Vorlesungen ueber die Altaischen Volkerschaften.
- V. Kleinere Schriften.
- VI. Versuch einer Ostjakischen Sprachlehre (два издания).
- VII. Grammatik der Samojedischen Sprachen.
- VIII. Woerterverzeichnisse aus der Samojedischen Sprachen.
- IX. Grundzuege einer Tungusischen Sprachlehre.
- X. Versuch einer Burjaetischen Sprachlehre.
- XI. Versuch einer Koibalischen und Karagassischen Sprachlehre.
- XII. Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kottischen Sprachlehre.

Семь последних томов, посвящённых лингвистике, содержат 20 грамматик различных языков и диалектов. Поражает у Кастрена обилие изученных диалектов. Так в т. XI койбалское наречие сопоставлено с карагасским. В т. XII сопоставлены енисейско-остяцкий и коттский языки, причём для первого разработаны два наречия, инбацкое и сымское. В самоедской работе (т. VII) сопоставлены даже пять диалектов. Общее количество самоедских диалектов и говоров, отмеченных

Кастреном — 12<sup>1</sup>. Почти все эти языки были до Кастрена не изучены. Самоё существование некоторых из них было не известно. До Кастрена в области познания сибирских туземных языков царствовал полный сумбур. Не было данных для классификации всего этого племенного разнообразия.

Об этом сумбуре свидетельствует, например, инструкция, полученная Кастреном ещё в первую поездку от академика А.И. Шёгрена: Кастрену предлагается на севере распутать этнографический клубок и установить границы взаимоотношений различных племён самоедских и остяцких, положить конец недоразумениям и смешениям в этой области и разъяснить все относящиеся сюда противоречия.

В южной области надо уяснить отношения между самоедами, татарами и мелкими неизвестными племенами. Надо прежде всего разыскать эти племена, и узнать, существуют ли, например, карагасы и сойоты или уже вымерли.

Как известно, карагасы и сойоты существуют и поныне. Карагасы, правда, близки к вымиранию. Но сойоты окрепли и даже на границе СССР учредили особую Танну-Тувинскую республику.

Тунгусов Шёгрэн предлагает оставить вне поля изучения, так как они ещё довольно многочисленны — успеется и после, — надо торопиться захватить остатки племён, уже исчезающих ныне.

И Шёгрэн прибавляет с беспокойной настойчивостью:

«Недостаточно того, чтоб Кастрен собирал на ходу скудные словарные списки, как это делалось до сих пор, которые дают материал только для скудных и противоречивых гипотез. Нет, он должен стараться обследовать все грамматические построения языка, фонетику, морфологию, синтаксис, сделать текстуальные записи народной литературы, песен, пословиц. Собрать подробный географический словарь, установить топонимию, записать, наконец, предания, легенды и рассказы».

Программа Шёгрена не потеряла значения и в настоящее время. И несмотря ни на какие настояния, она слишком часто не исполняется совсем или исполняется частично и небрежно.

Между прочим, Шёгрэн жалуется, что у койбалов записаны образцы языка сначала Фишером, потом Спасским, потом губернатором Степановым. Все эти записи не похожи одна на другую. По записям Фишера койбалы родственны коттам и аринам, по записям Спасского койбалы это — самоеды. По записям Степанова это — совершенные татары. Шёгрэн предупреждает Кастрена против записывания таких образцов языка.

Кастрен разыскал и определил все эти мелкие и мнимо исчезнувшие племена, вплоть до коттов, почти полумифических, давно похороненных учёными.

Такие воскресения похороненных племён случались и позже.

Нашёл же В.И. Иохельсон в конце XIX века колымских юкагиров, тоже исчезнувших было из поля зрения науки.

Мало того, Кастрен объединил указанные племена вместе; связал их с самоедами и финнами и построил, таким образом, широкую и стройную систему, которую

<sup>1</sup> Любопытно, что в последнем письме в Академию Наук, упомянутом выше, Кастрен пишет: «Я первоначально намеревался составить пять грамматик с соответствующими словарями для 5 самоедских наречий, но при ближайшем рассмотрении нашёл более удобным и соответствующим требованиям филологии, весь мой самоедский материал соединить вместе и 5 наречий со всеми многочисленными говорами обработать сравнительно».

преемники его были не в силах понять, и которая только теперь развёртывается перед нами во всей своей простоте и гениальности.

Надо указать, что по поводу этой удивительной системы родства алтайских и саянских племён, вышеупомянутый Тиандер, снисходительно упрекает Кастрена в том, что вместе со всеми научными авторитетами того времени он считал всемирный потоп догматом неопровержимым<sup>1</sup>. Однако и в этом случае Кастрен интуитивно воспринял, что расселение праазиатских племён связано с изменением очертания внутренних морей и озёр Средней Азии и Западной Сибири.

Я коснусь этого вопроса подробнее в статье о палеоазиатах. Также и алтайская схема Кастрена будет изложена в одной из последующих статей.

Вместо того я хотел бы оттенить другую, ещё более широкую схему, построенную Кастреном, которую до сих пор излагали без всяких комментариев, или, точно так же, как и первую, снисходительно старались опровергнуть.

Начну с взаимоотношения индоевропейских и финно-турецких языков.

Индоевропейские лингвисты, вплоть до настоящего времени, рассматривают этот вопрос не без примеси обычного западно-европейского шовинизма.

Приведу одну из множества цитат: «Тип языка, служивший средством выражения для Гомера, Софокла, Платона, для Данте, Шекспира и Гёте<sup>2</sup> и даже содействовавший тому, чтоб выработать такие труды, такой тип языка, конечно, должен был произойти от самого благородного и плодоносного зародыша»<sup>3</sup>.

Даже завоевание было полезно для побеждённых именно введением языка победителей. «Не безразлично, даётся ли народу грубый или образованный язык, задерживающий мышление или содействующий ему». Дело идёт о завоеваниях европейцев в Южной Африке.

Кастрен прежде всего выворачивает этот шовинизм наизнанку, ставит его, можно сказать, вверх ногами.

«Нам придётся раз навсегда отказаться от родства с эллинами, с десятью коленами Израиля и другими привилегированными нациями», — говорит он, обращаясь к финнам. «Но пусть нам служит утешением, что каждый человек сын своих дел. Меньше риску быть сыном сапожника, чем сыном сенатора. Пока мы бобыли, так будем утешаться сознанием, что наши отцы тоже были бобылями. Я же с своей стороны совсем не забочусь о благородных предках, и больше люблю таких, у кого в отцах состояли мельники, каменщики, вязальщики. Такова моя вера, и я горжусь, что с каждым днём открываю всё больше совпадений между финским и сибирскими языками».

После этого шуточного отпора Штейнталю и прочим, написанного как бы заблаговременно, за 20 лет вперёд, Кастрен переходит в наступление и прежде всего разрушает теорию отдельных человеческих рас, составленную Блюменбахом.

Его аргументы весьма простые, но до сих пор не опровергнутые.

«Разве есть определённые различия между кавказской расой и монгольской? По моему мнению такого различия нет. Что бы ни говорили естествоиспытатели о различной формации черепа, остаётся тот замечательный факт, что у европейского

<sup>1</sup> К.Ф. Тиандер, стр. 57.

<sup>2</sup> Ни одного француза, ни одного славянина..

<sup>3</sup> Н. Steinthal, Charakteristik der hauptsächlichsten Typen des Sprachbaues, bearbeitet von Franz Misteli, Berlin, 1893, S. 487. Neubearbeitung des Werkes von Prof. H. Steinthal, 1861.

финна приметы кавказской расы, а у азиатского — монгольской. Турок в Европе похож на европейца, а в Азии на азиата. Если же, исходя из данных физических, последовательно провести это различие, то пришлось бы одну половину финских и турецких народов отнести к кавказской расе, а другую к монгольской, — а это очевидная несообразность».

От различия рас Кастрен возвращается обратно к различию языков.

«Индоевропейские и монгольские языки в своём грамматическом строе не представляют никаких: существенных различий, кроме тех, которые зависят от различной ступени развития их мысли». «Различие отдельных языков зависит не от разницы рас, а от различных ступеней культуры, на которой находятся отдельные народы».

Современный финляндский критик нашёл по этому поводу единственное возражение, что Кастрен не понимал, что раса и язык две разные вещи. Критик забывает, что раса до сих пор не имеет точного научного определения. И в сущности единственное, что мы знаем в этой области, есть какая-то основная связь между расой и языком, совершенно несомненная, но тоже недостаточно выясненная.

Между тем формулировки Кастрена близки к некоторым формулировкам новейшей яфетической школы. И во всяком случае можно утверждать, что раса и язык теснейшим образом связаны друг с другом, хотя порядок этой связи для нас не ясен.

Таким образом Кастрен соединяет все народы обозреваемого им круга в одну непрерывную цепь.

«Поскольку родство финского и самоедского племён установлено моими изысканиями, а финны, очевидно, родственны туркам и татарам, то ближайшей задачей языкознания является установление родства между финнами и тунгусами при посредстве всё тех же самоедов. От тунгусов прямая дорога ведёт к манджурам и далее к монголам ведут все пути».

В эту цепь сам Кастрен через посредство енисейских остяков включил и палео-азиатов. От палеоазиатов, продолжая его аргументацию, прямая дорога ведёт к эскимосам и американским индейцам. Цепь таким образом постепенно удлиняется и включает всё новые звенья и обходит весь северный мир.

Быть может, ещё любопытнее отметить, что широкие и смелые обобщения Кастрена в своём существе являются не индуктивными, а скорее дедуктивными и во всяком случае интуитивными. Огромное обилие и разнообразие фактического материала является только подтверждением основной предпосылки. Это фундамент, подведённый после для большей прочности здания. Человеческое мышление по существу интуитивно. Истинный учёный с самого начала знает, куда надо стремиться, чего искать. Тоже и Кастрен с ранней юности знал, к чему стремился. Он несколько не скрывал, что наука имеет для него определённую цель.

«Исследователь не может успокоиться раньше, чем будет найдена связь, соединяющая финское племя с какой-нибудь другой частью остального мира, большой или малой. Я вполне убеждён, что такая связь действительно существует и даже в форме более очевидной, чем то посмела бы принять самая отважная гипотеза» (написано в Сургуте в сентябре 1845 г.).

Это: «убеждён, что такая связь, действительно, существует» — чрезвычайно характерно для всего мышления Кастрена.

Рядом с этим в своём введении к «Этнологическим чтениям об Алтайских народах» Кастрен подчёркивает: «По-видимому, преобладавшее до сих пор умозрительное направление в науке сыграло свою роль, и теперь зарождается новое. Куда ни взглянешь, повсюду представители науки собирают факты, всё новые факты. Мало заботятся о новых комбинациях, не ищут выводов, — господствуют одни лишь факты.

Конечно, и теперь понимают, что набор разрозненных фактов не может послужить основанием для истинной науки, но сумма уже собранных фактов кажется ещё недостаточной для построения новых систем.

Как бы то ни было, совершенно очевидно одно: в наше время науки приняли по преимуществу материальное направление. Вместе с другими науками так обстоит дело и с лингвистикой или сравнительным языкознанием».

Таким образом Кастрен отвергает априорное, умозрительное философское направление. Его собственный метод представляет органическое сочетание интуитивного подхода и обильного накопления новых фактов, однако, не разрозненных, а с самого начала до конца сочетаемых и связываемых вместе.

Работа Кастрена, как этнографа, будет рассмотрена в другой статье.

Можно отметить, что сам он ценил более свои этнографические материалы, относящиеся, во-первых, к самоедам, во-вторых, к енисейским осяткам и предполагал связать их в общее этнографическое описание. Такого описания, как известно, не появилось. Для посмертной обработки этнографических материалов не нашлось другого Шифнера.

Мне остаётся отметить заслуги Кастрена в области изучения религии, в частности, религии первобытной, ранней мифологии и магии. Его разносторонний гений и здесь успел овладеть огромным материалом и далее дополнить его новыми данными и свести всё вместе в одно стройное целое.

В его чтениях по «финской мифологии» элементы западно-финские (собственно финляндские) сопоставляются с восточно-финляндскими, — вплоть до остяков, — далее с лопарскими, самоедскими, турецкими, даже кетскими (енисейско-остяцкими).

Мы находим у него, например, такие указания: «Относительно изображений божеств у турецких народов я не имею никаких других сведений, кроме тех, которые мне удалось получить путём личных расспросов у языческих татарских племён южной Сибири». Далее следуют драгоценные подробности в этой области, которая до сих пор остаётся скудно обследованной.

Точно также сообщения Кастрена о духах и божествах енисейских остяков послужили стимулом к работе В.И. Анучина<sup>1</sup>.

Встречаем у Кастрена и ещё указание, что у кетов Kins означает одновременно «дух (злой)» и «русский». Такое же отношение к русским встречаем у различных северо-сибирских народов, которые вообще говорят, что русские и духи заразной болезни приходят вместе, с запада, от страны вечера.

У анадырских чукок вышло навыворот. Имя «казак» касак стало применяться к злым духам.

Более удивительно, что у гиляков злой дух также Kins, как у кетов.

<sup>1</sup> В.И. Анучин. Очерк шаманства у енисейских остяков. Сборник МАЭ, т. II, 2, 1914 г.

И рядом с этими полевыми фактическими сборами такие же поразительные построения в области теории. Воззрения Кастрена на магию в сущности опередили даже Тейлора и Спенсера и стоят на уровне современности.

«Искусство волшебства, магия, заклинания представляют более первобытную культурную стадию, чем вера в богов. Правда, впоследствии вера в богов позаимствовала из магии те или иные элементы; однако, из веры в богов нельзя объяснить происхождение магии».

И далее: «Магия в своём возникновении не стремится к познанию мира, она выражает протест человека против ига природы и стремится её победить не только бурными телодвижениями и непонятными словами, но также и усилием собственной воли».

Это указание на активность магии, на наличие волевого элемента, на стремление к борьбе с природой, а в дальнейшем и с духами, представляет очевидный противовес позднему учению об анимизме, где человек изображается пассивным перед властью могущественных духов. Эти духи, враждебные людям, приходят на помощь к избранникам, давая им шаманскую силу.

По мнению Кастрена, волшебник, шаман, сам стремится стать господином природы и, стало быть, и духов помощников сам избирает себе.

Точно также у Кастрена было отчётливое понимание того, что на самой первобытной стадии материальные изображения представляют не символы, не место обитания, не воплощение богов или духов, но сами по себе являются живыми и могущественными в своей первичной форме. Деревянные фигурки сами съедают жир, которым им мажут рот.

Эти идеи и воззрения Кастрен применял к анализу религии западных финнов, стараясь, например, в Калевале отыскивать наиболее первобытные элементы. В этом смысле поразительна его глава «Об изображениях божеств и священных предметов» в указанном томе.

Таким же усердным и ценным исследователем Кастрен является в области археологии. Он занимался раскопками ещё в юности в Финляндии и Лапландии. В восточной Сибири его археологическая работа сосредоточивалась в Минусинском округе, где он был предшественником Адрианова и Аспелина. Он раскапывал курганы и списывал надписи с писаниц. Коллекции, пересланные им в Академию Наук, состоят одинаково из предметов этнографических и археологических, как видно из его отчётов Академии Наук.

И в археологии, как всюду, Кастрен остаётся верен себе. Так, описывая одну из абаканских писаниц, которую разбил губернатор Степанов, чтоб увезти часть надписи, Кастрен сравнивает разрушающую руку губернатора с рукою разрушающего времени и с отвращением отворачивается от бюрократического вандализма.

Предметы этнографических коллекций Кастрен покупал для Академии на собственные средства, отчасти получал от разных лиц в виде подарков и пожертвований. В архиве Академии имеются различные счета туземцев, русских жителей и чиновников, связанные с коллекциями.

Например, «1846 года Апреля 19 дня я нижеподписавшийся Енисейского округа Надско-Пумпокольскаго управления Ясашной инородец Семен Петров Белозеров дал сию росписку Доктору Философии Александр Христьяновичу Г. Кастрен в том что обязуюсь я Белозеров вам доставить одежду нашего обряда

как то парку, шапку, рукавицы и чарки за которую получил денег серебром пять рублей в чем и подписуюсь личною прозбою инородца Семена Белозерова руку приложил Енисейский мещанин Григорий Стыжных».

Академия Наук впоследствии уплатила Кастрену по чрезвычайно дешёвой расценке, — в одном случае три рубля пять копеек, в другом случае пять рублей.

К сожалению, часть этих коллекций была растеряна за минувшие три четверти века, но многое сохранилось в МАЭ.

Сюда относятся одежда и оружие восточных самоедов и северно-енисейских тунгусов, несколько татарских и койбальских черепов из Минусинского края и т.д.

В великой и сложной науке о человеческих народах, в её разделе, относящемся к северной Евразии, Кастрен занимает место, единственное в своём роде. Он был началом движения, первым биением творческой жизни. Это — исходный пункт, откуда разошлись многие и разные пути. Но по этим различным путям он шёл одновременно и сам, и так далеко зашёл, что мы, вышедшие после него на столетие, до сих пор не можем догнать его. Это зачинатель, опередивший продолжателей. Его человеческий образ сияет кристальной чистотой, его научные работы донныне не превзойдены.





## Матиас Кастрен

**КАСТРЕН Матиас Александр** (*Castren, Mathias Alexander; Матвей Христианович*) (2 декабря 1813, село Тервола, Финляндия – 7 мая 1852, Гельсингфорс (Хельсинки)), финский и рус. языковед. Кастрен — основоположник самодийского языкознания. Ввёл в научный обиход материалы коттского и кетского языков ныне почти полностью исчезнувшей енисейской языковой семьи. Предложил теорию родства угро-финских, самодийских, тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков. По материалам экспедиций Кастрен защитил диссертацию став 1-м профессором финского языка и литературы Гельсингфорского университета, составил грамматики и словари для 20 языков.

## О значении слов: Юмала и Укко в финской мифологии<sup>1</sup>

*Из книги профессора А. Кастрена*

Из числа старинных наших мифологов, Ленкквист и Ганандер единогласно утверждают, что слово Jumala у древних Финнов означало не особенную какую-либо божественную личность, а божество вообще, как латинское *deus*, немецкое *Gott*, шведское *gud*<sup>2</sup>. Таково и до сих пор общепринятое мнение, и надобно сознаться, что оно имеет важные основания. Ленкквист ссылается, между прочим, на общее, весьма распространённое употребление, которым слово Jumala допускается и во множественном числе, чего, конечно, не могло бы быть, если бы «Jumala было», говоря его словами, «собственным именем какого-либо особенного божества, как слова: Jupiter, Thor, Odin». Что это словоупотребление ведёт своё начало ещё из времён язычества, Ленкквист считал возможным доказать нашими старинными песнями, и привёл с этой целью, из одной охотничьей песни, следующую фразу охотника: *julki tulin jumalista, kanssa saalin (saaliin) iloisesti*, т.е. *видимо иду я от богов (jumalat) с добычей, полон радости*.

По моим наблюдениям, слово Jumala в рунах хотя не часто употребляется в множественном числе, я могу однако указать ещё несколько примеров, кроме приведённых Ленкквистом. Так, в новом издании Калевалы, рун. 12, стих. 229 и далее, говорится о мече: *jok'oli Hiieissä hiottu, jumaloissa kuuraeltu*, т.е. *он у Гийси кован, у богов наточен*. В прежнем издании Калевалы, рун. 4, ст. 352, волшебник взывает к богам словом *jumialat: jumaloista turva tulko*, говорит он, т.е. *от богов придёт пусть помощь*. Можно также привести 230-й стих 10-й руны, по прежнему изданию: *saakohon joku jumala*, т.е. *пусть придёт какое-нибудь божество* (чтобы прогнать болезни).

В подтверждение Ленкквистова мнения можно ещё привести то обстоятельство, что в рунах слово Jumala употребляется иногда в смысле эпитета того или

Публикация из издания «Учёные записки Императорской Академии наук». Т. 1. Вып. 4. — Санкт-Петербург, 1853. — Стр. 491–528.

<sup>1</sup> Was bedeuten die Wörter Jumala und Ukko in der finnischen Mylologie? в *Bull. hist.-philol.* Т. X, № 1–4, стр. 30–62, и в *Melanges russes*, Т. II стр. 175–217.

<sup>2</sup> Lencquist, De superstitione veterum Fennorum theoretica et practica p. 1, pag. 12. Ganander, Mythologia Fennica, стр. 25. Cp. Schefferi Lapponia, стр. 58.

другого из божеств мужского пола. Чаще других *Укко* удостоивается этого титула, но иногда он даётся и *Гийси* (Калевала, рун. 14, ст. 83), *Паге* (Torelius, Run. кн. 2, стр. 3), *Кою* или утренней заре (Калев. рун. 17, ст. 478) и т.д. В старом издании Калевалы, рун. 18 ст. 456, даже *Лемминкейнен* называется Jumala<sup>1</sup>.

В противоположность этому употреблению, в рунах же можно отыскать много таких мест, где Jumala принимается в смысле определённого, особенного божества: можно только подумать, что это представление, во многих случаях, если не везде, образовалось в народной поэзии под влиянием христианства. На это влияние прямо указывают обыкновенные эпитеты Юмалы: kaikkivalta всемогущий, autuas блаженный, armolinen милосердый, руhä святой, и многие другие, очевидно заимствованные из христианского учения. К числу этих заимствованных эпитетов принадлежит, вероятно, и luoja творец, потому что в финской мифологии не было первоначально мысли о боге, как виновнике и творце мира. В творении, как оно представляется в рунах, бог не имеет ни малейшего участия: небо и земля, солнце, месяц и звёзды созданы, по одним чтениям, дочерью воздуха, по имени Ilmatar, по другим Вейнемёйненом: но ни то, ни другое из этих лиц не пользуется в финской мифологии честью и достоинством Юмалы. Можно заметить при этом случай, что слово luoja в наших рунах не всегда предполагает участие в творении, потому что оно служит иногда эпитетом *сыну солнца* (päivan poika) и другим мифологическим лицам, не участвовавшим в творении; да и по этимологии оно не содержит в себе прямо понятия о творении, но может означать *податель, дарователь*, и, вероятно, в этом смысле лесные божества называются antoluojat, т.е. подателями даров. Но, признавая эту неопределённость в значении luoja, я тем не менее считаю несомненным, что везде, где только Jumala является в рунах определённым божеством и где он называется luoja, непременно разумеется христианский бог, творец мира.

Примеров такого употребления слово Jumala в финских рунах довольно представляют встречающаяся в них молитвы, из которых многие имеют решительно христианский характер. В подтверждение того приводим из 9-й руны (ст. 567–586) благодарственную молитву за выздоровление.

Tuoltap' aina armot käyvät,  
Turvat tuttavat tulevat,  
Ylähältä taivahasta  
Luota luojan kaikkivallan.  
Ole nyt kiitetty jumala,  
Ylistetty luoja yksin,  
Kun annoit avun minulle,  
Tuotit turvan tuttavasti  
Noissa tuskissa kovissa,  
Terän rauan raatamissa. — —  
Jumalass' on joksun määrä,  
Luojaassa lopun asetus,

Всегда оттуда сходит милость,  
Оттуда верная защита,  
Оттуда, с высоты небесной,  
От всемогущего Творца.  
Да будет же тебе, Юмала,  
Хвала и слава, о Творец,  
За то, что помощь ниспослал мне,  
Защиту явно оказал  
Против жестокого недуга  
От раны остриём железа.  
В руках Юмалы мера жизни,  
В руках Творца её предел,

<sup>1</sup> [Также и *Вейнемёйнен*, рун. 4, ст. 12; см. Stuhr, Ueber die Bedeutung der finnischen Götternamen Jumala und Ukko в Schmidts Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, ч. VI, стр. 270. III.]

Ei uron osoannassa,  
Vallassa väkevänkänä.

А не в могущества героя,  
Не в крепкой силе человека.

Вышеприведённые основания неоспоримо обнаруживают в употреблении слово Jumala в рунах христианское происхождение: но я никак не могу присоединить своего голоса к мнению тех учёных, которые полагают, что это слово и в первобытном своём значении выражало отвлечённое понятие божества вообще.

Грубые, необразованные народы часто не имеют выражений для самых обыкновенных отвлечённых понятий. Есть народы, у которых нет общего названия реки, но есть особенные названия каждой речки; у других нет слова палец, но есть слова, означающие большой палец, указательный и т.д.; нет слова ягода, но есть названия черники, морошки, голубики и т.д.; нет даже слова дерево, но есть названия берёзы, сосны, черёмухи. Само собою разумеется, что такие народы ещё менее способны представить себе и выразить словом такое высокое понятие, как понятие о боге, во всеобщем, отвлечённом его значении: у них может быть только то или другое частное божество. Между тем Jumala, без сомнения, есть древнейшее, первобытное имя божества в финской мифологии, потому что оно употребляется не только Лапонцами, Эстонцами, Зырянками, Черемисами, но и сибирскими Самоедами, тогда как другие божества Финнов большей частью вовсе неизвестны этим народам. Таким образом уже это обстоятельство даёт основание предполагать, что слово Jumala первоначально означало не бога вообще, а определённое, особенное божество.

И этот взгляд имел своих представителей, хотя, в его развитии, они терялись в лабиринте пустых предположений и основывали свои выводы на произвольном сближении слов, случайно сходных между собою по наружности. Один производил Jumala от еврейских слов *jom* *день* и *el* *бог*, и вследствие того приписывал Финскому имени бога значение «бога света». Другой, напротив, полагал, что Jumala могло значить «владыка неба», выводя это значение из еврейских же слов: *jum* *небо* и *bal* *господин*. Находили также соответствие финскому Jumala в шведских словах: *himmel*, *gammal*, *Ymer* (отец исполинов) и т.д. Шеффер приводит из Торнеуса предание о родоначальнике Лапонцев и Финнов, по имени *Jumi* или *Jumo*<sup>1</sup>, и полагает, что, по своей смерти, этот родоначальник был обоготворён под именем Jumala<sup>2</sup>. Пропуская много других попыток, сделанных в том же духе, прибавлю только, что Ленрот производит слово Jumala от той же темы *jumi*, *jumaus* (гром, шум) и полагает, что под именем Jumala Финны разумели первоначально бога грома<sup>3</sup>. Ниже я возвращусь к этой любопытной догадке; но, по требованию моего рассуждения, мне кажется, нужно прежде всего разобрать этимологию слова Jumala гораздо строже, чем это было сделано Ленротом и другими.

Заметим прежде всего, что Jumala, при своём составе из трёх слогов, не может быть коренным словом, но образовалось, должно быть, из какой-нибудь простейшей темы. И в самом деле, в слоге *la* легко узнать словопроизводное окончание, которое, вместе с другою своею формой — *lä*, встречается в финском языке весьма часто и означает место, местность вообще, а также и жилище. По этому

<sup>1</sup> Schefferi Lapponia, Cap. VI, p. 43.

<sup>2</sup> Lencquist, там же.

<sup>3</sup> Mehiläinen 1836, январь. Cp. Magazin für die Literatur des Auslands, 1846.

производству тема слова Jumala есть juma, и у Черемисов эта форма доньше употребляется в значении бога. В большей части других, родственных финскому, языках темы этой нет, и понятие бога выражается производными формами, как напр. в эстонском близко родственной формой — jummal, в лапландском jubmel, ibmel, immel, в зырянском jєn (собственно jemel)<sup>1</sup>. Но и форму juma я не могу признать за первобытную тему: полагаю, что конечное а есть только эвфоническая приставка. Я не могу здесь войти в подробное объяснение оснований, уполномочивающих меня на эту догадку: предоставляю себе изложить их при другом случае. Теперь же замечу только, что, по свойству финского языка, оканчивать слово согласной *m* как-то неловко, и что поэтому к согласной обыкновенно прибавляется какая-нибудь гласная. Таким образом истинной темой слова Jumala должна быть форма jum, — и по свидетельству древних писателей<sup>2</sup>, форма эта действительно была в употреблении у Самоедов. Я сам не нашёл её у этого народа: вместо jum я постоянно слышал num; но это num, не смотря на разницу в начальной букве, по всей вероятности, одного происхождения с финским jum, потому что взаимная замена между *j* и *n* (*nj*) в самоедском языке не редкость.

Убедившись в звуковом родстве слова Jumala не только с эстонским jumal, лапонским jubmel и зырянским jєn, но и с черемисским juma и самоедским num, посмотрим теперь, какое понятие каждый из этих народов, и в особенности Самоеды соединяют со своим названием бога: в их понятиях, может быть, найдётся какой-нибудь намёк на первобытное представление Финнов, скрывающееся в их Jumala. Касательно лапонского jubmel Гэгстрем, совершенно кстати для нас, сообщает следующее сведение: «кроме значения, какое дают этому слову Лапонцы, как христиане, оно соответствует не столько латинскому deus, сколько собственному имени Jupiter<sup>3</sup>». Ныне лапонское jubmel значит то же, что финское Jumala, т.е. как христианского бога, так и всякое языческое божество. Точно также jummal у Эстонцев и jєn у Зырян употребляются в значении всякого божества и христианского в особенности. Вероятно, и Черемисы почитают в своём juma бога, как творца и правителя благ и т.д., также вследствие влияния христианства.

И у Самоедов, как у названных сейчас народов, значение слова num смешано с христианскими представлениями. Даже из некрещёных Самоедов многие чтут под этим именем творца мира и, подобно христианам, представляют его существом, которое властвует над тварью правосудно, защищает невинность, награждает добродетель, наказывает порок и т.д. Но если отделим от слова num все те представления, которые введены в круг его значения влиянием христианства во времена позднейшие, то увидим в результате, что Самоеды чтут под этим именем собственно небо.

Почитание неба, — видимого, вещественного, или действующих на нём сил, — было весьма распространено в Азии. Китайцы были некогда поклонниками неба, а по Геродоту, Страбону и многим китайским писателям, ему приносили жертвы и древние Персы. О древнейшей религии Монголов известно весьма мало: между

<sup>1</sup> В слов jєn потеря буквы *m* на конце очевидна, потому что в твор. пад. оно имеет jєnm-än, а не jєn-än, во вступительном — jєnm-yn, а не jєn-yn. Но тема jєnm, с двумя согласными на конце, невозможна по свойству языка: она предполагает другую, древнейшую форму, какой была, без сомнения, тема jemel, из которой потом образовался jemel, jemm, jєm и jєn.

<sup>2</sup> Lencquist, De superst. etc. p. 14.

<sup>3</sup> Högström, Beskrifning öfver de till Sveriges Krona lydande Lappmarken, стр. 171 в прим. r).

тем можно доказать, что и они воздавали почтение небу, называемому на их языке *tengri* (см. ниже). Тунгусы, под именем своего *Vuga*, доньше поклоняются небесному божеству; многие турецкие племена точно также воздают поклонение небесным силам — так называемым *Kudai*, которых они считают семь. О предках нынешних Тюрков, называемых по-китайски *Tu-kiu*, повествуют, что и они поклонялись небу: то же говорит одно китайское известие о народе *Hiongnu*. Словом сказать, на всём пространстве этой обширной части света едва ли был хотя один народ, который бы не чтил неба и не признавал в нём божественного существа. И не только в Азии господствовало это богослужение, но и в других странах дикие народы постоянно являются чтителями природы, которые воздают поклонение тверди небесной предпочтительно перед всеми другими предметами. И, в самом деле, какое явление природы может сильнее возбудить удивление дикаря и внушить ему благоговение, если не небо со своими светилами — солнцем, луною и тысячами звёзд? С высот небесных раздаются громы, из облаков блещет молния, в небесных пространствах горят огни северного сияния; снег, дождь и град, буря и непогоды, в сопровождении множества других чудес природы, являются на землю с высоты небесной. И как поразительны многие из этих чудес в глазах дикого! Суеверный шаман, по своему неведению порядка природы, мечтает господствовать над её стихиями силой чародейства; но небесные явления, и именно гром и молния, заставляют его сознать своё бессилие и преклоняться перед ними в смиренном благоговении.

Что Самоеды действительно воздают почтение небу, о том свидетельствует сам язык, потому что по-самоедски *бог* и *небо* называются одним и тем же словом — вышеупомянутым *num*: тожество это произошло, конечно, от того, что небо признаётся божественным существом. Правда, некоторые самоедские племена, для выражения понятия бога, употребляют ещё слово *jilibeambaertje*; но слово это есть собственно только эпитет *Нума* и означает его свойство — хранителя и защитника стад. Мысль об этом свойстве *Нума*, без сомнения, позднейшего происхождения, и слово *jilibeambaertje* употребляется большей частью образованнейшими племенами Самоедов, обращёнными в христианство, которые этим именем называют иногда Христа. Необразованные же племена мало знают об *jilibeambaertje* и говорят только о *Нуме*, всегда разумея под этим именем небо. Но небо они представляют не бездушною вещью, а живым, личным существом, которое производит, по их мнению, гром и молнию, дождь, снег, град, ветер и т.д. Понимая дело с нашей точки зрения, слово *num* означает, стало быть, и *небо*, и *бога неба*: Самоед не отделяет ещё этих двух понятий друг от друга, принимая за живое, личное божество самое небо, которое у него пред глазами.

Кроме приведённого значения, слово *num* имеет ещё другие, встречающиеся у того или другого из самоедских племён. В числе их весьма замечательно значение *грома*. В этом значении слово *num* употребительно особенно у Камашинцев (*Kagmāshi* или *Kamassen*). Правда, все племена самоедские питают к могуществу грома религиозное благоговение, но многие из них представляют себе это явление, как я уже заметил, только свойством неба или небесного бога. Камашинцы, напротив, представляют гром особенным божеством и называют его *Нумом*. Легко может быть, что это и есть первобытное значение слова как в самоедском языке, так и в финском; но если и не так, то всё же надобно согласиться, что

Самоеды чтили Нума особенно в качестве производителя грома: потому что только в таком случае можно объяснить разные значения этого слова.

Случалось также, в виде какого-то исключения, слышать у Самоедов *nim* или *jilibeambaertje* в значении солнца. Так одна самоедская баба сказывала мне, что она каждое утро и вечер выходит из своей юрты, чтобы воздать поклонение солнцу, причём утром она говорит: «когда восходишь ты, *jilibeambaertje*, тогда и я встаю с постели», а вечером: «когда заходишь ты, *jilibeambaertje*, тогда и я отхожу ко сну». Это рассказывала она в доказательство, что и у Самоедов творятся утренняя и вечерняя молитвы; но, прибавила она с сожалением, «и у нас есть дикари, которые никогда не воссылают молитвы к богу».

Иногда словом *nim* Самоеды называют и не небесные предметы. В этом я убедился во время одной поездки по берегам Ледовитого океана. Когда я стоял с проводником — Самоедом на берегу моря, устремив взор в беспредельную даль, мне вдруг пришло на мысль спросить моего спутника: «Где нум?» — «Там», отвечал он, указав на тёмную поверхность моря. Даже земля иногда удостаивается у Самоедов названия *nim*. Правда, примеры такого обширного употребления слова встречаются весьма редко; но что оно не необыкновенно у Самоедов, уверяют и миссионеры. И я не нахожу этого употребления странным, потому что и многие другие из родственных народов, остающиеся в язычестве, обожают, подобно Самоедам, небо, землю, воду, солнце, гром и бесчисленное множество других естественных предметов. Разница в том только, что другие народы боготворят эти предметы под разными, для каждого особенными именами, а Самоеды для всех предметов употребляют одно и то же *nim*. Само собою разумеется, что и у них есть особенные слова, означающие землю, солнце, море, гром и т.д., но слова эти не содержат в себе прямо понятия о божественном существе. Они употребляются преимущественно в тех случаях, когда Самоеды говорят о помянутых предметах, как о мёртвых, материальных вещах. Когда же эти предметы являются в уме Самоеда в своём божественном качестве, то без различия получают названия неба (*nim*). Таким образом слово *nim* переходит от особенного понятия неба или небесного божества к значению божеского существа вообще. В низших сферах понятий такие переходы слов от одного значения к другому, обширнейшему, весьма обыкновенны. Так, многие народы словом человек первоначально называли только отдельное лицо своего племени; позднее же, вследствие уяснения мысли о тождестве человеческой природы во всех племенах, слово это получило нынешнее значение, обнимающее все человеческие личности. Точно также во многих языках особенные названия трав и деревьев обращены в общие названия целого рода. Вследствие этого всеобщего процесса развития языков, в самоедском напр. слово *большой палец* мало-по-малу получило значение пальца вообще, а слово *водяница* (*Empetrum nigrum*) — значение ягоды. Что же касается, в частности, развития представления неба или бога неба до понятия бога вообще, то я постараюсь здесь положительнее оправдать это развитие, и для того перехожу к значению слова *jumala* в финском.

Как *nim* у Самоедов, *jubmel* у Лапонцев, *juma* у Черемисов означают, по вышеизложенным объяснениям, небесное божество и в особенности владыку грома, так и древние Финны, по моему мнению, почитали Юмалу в качестве бога неба. По меньшей мере вначале слово это, без сомнения, означало не только общий, отвлечённый эпитет богов, но было именем особенного божества: это можно

заключать по некоторым данным даже в древне-северных сказаниях<sup>1</sup>. Так в саге короля Олофа говорится: En í gardinum stendr god Bjarma, er heitir Jómale, т.е. *в ограде стоит бог Биармийцев, он называется Юмала*, а в саге Геррауда и Бозе: par er göfgat god pat er Jómali heitir, *тут поклоняются богу, который называется Юмала*. Если же именем Jumala назывался славный биармийский идол, то ясно, что имя это означало не отвлечённое понятие бога: такое понятие, как доступное только рассудку, не могло бы получить чувственного олицетворения в статуе. Старинные песни самих Финнов ещё решительнее доказывают, что имя Jumala означало у них не только определённое божество, но вместе и небесного бога. В этом отношении важно уже и то обстоятельство, что имя это, как замечено выше, придаётся в виде эпитета царствующему в воздухе Укко. Во всей литературе доньше изданных финских рун можно отыскать только весьма немногие места, где jumala служит эпитетом других богов; столь же редко употребляется оно и во множ. числе, для означения многих богов. Укко, напротив того, чрезвычайно редко является в рунах без титула Юмалы (taivahan jumala, ulijumala, ilmojen jumala и т.д.). Одним словом, Юмалой в рунах считается преимущественно Укко.

Выше я заметил, что слово Jumala в наших старинных песнях не всегда употребляется в качестве эпитета, как нарицательное имя, а встречается иногда и в виде собственного имени, и в этих случаях обыкновенно относится к христианскому богу. Но в рунах встречаются и такие места, где Jumala является личным именем и означает то же, что Укко, то есть, бога неба. Так, в Калевале, рун. 45, стих. 221 и далее, владетельница Похиолы в родах призывает его молитвой, начинающеюся следующими словами: Tule nyt lölyhyn jumala, Iso ilman lämpimähän, т.е. *приди же в баню, Юмала, приди в тепло, владыка воздушов*. Здесь Юмала, как показывает последнее выражение (ilman iso), означает не божество вообще, ни христианского бога, а единственного бога воздуха или неба, который в других случаях называется Укко и под этим именем также призывается иногда в родах; ср. Кал. рун. 1, ст. 169 и след.

Молитвы о ветре древние Финны воссылали к тому же небесному Укко. Но я опять нахожу в Калевале место, где Вейнемейнен обращается с молитвой о благополучном ветре к Юмале. Правда, Юмала получает при этом случае эпитет armollinen (милосердый), и молитва содержит в себе ещё другие признаки христианских представлений; но в рунах во всех подобных случаях обыкновенно призывается не христианский бог. Молитва эта находится в 18 руне Калевалы, ст. 29–37, и состоит в следующих выражениях:

Tule nyt purtehen jumala,  
Aluksehen armollinen,  
Väeksi vähän urohon,  
Miehen pienen miehueksi  
Noilla väljilla vesillä,  
Lakeilla lainehilla.

Поди же, Юмала, на лодку,  
Приди на судно, милосердый,  
На помощь слабому герою,  
В защиту маленькому человеку,  
На этом водяном пространстве,  
Средь расстилающихся волн.

<sup>1</sup> [См. Antiquites Russes d'apres les monuments historiques des Islandais et des anciens Scandinaves... Tome premier. Copenhague 1850, стр. 336, 452 и 226. Ср. статью Варовчикова в Журнале Мин. Вн. Дел 1839 г. в отд. Смеси, под заглавием: «Признаки древности Холмогор», стр. 88–91. — к.]

Далее, снабжение слова Jumala, употребляемого в значении собственного имени, эпитетом ilmainen служит также подтверждением его тождества с Укко. Христанскому богу нельзя дать этого эпитета, особенно в молитве такого содержания, как в 25 руне Калевалы, ст. 351–362, которую мы здесь приводим.

Itse ilmainen jumala  
 Valjastele varsojasi,  
 Rakentele ratsujasi,  
 Aja kirja-korjinesi  
 Läpi luun, läpi jäsenen,  
 Läpi liikkuma-lihojen,  
 Läpi sounten soljuvaisten,  
 Liitä luu lihoa myöten,  
 Suoni suonen päätä myöten,  
 Luo hopea luun lomahan,  
 Kulta suonen sortumahan.

Сам, о Юмала воздушный,  
 Снаряди своих коней,  
 Заложь своих ретивых  
 В пестры сани, пронесись в них  
 По костям и по суставам,  
 По трепещущему телу,  
 Вдоль по перерванным жилам;  
 Прикрепи к костям ты тело,  
 Жилу к жиле привяжи ты,  
 Серебром наполни кости,  
 Золотом — разрывы жил.

Припомним также общеупотребительное финское выражение: Jumalan ilma (воздух, ветер Юмалы): оно уже достаточно показывает, что слово Jumala у древних Финнов означало первоначально не всякого бога вообще, а особенное небесное божество. По верованию Финнов, не всякое божеское существо имело власть над воздушным пространством: власть эта была присвоена одному, могущественному богу, который в рунах обыкновенно называется Укко, но первоначально назывался, кажется, Юмала. Едва ли нужно замечать, что помянутое финское выражение никак не может быть переводом шведского herrans väder (господня погода), потому что финское выражение имеет другое, несходное с шведским, значение<sup>1</sup>, и, во-вторых, подобные выражения встречаются и у многих, других, родственных племён. В таком же духе выражаются о погоде, между прочим, и Самоеды: напр, tanser nungana — *ненастье у Нума*.

Касательно вопроса о первобытном значении слова jumala замечательно то обстоятельство, что учёные, пытавшиеся объяснить этимологию этого слова, так часто искали его корня в слове, означающем небо или что-либо относящееся к нему, как-то: свет, гром и т.д. Трудно думать, чтоб это было делом случая: гораздо вероятнее, что с течением времени всё ещё носилось тёмное представление о том, что имя Jumala во времена язычества означало небесное божество. Что же касается до Ленротова производства этого слова, то он, бесспорно, верно указал его корень в ономатопоэтическом слове jum (jumi) *шум, гром*, потому что, не говоря о близости этого корня к объясняемому слову по звукам, весьма вероятно, что из всех естественных явлений удары и раскаты грома всего сильнее вызывали в грубом сыне природы мысль о высшей силе.

Выше я показал, что слог la в окончании Jumala (то же, что lā после мягкой гласной в теме) есть местное окончание. Спрашивается: по каким причинам слово Jumala получило это окончание? Вопрос важный; между тем наши изыска-

<sup>1</sup> В языке рун выражение jumalan ilma означает не ясную (господню) погоду, а воздух бога Юмалы. Так напр. в Калевале, рун. 13, стих. 97: eip'on ilmalla jumalan, tämän taivon kannen alea и т.д. *нет в воздухе Юмалы, под кровом сего неба* и т.д.



тели древности, сколько мне известно, вовсе не обращали на него внимания. Можно подумать, что они не надеялись найти для него удовлетворительного решения; между тем дать на него ответ всего легче. Если *jum* (*jumu*) значит *гром*, то *jumala* должно значить место (страну), где находится гром, то есть небо: стало быть, *Jumala* значит то же, что самоедское *num*. Таким образом *Jumala*, по этимологии, есть синоним ныне общеупотребительного финского слова *taivas*, и есть достаточные причины думать, что древние Финны материальное небо действительно называли словом *Jumala*. Слово *taivas*, как заметил и Шотт, в финском заимствовано из индо-германских языков. Во всём племени языков алтайских слово это, сколько мне известно, встречается только в финском и эстонском. Даже в лапонском языке оно неизвестно.

Нетрудно заметить, что окончание *la* (*lä*) значит в слове *Jumala* не совсем то же, что в разных других мифологических названиях, как напр. *Ahtola*, *Tapiola*, *Tuonela*, *Manala*, *Kalevala*, *Wäinölä* и т.д. Здесь слог *la* (*lä*) имеет теснейшее значение «жилища». В финской мифологии, как я постараюсь развить подробнее ниже, господствует мысль, что боги имеют свои особенные места для жительства<sup>1</sup> или в виде двора, в котором бог живёт, как какой-нибудь богатый семьянин, или в виде замка, где он господствует как царь. Почти такое же представление находим мы и в лапонской мифологии, хотя здесь оно выражается не окончанием *la* (*lä*), означающим местность, а самостоятельным словом *aimo* или *aibmo*, напр. *Jahme-aimo*, *Sarakka-aimo*, *Saivo-aimo*, *жилище смерти*, *Сараки*, *Сайва*. Клемм предполагает, что это представление у Лапонцев и, стало быть, тоже и у Финнов, заимствовано из учения Эдды. «Всё учение об *аймах*, — говорит он, — я готов признать подражанием германскому учению Эдд и их различным хеймам (*Muspelheim*, *Niflheim*, *Jotunheim*), тем более, что колдуны в своём учении мало обнаруживают между собою согласия и украшают окружность своей бедной природы чужими произведениями»<sup>2</sup>. Я давно уже ношу в своих мыслях такой же точно взгляд и нахожу для него сильное подкрепление в том обстоятельстве, что мысль о жилищах богов является только у тех из финских народов, которые имели близкое соприкосновение с германскими племенами. Кажется также, что, если бы это представление у финских народов было действительно первобытным, оно должно бы было выразиться одинаковым, или, по крайней мере, не столь различным образом, как выражается у Финнов и Лапонцев.

Но, как бы то ни было, имя *Jumala* я признаю чисто финским словом и заключаю это как из показанной выше разницы значения, которое нисколько не напоминает германских божеских хеймов, так и из того ещё обстоятельства, что слово это встречается у разных финских народов, сохраняя в себе по крайней мере следы местного окончания *la* даже в тех языках, которые не имели ни малейшего сообщения с германскими, как напр. зырянский<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> [Первобытные жители Оландских островов, по всей вероятности, были Финны или Лапонцы, от чего и у них встречается название *Jomala*. См. *Gesch. Srwedens von Geijer*. Hamb. 1832. Т. I, стр. 94. Ср. Северный Архив за 1823 год. Часть VI, стр. 29. — к.]

<sup>2</sup> *Allgemeine Kultur-Geschichte der Menschheit* ч. 3, стр. 76.

<sup>3</sup> [В высшей степени замечательный след сохранился ещё у Вотяков: в словаре при вотяцкой грамматике Видемана (*Grammatik der wotjakischen Sprache*. Reval 1851. стр. 308) стоит выражение: *jumalasion* с значением *жертвенная снедь*; буквально оно может значить только *божья снедь*. — III.]

Если все изложенные нами соображения верны, то слово Jumala у древних Финнов имело тройное значение: 1) значение неба, 2) бога неба и 3) бога вообще. Первые два значения и у многих других народов совмещаются в одном слове. Так китайское tien значит и небо и бога неба. Такое же двойное значение имеет в тюркских наречиях слово tengri, в мокшанском наречии мордовского языка слово skei, у енисейских Остяков es и т.д. Самоедское num, как мы видели, имеет все три значения, только последнее меньше употребительно у некрещёных Самоедов. Весьма близко также по значению к Финскому Юмале монгольское tengri или tegri: по словарю Ковалевского, оно значит 1) небо (ciel) и бога неба (génie du ciel), 2) божество вообще (divinité), 3) всякого рода духов, добрых и злых, небесных и земных (esprits, génies terrestres et célestes, bons et mauvais)<sup>1</sup>.

Древнейшим, первобытным из всех этих значений, естественно надобно признать чувственное, вещественное значение слова: потому что ум человеческий, по самому существу своему, только мало-по-малу восходит от чувственного к сверхчувственному, от частного к общему, от конкретного к абстрактному. Вещественное значение рассматриваемого слова донныне сохранилось во многих из упомянутых языков, напр. в самоедском, якутском, в енисейско-остяцком, в некоторых языках южной Сибири и т.д. Но могучие и величественные явления, совершающиеся в природе, мало-по-малу воспитали в умах мысль, что небо должно быть божественным существом,— и мы видели, что Самоеды почитают в качестве бога собственно небо. Точно также, без сомнения, было у других родственных народов. По крайней мере о Финнах Ленрот утверждает, что Jumala есть их древнейший бог, потому что другие их божества большею частью неизвестны прочим народам этого племени, и потому должны быть позднейшего происхождения. Но исключительное поклонение небу, по естественному ходу вещей, мало-по-малу должно было уступить место обоготворению всей природы, потому что небо, при всей своей силе и великолепии, составляет всё же отдельный, ограниченный предмет, и его почитание не может вполне удовлетворить религиозной потребности человека. И дикарь обнаруживает инстинктивное влечение к бесконечному, как истинному предмету своего поклонения, и как бы ощупью ищет его вокруг себя. А опыт ежедневно даёт ему чувствовать, что, кроме небесных явлений, в природе есть вещи, беспредельно превышающие силу человека, есть явления, которыми он не может располагать по своей воле. Неукротимые волны моря, всепожирающее пламя огня и сама земля с поднебесной высотой гор, со своими тёмными лесами, дикими зверями — все эти и другие бесчисленные предметы дают чувствовать грубому сыну природы своё превосходство и неодолимо располагают его преклониться перед их силою с благоговейной молитвой. Таким образом мысль о божестве всё более и более расширяется, и число обоготворяемых предметов, по этому общему закону развития естественных религий, легко может расширяться до бесконечности. Но истинная бесконечность не может быть без внутреннего единства. Поэтому почитание отдельных естественных предметов, хотя бы число их простиралось до беспредельности, не может удовлетворять религиозной потребности человека. Мало-по-малу человек начинает догадываться, что в этих разрозненных предметах действует одна и та же сила, что все они проникнуты одним и тем же божеским существом. Такое, без сомнения, предощущение единства

<sup>1</sup> Dictionnaire Mongol-Russe-Francais. Т. III, p. 1763.

побуждало Самоедов называть одним и тем же именем солнце, землю, море, когда они хотели выразить божественное их свойство, — называть одним именем, первоначально принадлежавшим небу или небесному божеству. По той же причине монгольское *tengri* и Финское *Jumala*, первоначально означавшая небо и бога неба, получили мало-по-малу значение бога вообще. Когда же со словом *jumala* стали соединять последние два понятия, оно стало терять своё конкретное значение, для выражения которого явились новые слова. Такой заменой слова *Jumala* в смысле неба явилось у Финнов слово *taivas*, а в смысле небесного бога — *Укко*.

## II. УККО

В предыдущем объяснении я старался доказать, что слово *Jumala* в финском языке первоначально не было общим эпитетом богов, но имело частное значение «неба» и «бога неба». Между тем слово это, как я старался также показать выше, уже во времена язычества получило значение божественного существа вообще, а на место его в смысле личного имени небесного бога явилось слово *Укко*. Ленкквист<sup>1</sup> полагал, что *Укко* есть древнейший бог Финнов, — и в отношении к понятию этого слова я говорил то же самое; но что касается до звуковой стороны слова, то употреблению его в значении «бога неба» я не могу приписать глубокой древности. Ниже мы увидим, что *Укко* своим собственным и коренным значением предполагает мысль о личном боге. Но такое представление о божестве у языческого народа не может быть древнейшим, и что касается собственно Финнов, то из их рун открывается ясно, что у них сначала господствовало почитание сил природы. Если бы имя *Укко* в этом значении действительно происходило из отдалённой древности, то оно, без сомнения, должно бы было находиться и у других родственных народов: между тем за границей Финляндии оно встречается, сколько мне известно, только в Эстляндии и, при некотором видоизменении формы, у Лапонцев. В других же значениях слово это весьма распространено между народами этой фамилии. В мадьярском языке оно является в форме *agg* с значением *старика*. У югорских Остяков оно выговаривается *jig* и значит *отец*, впрочем служит ещё эпитетом медведя, для выражения божеского достоинства, признаваемого в этом звере. В якутском от того же корня есть слово *aga*, означающее *отец*. В других восточных тюркских наречиях слово *ага* или *ака* выражает понятия старшего брата, дяди по отцу или по матери, деда также с обеих сторон и старшего по возрасту вообще. Османским Туркам это значение слова *ага* или *ака* неизвестно, но у них это слово служит почётным титулом высших по званию, особенно военных. У восточных Тюрков и у Маньджуров *агу*, *аге*, значит: *господин*<sup>2</sup>. В монгольском тоже есть родственное слово *ака*, *ача*, означающее собственно старшего брата, но употребляемое и о старших по возрасту вообще, и кроме того, оно же служит титулом высших лиц. «C'est une expression respectueuse, comme en français monsieur», говорит г. Ковалевский<sup>3</sup>. Легко усмотреть, что все эти значения в помянутых языках состоят в связи между собою. По своему коренному значению,

<sup>1</sup> De superstitione etc., I, p. 27.

<sup>2</sup> Schott, Ueber das Altaische oder Finnisch-Tatarische Sprachengeschlecht, стр. 65.

<sup>3</sup> Dictionnaire Mongol-Russe-Francais, стр. 22.

слово это есть название мужского лица, почитаемого старшим, как-то: деда, отца, дяди по отцу и по матери, старшего брата. Позднее отсюда развилось значение мужского лица, почитаемого старшим не только по возрасту, но и по званию. Оба эти значения имеет и финское Укко, потому что слово это означает 1) деда со стороны отца или матери, и также всякого женатого; 2) старого человека, старика, прадеда.

Все эти соображения касательно действительного значения слова невольно ведут к заключению, что слово Укко первоначально было не личным божеским именем, а благоговейным эпитетом (*une expression respectueuse*) одного или многих богов, как родственные ему слова в тюркском, монгольском и маньчжурском составляют почётный титул уважаемых лиц, и как Остяки словом *jig* и Якуты словом *äsä* (дедушка) величают медведя<sup>1</sup>. У языческих народов этот способ выражать почтение весьма обыкновенен. Так у остяцко-самоедского племени бог *num* часто получает эпитет *ildja* или *ildscha*, сходный с финским Укко в обоих значениях. Из других, близких к Финнам народов, Шведы доньше называют бога-повелителя грома *god gubben*, *gofar*. Латинское *Jupiter* значит буквально *бог-отец*, в немецком бог называется иногда *der alte Gott*, *der alte Vater*<sup>2</sup>.

В подтверждение моего мнения о первоначальном употреблении Укко только в смысле эпитета богов служит ещё то, что этим именем в старинных финских рунах называется не одно какое-либо божество исключительно. Это обстоятельство не ускользнуло от пронизательного взгляда Портана. Ленкквист, в упомянутом нами рассуждении, признаёт Укко верховным богом неба (*totius aulae coelestis senior et praeses*), но прибавляет, что, по мнению Портана, этот взгляд подвержен многим сомнениям, между прочим, потому, что имя Укко = *старик* употребляется также в виде нарицательного имени и может быть эпитетом и других божеств (*alii cuidam numini*) в значении почтительного названия. Сверх того — продолжает Ленкквист — названия старика (*ukko*), кроме богов, иногда удостоиваются и другие предметы (*aliae res*), когда надобно выразить как бы почтение к ним (*enerationis quasi testandae caussa*). Когда хотят напр. задобрить к себе медведя, то, обращаясь к нему с ласковыми словами, называют его — мы разумеем, в песнях — *ukkoiseni*, *linduiseni* (*lintuiseni*), *kaunoiseni*, *kuldaiseni* (*kultaiseni*), т.е. *милый мой старик*, *птичка моя*, *красавец мой*, *золотой мой* и т.д. В другой раз, когда дело идёт о счастливой охоте на зайцев, и где потому молятся, вероятно, богу Тапио, а не Укко, к нему обращаются в следующих выражениях:

Anna usko (*ukko*) uuhiansi,  
Anna oinahat omansi, -----  
Ukko kullainen kuningas  
Tuuvos ilman tuusimata,  
Varomata vaaputtele.

Дай своих овец мне, Укко,  
Собственных своих баранов,  
Укко, царь мой золотой,  
Пригони их незаметно,  
Пусть они и не почуют.

<sup>1</sup> В таком же смысле Якуты называют большие реки и озёра словом *äbä*, которое значит собственно бабушку с матерней стороны; см. Böhtlingk, Ueber die Sprache der Jakuten, Jak.-Deut. Wörterbuch, стр. 15.

<sup>2</sup> См. Grimm, Deutsche Mythol., в первом издании, стр. 15, 113 (во 2-м изд. стр. 19, 153). Ср. Pott, Etym. Forschungen, I, 100.

Эти и другие подобные наблюдения Портана, конечно, верны, но далеко не так полны, чтобы могли уяснить значение слова Укко в финской мифологии. В настоящее время, когда собрания рун стали несравненно богаче и общедоступнее, можно прямее попасть на следы этого значения.

По народному представлению, совершенно ясно выражающемуся в старинных наших песнях, могущественные боги живут, как замечено выше, в домах или в замках, окружённые более или менее многочисленным семейством. В главе таких семейств всегда стоят ukko и akka (отец и мать семейства). Укко называется также хозяином — isäntä, старшим — vanhin, отцом — taatto или isä, а иногда и князем — kuningas, владыкой — valtiainen или hallitsia и т.д. С другой стороны akka называется почтенной старушкой — eukko (по Ренвалю, *matrona vetula*), хозяйкой — emäntä, матерью — emo, emonen. Точно также бог моря, Ahti, называется в рунах водяным стариком — veen ukko, князем волн — aaltojen kuningas, а богиня воды Wellamo — водяной хозяйкой — veen emäntä. Бог леса, Tapio, носит имя лесного старика — metsän ukko, старика в Тапиоле — Tapiolan ukko, горного старика — kummun ukko, а богиня леса Tellervo является под именем лесной хозяйки — metsan emäntä. Бог смерти Tuoni называется туонийским стариком — Tuonen или Tuonelan ukko, а его жена — туонийской старухой — Tuonen akka. Руны говорят ещё о первохозяине — peri-isäntä, о старце земли — mannun eukko, и о матери земли — maan emo, emonen и т.д. Точно также и бог неба называется taivahan ukko — небесным старцем, ilman ukko — воздушным старцем, taivon taatto или taatto taivahinen — небесным отцом, mies vanha taivahinen — старым небесным мужем, ilman kullanen kuningas, hopeinen hallitsia — золотым царём, серебряным владыкой воздуха, taatta taivon valtiainen — отцом, господствующим на небе, и т.д. Как metsän ukko ныне служит эпитетом бога Tapio, veen ukko — эпитетом Ahti, Tuonen ukko — бога Tuoni, так выражение taivahan ukko первоначально было эпитетом бога неба или Юмалы. Когда же слово Jumala мало-по-малу получило обширнейшее значение бога вообще, тогда личное значение бога неба стали соединять с именем Укко. Думали, конечно, что бог неба, как самый значительный в числе богов, предпочтительно пред всеми заслуживает названия Укко, то есть праотца, старца. По замечанию Ленкквиста, он называется ещё в иных местах isäinen, — уменьшительным от isä *отец*, стало быть, батюшкой. В эстонском языке Укко называется обыкновенно vanna issa или vanna taat — праотцом. Никто, конечно, не будет сомневаться, что слова isäinen, vanna issa, vanna taat, искони употреблялись в качестве эпитетов; но то же самое, естественно, надобно заключить и о слове ukko, потому что оно, по своему значению, весьма немного разнится от других эпитетов.

Первоначальное употребление слова ukko только в качестве эпитета подтверждается ещё тем, что оно чрезвычайно редко является в рунах без прибавления какого-нибудь другого слова или выражения, которое показывает, что речь идёт именно о небесном Укко. Часто он называется ylijumala — вышним богом, taivahan jumala — богом неба, ilmojen jumala — богом воздухов; иногда же taivahan naaranen — пупом неба, pilvien pitäjä — тучедержцем, hattarojen hallitsia — властителем мелких облаков, не говоря о многих других, уже приведённых нами, названиях. Частое употребление таких слов в дополнение к слову ukko произошло, без сомнения, от того, что слово это не было собственно личным, или, говоря

грамматически, собственным именем, и само по себе казалось не довольно точным названием для бога неба. Впрочем в рунах встречаются места, где Укко, без всякого пояснительного слова, значит бога неба, как напр. в Калевале, рун. 18, ст. 421: *laske ukko uutta lunta* пошли, Укко, свежий снег, ст. 425: *laskip' ukko uutta lunta* послал Укко свежий снег; рун. 45, ст. 237: *jos ei minussa miestä liene, ukon pojassa urosta...* Онп' он itsessä ukossa, joka pilviä pitävi, если я сам не муж, если сын Укко не герой, то, конечно, муж — сам Укко, что правит облаками; рун. 47, ст. 46: *ukon ilman istumilla* в воздушных странах Укко, ст. 50: *ikävä itsen ukonki* скучно было самому Укко (жить во тьме) и т.д. Ниже мы увидим, что *ukko* употребляется ещё в виде собственного имени бога грома. Личное значение этого имени видно и в разных общеупотребительных выражениях, например: *ukon kaari* лук Укко, то есть радуга, *ukon kivi*, *ukon pii* огневой камень Укко, т.е. кремь, *ukon tuhnio* *Lycoperdon bovista*, *ukon lehti*, *ukon lummet caltha palustris*.

Показав разные значения слова *ukko* в финских рунах, мы должны теперь ближе войти в представления, соединяемые с этим словом, когда оно употребляется в виде собственного имени особенного божества. Выше я уже сказал, что Финны представляли Укко владыкою неба, воздушного пространства, и что вследствие того он получает эпитеты: *taivahan jumala* небесного бога, *taivon tattu* небесного отца, *taivahan Ukko* небесного Укко, *ulijumala* вышнего (вверху живущего) бога, *ilmojen jumala* бога воздуха, *ilman kuningas* царя воздуха, *mies taivahinen* небесного мужа и т.д. Его представляли сидящим на облаке, и потому называли *pilven raallinen jumala* богом, живущим на облаке. Местопребыванием его на небе считали самую средину неба, и потому называли его пупом неба — *taivahan paranen*. Кажется, воображали, что он как-то держит на себе небесную твердь, потому что в рунах он часто называется *ilman kaikken kannataja* — держателем всего воздуха. Вероятно, думали, что он находится в известном месте, подобно другим небесным телам, и держит всю твердь на своих могучих плечах. Впрочем его не представляли привязанным этой службой к одному месту: по народному верованию, он мог носиться, где ему угодно. Так в Калевале, рун. 47, ст. 59 и след., говорится, что он странствовал по небу на облаке, отыскивая солнце и месяц, спрятанные в горе хозяйкой Похйолы. При этом случае на нём были синие чулки и пёстрые башмаки (*sukassa sinertävässä, kirjavassa kaplukassa*). В других случаях его изображают наряженным и вооружённым мужчиной. Рубашка на нём огненная (искромётная). Радуга составляет его лук и потому называется, как мы сказали, *ukon kaari* — луком Укко. Он мечет из него стрелы, сделанные из меди и называемые, как и самый лук, огненными. Молния представляется его мечом и называется в рунах *tulinen miekka* огненным мечом, *miekka tuliteranen* мечом с огненным лезвием, *säkehinen säilä* блестящим лезвием меча. К числу его оружия принадлежит также молот, напоминающий молот Тора в скандинавской мифологии.

Финские руны, кажется, не дают Укко, как многим другим богам, особенного жилища и ничего не говорят определённо о его семействе. Но старинные мифологи сообщают, что и у него была акка, называвшаяся, по словам епископа Агриколы, *Rauni* и признаваемая у Карелов богинею грома. *Qvin Rauni ukon naini härsky*, *Jalosti ukoi pohjasti pärsky*, т.е. когда гремела жена Укко, Рауни, гремел и сам Укко изо всех сил, сказано в известном стихотворении Агриколы о языческих

богах древних Финнов. Имя Рауни, как заметил Ленкквист, вовсе не встречается в наших старинных песнях, и потому сомневались в его подлинности<sup>1</sup>, тем более, что из приводимых Агриколою и некоторые другие имена чужды финским рунам и сказкам, и даже явно противоречат фонетическим законам финского языка, как наприм. Kratti, Rongoteus, Egres и др. Но положим, что имя Рауни чужое в Финском языке: всё же надобно допустить, как утверждает Ганандер, что Укко имел жену, по имени Акка (или Акко), — имя, вместо которого в разных местах употребляется Ämmä, как вм. ukko — äijä. В доказательство действительного существования такого божества в народном веровании, Ганандер приводит отрывок из рун, в котором уговаривают пчелу (mehiläinen), чтобы она опустила свои крылышки в корзину старой Акки (Akan vanhan vakkasehen) и достала оттуда мёду. Вскоре мы увидим, что Акке или Эмме были посвящены и носили её имя реки, озёра, водопады; а в доказательство того, что она была женой Укко, довольно привести предание, сохранившееся в Лапландии и Финляндии, в котором Укко и Акка прямо выступают супружеской четой. Имели ли они детей, как многие другие божества у Финнов, этого вопроса я не могу не коснуться, потому что в рунах часто встречается выражение ukon poika — сын Укко, и понято в буквальном смысле даже Я. Гриммом. А мне кажется, что ukon poika есть Фигуральное выражение, употребляемое для обозначения могущественных лиц, особенно колдунов, которые в таком же смысле называются даже богами — jumalat и земными богами — maa-jumalat. Так объясняю я это выражение потому, что оно употребляется только в тех случаях, когда надобно прогнать болезнь, злого духа, вообще враждебные силы, и когда хотят дать им почувствовать, что им предстоит борьба с мощным противником и что, поэтому, для них всего благоразумнее вовремя уступить своему противнику. Колдун говорит при этом: «Не будь я мужем, не будь я, сын Укко, героем, чтобы прогнать тебя, я призвал бы себе на помощь другие силы, напр. Укко, Лемпо и др., которые учинили бы над тобой жесточайшую расправу». Итак, колдун называет себя сыном Укко, кажется, для того только, чтобы навести страх на своего врага. Но что этого выражения нельзя принимать в буквальном смысле, видно из 10 руны ст. 178 старинного издания Калевалы, где Випунен называет себя ukon poika, тогда как сам Укко в следующем стихе называет его своим veikko, т.е. братом или даже товарищем!.. В новой Калевале и Веннемёйнен называет себя ukon poika (рун. 45, ст. 237), а между тем в первой руне было уже сказано, что родителями его были ветер и дева Ильматар. В старинном издании Калевалы, рун. 4, ст. 257, даже обыкновенный колдун хвастается, что он — ukon poika. Как ясно, что в этих местах рун ukon poika означает только могущественного волшебника, столько же тёмным остаётся для меня, к какой стати эпитет äiön (äijön) poika даётся в Калевале, рун. 42, ст. 450 и дал., злобному морскому богу Турсо, которого Вейнемёйнен заклинает никогда не подымать из волн свою голову. Могло стать, что под именем Аю древние Финны чтили какое-нибудь божество, отличное от Укко, но руны не дают нам об этом никаких сведений. По поводу семейства Укко можно заметить ещё мимоходом, что он создал несколько женских божеств, называемых Luonnottaret, которые в

<sup>1</sup> Финн Магнусен не без основания предполагает, что Rauni, по крайней мере по своему имени, есть одно и то же лицо с богиней Ran в Эддах, которая по исландскому выговору называется Raun. Eddalaeren og dens Oprindelse, К. 4, стр. 257.

рунах представляются покорными ему служебными духами. Изображение их я откладываю до другого случая.

Если наши старинные песни вообще мало занимаются семейными обстоятельствами Укко, так это потому, что у него были дела поважнее домашних. Могущественного бога неба Финны представляли выше обыкновенных занятий: всё, что он производит, должно было быть, по их понятию, великим и необычайным. Одним из важнейших его дел было управлять течением облаков, вследствие чего руны беспрестанно величают его тучедержцем — *pilvien pitäjä* и владыкой мелких облаков — *hattarojen hallitsia*. Господствовать воздушными облаками, оказывающими столько влияния на предприятия мореплавателей, охотников и земледельцев, было, в глазах Финнов, великим делом. Китайские летописи повествуют о народе Гионгну, что шаманы этого народа повелевали облаками и могли низводить из них снег, град, дождь и бури. Почти то же рассказывают скандинавские саги о наших собственных предках. Но финские руны приписывают такую силу только могущественнейшему из богов. Даже Вейнемейнен не мог низвести дождя на свои посевы собственной силой, и просить об этом Укко, взывая к нему следующими словами:

Oi ukko ylijumala,  
Tahi taatto taivahinen,  
Vallan pilvissä pitäjä,  
Hattarojen hallitsia!  
Piä pilvissä keräjät,  
Säkehissa neuvot selvät,  
Jätä iästä pilvi,  
Nosta lonka luotehesta,  
Toiset lännestä lähetä,  
Etelestä ennättele,  
Vihmo vettä taivosesta,  
Mettä pilvistä pirota  
Orahille nouseville,  
Touoille tohiseville!

Боже вышний, Укко,  
Ты, отец небесный,  
Тучам повелитель,  
Царь над облаками!  
Рассуди ты в тучах,  
Пореша ты в небе,  
И пошли с востока  
Тучу дождевую,  
Подними другую  
С северо-востока,  
С запада иную  
И иную с юга,  
Окропи с них мёдом  
Поднявшийся колос,  
Шумящие нивы.

(Калев. рун. 2, ст. 317–330)

Точно также Ильмаринен, собираясь ехать в Похиолу для сватовства и потому имея надобность в зимнем пути, обращается к Укко и умоляет о снеге (Калев. р. 18, ст. 421–424). При другом случае Ильмаринен молит того же Укко, чтобы он нагнал тучи с востока и запада и ниспослал лёд и снег для исцеления его раны от ожога (Кал. р. 48, ст. 356 и далее). Лемминкейнен, видя, что его преследуют жители Похиолы, обращается в орла и взлетает на воздух, но солнечные лучи опаляют ему лицо, и он молит Укко о пасмурной погоде и хотя немногих облаках, под защитой которых он мог бы возвратиться к своей матери (Кал. р. 28, ст. 27–46). Желая поймать быстрого коня Гийси, Лемминкейнен взывает опять к Укко и просит, чтобы он, отец неба, отворил окно и пустил из него ледяной град и лёд, чтобы задержать быстрый бег коня (Кал. р. 14, ст. 304 и сл.). Такого рода



молитвы очень часты в рунах; но, опуская другие, я приведу одну, в которой владелица Похиолы спрашивает у Укко бури и непогоды. Молитва эта находится в Калевале, р. 42, ст. 358–366, и состоит из следующих выражений:

Oi ukko ylijumala,  
Ilman kultainen kuningas,  
Hopeinen hallistia!  
Rakenna rajuinen ilma,  
Nosfa suuri säien voima,  
Luo tuuli, lähetä aalto  
Aivan vastahan venettä.  
Jott' ei päästä Wäinämöisen,  
Kulkea Uvantolaisen.

Боже вышний, Укко,  
Золотой царь неба,  
Владыка серебряный!  
Пошли бурю-непогоду,  
Возмути ты воздух,  
Ветер, волны подними  
Той ладье напротив,  
Чтоб не спасся Вейнемейнен,  
Не ушёл Увантолайнен.

Как владыка неба и воздуха, Укко, естественно, должен повелевать громом и молнией, и в этих-то именно Феноменах он являет всю свою силу. Выше я высказал догадку, что, может быть, именно гром пробудил в грубом сыне природы первую мысль о божеском существе: и что именно так было у наших предков, казалось мне тем вероятнее, что само название древнейшего бога Финнов, Юмалы, имеет этимологическую связь с выражением, намекающим на гром. Впоследствии, когда Юмалу стали называть Укко, на это имя перенесено и понятие бога грома: это совершенно ясно открывается из господствующего ныне употребления слова *ukko* или *ukkonen* (уменьшительное от *ukko*) в значении грозы. Происхождение этого значения необходимо предполагает, что Укко признавали богом грома. В этом качестве он и в рунах получает особенные названия, именно: *rauannet* гремящий, *remupilven reunahinen* сосед громовой тучи, *jumupilvien pitäjä* владыка грозных туч. В качестве властелина молнии, он, сколько мне известно, не имеет особенного эпитета, если только слово *pitkäinen* не имеет этого значения<sup>1</sup>: это доказывает, что в лице Укко Финны чтили больше бога грома и грозы, чем бога молнии. Из наших домашних источников нельзя, наверное, определить, посредством какого действия Укко производит гром? Выражения: *ukko* или *ukkonen rauhaa*, *jyskuu* Укко гремит, *ukon* или *ukkosen julinä*, *jurinä* гром Укко, ничего не решают в этом отношении. Ближайшие наши соплеменники, Эстонцы, о громе говорят: *vanna issa hüab*, *mürristab* дед кличет, ворчит: это показывает, что гром исходит как бы из могучих уст Укко. На то же намекают, может быть, и эпитеты Укко в Калевале: *puhki pilvien puhuja*, *halki ilman haastelia* говорящий из облаков, говорящий через воздух. Что же касается до молнии, то она, по представлению Финнов, происходит от того, что Укко машет своим искромётным мечом, или же от того, что он выпускает огонь, когда в его небесном жилище становится темно: на это указывает донныне общеупотребительная финская фраза: *ukko iskee tulta*, *valkiata* молния сверкает, собственно: Укко высекает огонь (срав. Калев. рун. 47, ст. 67 и след.). Замечательно, что в рунах никогда не умоляют Укко поднять гром. Причиной тому был, вероятно, страх, внушаемый этим явлением, страх, донныне в разных местах Финляндии господствующий до

<sup>1</sup> *Pitkäinen* — уменьшительное от *pitkä* — относится, вероятно, к высокому росту Укко.

Может быть, этот эпитет намекает также на длинный луч падающей молнии.

того, что Финн во время грозы не смеет произнести самое имя Укко, боится выговорить брань или какое бы то ни было непристойное слово, и особенно прогневить Укко каким-нибудь непристойным поступком<sup>1</sup>. Притом Финны, как и прочие их соплеменники, считали за величайший грех и непристойность — отводить гром заклинаниями, причём, кажется, принималось в расчёт, между прочим, следующее соображение: зачем накликают на себя это ужасное явление, когда, заглянув в свою совесть, никогда нельзя считать себя безопасным от сокрушительного действия небесной силы? Молния казалась далеко не так страшной, и потому встречаются иногда мольбы к Укко, чтобы он, с огненным лезвием своего меча, поспешил на помощь страдальцу и разогнал все враждебные силы. Его молят также, чтобы он дал этот меч самим нуждающимся в его помощи, чтобы они могли сокрушить им всех злых духов, все враждебные силы. Так Лемминкейнен поёт в Калевале, рун. 12, ст. 279 и след.:

Oi ukko ylijumala,  
 Taatto vanha taivahinen,  
 Puhki pilvien puhuja,  
 Halki ilman haastelia!  
 Tuo mulle tulinen miekka  
 Tulisen tupen sisässä,  
 Jolla haittoja hajotan,  
 Jolla riitsin rikkehiä,  
 Kaa'an maalliset kattehet,  
 Ve'elliset velhot voitan,  
 Etiseltä ilmaltani,  
 Takaiselta puoleltani,  
 Päältäpääni vierältäni,  
 Kupehelta kummaltani и т.д.

Боже вышний, Укко,  
 Праотец небесный,  
 Из туч говорящий,  
 В воздухе гласящий!  
 Дай свой меч палящий,  
 Меч в ножнах из пламени,  
 Чтоб защититься от беды,  
 Прогнать все несчастья,  
 Сгубить колдунов всех,  
 И земных и водяных,  
 Предо мною и за мною,  
 Надо мной и подле,  
 И справа, и слева.

И Вейнемейнен просит у Укко его пламенного меча, чтобы прогнать гадкие олицетворения болезней, созданные и насланные госпожой Похиолы для истребления рода Калевы (Калев. р. 45, ст. 253 и след.). Точно также Куллерво спрашивает себе наилучшего меча бога Укко и, получив его, пользуется им с таким успехом, что все толпы Унтамовы падают жертвой его острия.

К числу явлений, составляющих грозу, кроме грома и молнии, по представлению Греков и Римлян, принадлежало ещё одно, называемое *fulmen*, (стр. 521), и означавшее материю громового удара — летящую огненную стрелу. Стрелу эту разные народы представляют себе разным образом: в виде острого жала, клинообразного камня, топора, молота и т.д. Я уже заметил, что в финских рунах огненные стрелы называются камнями Укко, или его топором. Из этих орудий особенно страшны были Финнам стрелы. Желая зла своему врагу, они молили Укко взять свой лук, положить на него стрелу и поразить ею врага. Об этом молится в Калевале, рун. 13, ст. 264–276, супруга Ильмаринена следующими словами:

<sup>1</sup> Замечу мимоходом, что у народа Гионгну мытьё платья и других вещей относилось, как кажется, к числу действий, неугодных богу грома, за которые он карал громом и молнией.

Oi ukko ylijumala!  
 Jou'uttele jousi suuri,  
 Katso kaaresi parahin,  
 Pane vaskinen vasama  
 Tuon tulisen jousen päälle,  
 Tuönnytä tulinen nuoli,  
 Ammu vaskinen vasama,  
 Ammu kautta kainaloien,  
 Halko hartio-lihojen,  
 Kaa'a tuo Kalervon poika,  
 Ammu kurja kuoliaksi  
 Nuolella teräsненällä,  
 Vasamalla vaskisella.

Боже вышний Укко,  
 Натяни ты лук свой,  
 Огненный, огромный,  
 Осмотри свой лучший,  
 Положь стрелу медную  
 На огненный лук свой,  
 Спусти стрелу огненную,  
 Пусти свою медную,  
 Пусти её через мышки,  
 Через мясо плечевое,  
 Срази сына Калерво.  
 Убей злого до смерти  
 Той стрелою медною  
 С остриём из стали.

Почти в тех же выражениях молится потом и сын Калерво, прося помощи против супруги Ильмаринена. О камнях Укко в рунах не упоминается; да и молот его (*kultanen kurikka*), сколько я знаю, встречается только в одной молитве, где злые дочери туонийские взывают к Укко, чтобы он проложил этим оружием дорогу злым духам, которых они намеревались пустить по свету (Калев. рун. 45, ст. 139–146). Об огненной рубашке Укко упоминается также только в одном месте Калевалы, р. 43, ст. 197 и сл., где Ильмаринен испрашивает себе этого наряда для защиты своего тела на предстоящей войне с хозяйкой Похиолы. Мысль об этом наряде взята, без сомнения, от огненного, багрово-блестящего цвета туч, которые и называются рубашкой или шубой Укко, от того, что в такие тучи скрывается, или как бы облекается гроза. По той же причине Укко называется иногда *routapilvessä asuva* живущим в знойных облаках.

Как владыка молнии, Укко, естественно, имеет власть над огнём. Случилось, что огонь похитила Лоуги: Укко создал новый огонь, ударив ногтем об огненное лезвие своего меча. К этому пункту я возвращусь после; здесь же замечу только, что Укко, в качестве владыки огня, даются в рунах огненный меч, огненный лук, огненная стрела, огненная рубашка и другие подобные принадлежности.

Имея в своём распоряжении погоду и ветер, дождь, снег, град и т.д., Укко, естественно, должен был оказывать сильное влияние на землю, особенно на растения, как *Kudortscha Juma* у Черемисов и Укко у Эстонцев. Мы видели, как Вейнемейнен, засеяв своё поле, молит Укко о дожде. И Агрикола говорит в вышеупомянутом стихотворении, что урожай в руках Укко. *Se sis (siis) annoi ilman ja wden (vuoden) tulon*, говорит он, т.е.: итак он дал (хорошую) погоду и (хорошую) жатву. По этой причине Финны, весной, отправляли некогда в честь Укко праздник, на котором пили за его здоровье. *Ja qvin (kuin) keväkyluö kyluettin, Silloin ukon malja juotiin*, т.е.: и когда были посеяны весенние семена, тогда пили чашу Укко (т.е. за его здоровье), сказано в том же стихотворении. Память об этом празднике донине сохранилась в некоторых местах: я опишу его при другом случае. Здесь упомяну только, что в этот праздник Финны выставляли кушанья и другие дары на высокие горы и холмы, которые были посвящены Укко. От того, может быть, в Финляндии много гор, называемых *Ukonvaara*.

Власть, приписываемая Укко, была так обширна, что иногда простиралась даже на воду. Его влияние на эту стихию обнаруживалось не тем только, что он ниспосылал дождь и, как повелитель ветров, мог возбуждать и укрощать волны: ему приписываются действия на этой стихии, несродные с собственным его назначением. Так, в Кал. р. 40, ст. 17, Лемминкейнен умоляет бога неба, называя его Укко, чтобы он своим мечом с огненным лезвием провёл его лодку чрез шумный водопад. Он взывает при этом случае и к Акке, называя её aaltojen alainen (живущая под волнами), и молит, чтобы она поднялась из воды и сберегла лодку среди пенящихся волн своими руками. Что у Ukko или Äijä и Акка (Акко) или Ämmä есть какая-то связь с водой, видно из множества заимствованных от этих слов названий озёр, водопадов, бухт и т.д., напр.: Akon järvi (озеро Акко), Акка (залив), Akon koski (водопад Акко), Ämmä (водопад), Äijän paikka (Эйево место — большой водопад), Akon lahti (бухта Акко), Ämmän lahti (бухта Эммэ) и т.д. В финском языке встречается выражение ukon virtä (поток Укко), означающее стремление воды вниз по реке, и Ämmän virtä (поток Эммэ) — стремление воды против течения. Об этих названиях есть сага, в которой рассказывается, что первоначально реки были созданы иначе, именно: в каждой реке у одного берега вода текла вниз, у другого вверх; но лукавый, так много испортивший на свете, во вред людям дал и рекам нынешнее их течение.

Так как Укко древние Финны признавали могущественнейшим из своих богов, то в рунах он беспреданно призывается на помощь и нередко в таких случаях, где ему даже нехоти быть помощником. Выше я упомянул, что к нему взывают иногда о помощи в родах: это бывает впрочем не в обыкновенных случаях, а только в трудных родах, где нужна могущественнейшая помощь, как наприм., когда Ильматар рождала семисотлетнего Вейнемейнена или когда дочери Туонелы предстояло произвести девять злейших из злых духов. Его же призывал Вейнемейнен, чтобы остановить кровь, когда рассёк себе ногу так сильно, что обыкновенные средства никак не могли остановить крови, которая текла рекой. Лемминкейнен обращается к нему с просьбой о хороших, лёгких лыжах, на которых он мог бы поймать быструю лось Гийси (Кал. р. 14, ст. 13 и след.). Супруга Ильмаринена (Кал. р. 32, ст. 441 и след.) молит его даже защитить её стада от огромных и сильных медведей, хотя эта защита принадлежит собственно богу леса. Из всего этого видно, что есть несколько правды и в словах Ганандера, когда он отзывается об Укко следующими словами: «Ему приписывали разные качества и действия, к нему обращались при всех предприятиях и боялись его как ради его «старости, так и по причине силы». Ганандер хотел сказать этим, что Укко, по причине его необычайного могущества, призывали на помощь во всех возможных случаях, не исключая и тех, когда он, исполняя просьбу, должен бы был входить в круг деятельности других богов.

Сказанное о финском Укко почти всё можно относить и к эстонскому vanna issa, vanna taat, tara, ukko: там он называется разными именами. И здесь он владычествовал над небесным пространством и имел в своём распоряжении гром и молнию, тучи и ветры, дождь и снег, ведро и ненастье<sup>1</sup>. Вместе с тем он был врагом злых духов и побивал их своей молнией, своим мечом или луком<sup>2</sup>. Затем под его покровительством считалось растительное царство: в этом качестве

<sup>1</sup> Kreuzwald, Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Т. II, кн. 3, стр. 45.

<sup>2</sup> Ganander, Finnische Mythologie übersetzt von Peterson, стр. 17.

Эстонцы давали ему вначале весны такой же пир, как Финны своему Укко. Одна молитва, записанная в 1664 году Гутцлафом, взывает к нему под именем Picker (Picken) в следующих выражениях: «Милый Пиккер (woda Picker), мы приносим тебе быка с двумя рогами и о четырёх копытах, и просим тебя о наших пашнях и посевах, чтобы стебель на них был красен, как медь, а семена желты, как золото. Пошли куда-нибудь в другое место все чёрные, густые тучи, прогони их за большие болота, за высокие леса, за широкие топи. Дай нам на пашни и посеvy хорошую погоду и медовый дождь. Святой Пиккен, сбереги наши нивы, чтобы они принесли хорошие стебли снизу, хорошие колосья сверху и хорошие семена внутри». Легко заметить, что в этой молитве много сходного с молитвами Финнов к Укко, хотя он здесь является под необыкновенным именем Пиккер или Пиккен. Имя это произошло, должно быть, из формы Pickene, вместо которой в эстонском встречается ещё Pitkne: обе соответствуют финскому pitkainen, составляющему один из множества эпитетов Укко. Нетрудно было бы отыскать ещё множество сходств между представлениями Финнов и Эстонцев; но как это повело бы нас только к повторению сказанного выше, то я не считаю за нужное останавливаться на этом предмете. Можно заметить только мимоходом о некоторой разнице в понятиях об Укко у того и другого народа, именно, о том, что в эстонской мифологии Укко под именем vanna issa или vanna taat представляется виновником и творцом мира, чего вовсе не приписывается ему в финской мифологии.

Древним Лапонцам Укко был известен под именем Aija или Aije, Aijeke (умен. от Aije), соответствующим финскому Aija, и собственно означающим деда, но также и гром, напр. Aija jutsa или klibma значит: *гром идёт*, Jupiter tonat<sup>1</sup>. Говорят, что это имя употребляется в некоторых краях попеременно со словом atzhie, attje, которое, своим коренным значением (=отец), напоминает финский эпитет Укко isa и эстонские выражения vanna issa, vanna taat. В норвежском Финмаркене он встречается под именем Radien-attje, т.е. властвующий, могущественный отец, или повелитель-отец; но это название не может быть первобытным, потому что Radien — очевидно чужое слово, соответствующее шведскому rad, датскому raad (нем. Rath) и т.д.<sup>2</sup> По известиям некоторых древнейших писателей божество это называлось ещё некогда Tiermes или Diermes, Djermes. Но при всём множестве и различии имён, оно было чтимо в тех же самых качествах, как Укко у Финнов и Эстонцев: на это много можно найти доказательств у Шеффера, Ганандера, Гэгстрема и у других писателей. Ганандер сообщает, что Tiermes есть «верховный бог Лапонцев», повелевающий ветрами, морем и водой, властвующий над громом и располагающий здоровьем, жизнью и смертью людей<sup>3</sup>. И по словам Самуэля Рена (Rheen), Tiermes или, как он называет, Thor или

<sup>1</sup> Lindahl et Öhrling, Lexicon Lapponicum, p. 4.

<sup>2</sup> «Этот Raddien-Atzhie» — говорит Ессен (Jessen) — «по верованию Лапонцев, с беспредельной силой и властью господствует над небом и землёй, даже над всеми прочими богами и над самими Лапонцами и над всем, что есть на земле. Потому-то они и дали ему имя Radien, означающее силу и власть». Как самое имя, так и представление о свойствах этого божества, по мнению Ессена, произошло в позднейшие времена, под влиянием христианства. Он изображает Radien Alzhie всемогущим богом, творцом и хранителем мира, с единственным сыном Radien kiedde или Rarara-kied, означающим, очевидно, Спасителя; говорит также о подчинённых им Ailekes olmak или святых (от ailek, швед. helig, др.-сев. heilagr и olmak тварь) и т.д.

<sup>3</sup> Ganander, Mythol. Fennica, стр. 90.

Thordoen, почитается Лапонцами живым существом, которое производит гром на небе, а на земле имеет власть над счастьем и здоровьем, жизнью и смертью людей. «Его должность,— говорит Рен,— убивать и уничтожать колдунов, — и потом прибавляет: — радугою они называют луком Торса, из которого он стреляет и уничтожает всех колдунов, как скоро они захотят нанести ему какой-либо вред»<sup>1</sup>. Шеффер замечает при этом, что это же самое божество в народном веровании представляется с молотом (Aijeke vetschera) в руках, которым оно убивает колдунов и раздробляет им головы. Линдаль и Эрлинг излагают понятие об Aija следующим образом: «Прежде Лапонцы верили, что гром (aija) есть живое существо, обитающее в воздухе и подслушивающее речи людей. Если люди говорили о нём дурно или каким-нибудь образом прогневлили его, то он никогда не оставлял их проступков без наказания. Некоторые Лапонцы верили даже, что сам гром есть бог, преследующий колдунов и прогоняющий их с неба: наносимые им при этом удары производят гром»<sup>2</sup>. Подобно тому и Гэгстрем<sup>3</sup> сообщает, что Aijeke есть бог грома, и что важнейшее и собственное его дело — уничтожать колдунов и все призраки, что совершает он, по мнению Лапонцев, своим луком, т.е. радугой, называемой ими ajan joksa.

Отзывы приведённых нами писателей ясно показывают, что Лапонцы чтили в своём Aija или Tiermes бога неба и преимущественно грома. Шеффер замечает, что Aija под именем Tiermes был почитаем именно только в качестве бога грома (qui cum tonat, est Tiermes). Кажется, почти того же мнения был Лем (Leem), потому что имя Tiermes он переводит словом гром (tonitru). Ганандер, напротив, принимает это слово в обширнейшем значении бога неба, равно и Гэгстрем утверждает, что Шефферов Tiermes есть то же самое лицо, которое Лапонцы почитают под именем Aijeke (Aja, Atja)<sup>4</sup>. Хотя слова Tiermes мне не случалось слышать в Лапландии, при всём том я немало не затрудняюсь принять мнение Гэгстрема, потому что бог неба и бог грома почти у всех родственных народов есть одно и то же лицо, одно и то же существо. Притом слова, родственные по звукам с именем Tiermes (от темы Tierm или Dierm, Djerm) находятся у разных народов этой фамилии. У югорских Остяков слово Turm (Torm, Torom), как Num у Самоедов и Jiimala у Финнов, означает бога неба, бога грома и в обширнейшем смысле, бога мира. То же значение имеет чувашское Tora; а у Эстонцев Tara, как замечено выше, значит то же, что Укко у Финнов. Слова эти у названных народов, кажется, составляют собственное имя небесного бога, потому что нарицательного значения этой темы нельзя объяснить из их языков. Итак, небесный бог у Лапонцев и Эстонцев имел по два личных имени: Jubmal (Ibmel) и Tiermes, Jummal и Tara. Я отнюдь не считаю невероятным, а нахожу, напротив, очень правдоподобным, что названия Tara и Tiermes сменили Jummal и Jubmel, когда в этих последних первобытное значение бога неба утратилось. А туземные ли слова Tara и Tiermes, или заимствованы из языков индо-германских, это — вопрос, которого я не берусь решить в настоящую минуту.

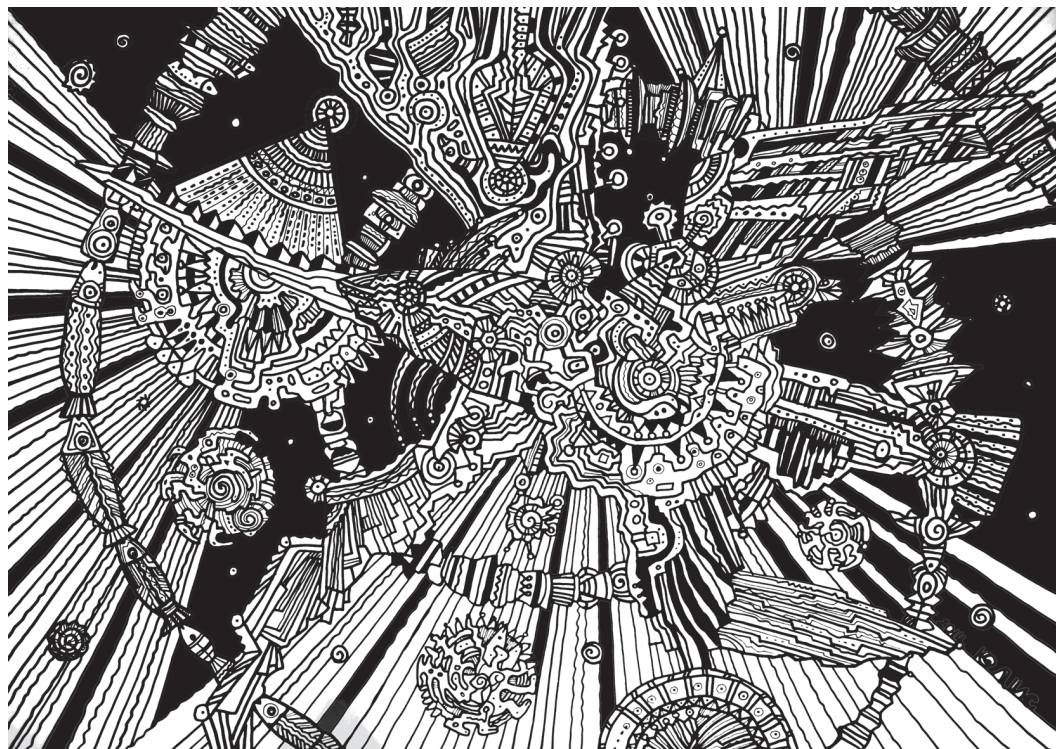
<sup>1</sup> Schefferi, Lapp. p. 96, 97.

<sup>2</sup> Lexicon Lappon. p. 7. Ср. Kreuzwald в статье Шёррена: Ueber die Bedeutung des ehstnischen Namens für den Regenbogen: wikkerkaar в Bull. hist.-philol. T. IX, № 10–12, стр. 150–172, и в Melanges russes, T. II, стр. 105.

<sup>3</sup> Beskrifning öfver de till Sveriges krona lydande Lappmarken, стр. 177, 178.

<sup>4</sup> Там же, стр. 177.

# Первая мировая





## Ольга Бондаренко

*Бондаренко Ольга Евтихеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, этнографии и археологии Сыктывкарского госуниверситета. Работает в СыктГУ с 1972 года. Является автором и соавтором около 200 научных работ.*

*Область научных интересов — проблемы духовной культуры, история войн, благотворительность, образование в конце XIX – начале XX вв., лесная промышленность.*

### **«К несению предстоящей военной службы считаю себя... вполне способным»**

В 2014 г. исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны, в которой приняло участие более 30 государств. На фронты Первой мировой были призваны тысячи солдат из трёх уездов — Устьсысольского, Яренского и Печорского.

19 июля (1) августа 1914 года Германия объявила войну России. 6 августа было объявлено о состоянии войны между Австро-Венгрией и Россией. Телеграммы об этом были отправлены по всей Российской империи, получена была такая телеграмма и на территории Коми края. Она заканчивалась словами: «Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетой мирской славы подняли мы орудие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей империи, боремся за правое дело. Да благословит Господь Вседержитель наше и союзное нам оружие и да поднимется Россия на ратный подвиг с жезлом в руках и крестом в сердце».

Вторая Отечественная... Именно так стали называть в России в 1914 г. начавшуюся войну. Большевики будут называть её империалистической. После 1941 г. у войны 1914–1918 гг. появилось название — Первая мировая, ещё встречается и такое определение — «забытая» война. К сожалению, Первая мировая война была вытеснена из народной памяти более масштабными событиями — Февральской и Октябрьской революциями, гражданской войной.

Начало войны было отмечено почти во всех приходских летописях. Событие это описывалось достаточно лаконично. В летописи Анибской Преображенской церкви в 1914 году зафиксировано: «23 июля получена телеграмма урядником при Воинском начальнике почтой «Германия объявила нам войну». Такую же информацию содержит и летопись Донской Вознесенской церкви Устьсысольского уезда: «1914 года, июля 20 Объявлена война с Германией».

Началась мобилизация населения. Также поступали заявления от лиц мужского пола с просьбами о зачислении их в армию на службу охотниками (доб-



ровольцами). Крестьянский сын Благовещенской волости Мартынов Яким Павлович в заявлении просил «зачислить в число фронтовиков и отправить на фронт военных действий. При этом заявляю, что к несению предстоящей военной службы считаю себя по своему телосложению и здоровью вполне способным». Крестьянин Кочергинской волости Мефодий Иванович Пантелеев, высказывая такую же просьбу, сообщал, что средств не имеет и просил разрешения «прибыть в Устьсыольск за земский счёт вместе с подлежащими к призыву ратниками нашей волости». Среди добровольцев были и воспитанники учебных заведений. В прошении воспитанника Устьсыольской учительской семинарии Николая Александровича Попова содержались следующие строки: «Сердечно желая поступить, со дня объявления войны, в ряды русской армии и принести свои силы на алтарь отечества, покорнейше прошу... принять и зачислить меня в часть русского войска».

Порыв сына поддержал его отец — дьякон Шежамской церкви Александр Попов: «Сын мой — воспитанник Устьсыольской учительской семинарии Н.А. Попов неоднократно заявлял мне о настойчивом его желании вступить ныне же, до поступления призывного возраста в ряды войск. Полагая, что в настоящее время сын мой физически достаточно развит для несения воинских обязанностей, а потому считая для себя нужным удовлетворить сердечному желанию его и даю ему своё разрешение и благословение встать в ряды войск по собственному его желанию вольно определяющимся или же добровольцем военного времени».

Нельзя без волнения читать строки заявлений учеников Визингского высшего начального училища Митюшева Тимофея (15 лет), Малыгина Василия (13 лет), Ситкарева Александра (14 лет), Гордеева Алексея (16 лет) с просьбой о принятии их добровольцами в армию. Устьсыольский уездный воинский начальник в своём письме сообщал, что: «...на основании правил о приёме в военное время охотников на службу в войска... принимаются в возрасте не менее 18 и не более 43 лет отроду, почему обозначенные лица не могут быть принятыми охотниками на службу».

Такие же прошения поступили от губернского секретаря Василия Васильевича Косолапова и многих других жителей Коми края. Прошения тех, кто подходил по состоянию здоровья и по возрасту, были удовлетворены. Сохранился список лиц, принятых добровольцами из Устьсыольского уезда. Из 129 человек, подавших заявления о зачислении на военную службу, большинство из них были призваны в первый и второй годы войны, пятеро из всех находились под надзором полиции, они были высланы с Кавказа за уголовные преступления, несколько человек находились в это время в Устьсыольском уезде из других мест. Все они были отправлены в пехотные батальоны.

Комплектование армии производилось на основе всеобщей воинской повинности, введённой в 1874 году. Территория Устьсыольского и Яренского уездов была разделена на призывные участки. Устьсыольский уезд состоял из трёх (Устьсыольского, Визингского, Усть-Куломского), Яренский — из двух. Комплектование армии происходило по мобилизационному плану 1910 года, составленному с учётом особенностей края (большое расстояние между сёлами и призывными участками, отсутствие хороших дорог, сезонный характер водных путей).

В приходских летописях содержится информация и о мобилизации населения в армию: «1914 год, вытребовали запасных и ратников I разряда. Из с. Дона

ушло 32 человека», 1915 г. «Призваны ратники I разряда до призыва 1898 г. и ратники II разряда до призыва 1910 года и призвали имеющие льготу I разряда до 1917 г. В с. Пезмог «по случаю войны с Германией и Австрией в июле месяце запасных и ратников увезено из прихода до 80 человек, из с. Палауз отправлено на театр военных действий всего 62 человека».

В дни проведения наборов в районе призывных участков по распоряжению Министра внутренних дел следовало «прекращать торговлю крепкими напитками во всех казённых винных лавках, а также продажу крепких напитков в заведениях, содержимых частными лицами». Полиция должна была осуществлять строгий контроль за выполнением этого распоряжения и «установить самое строгое наблюдение за тем, чтобы при прекращении продажи питей в казённых и частных заведениях отнюдь не допускалась тайная продажа спиртных напитков».

В ходе мобилизации, скоплении новобранцев на призывных пунктах, иногда имели место столкновения между ними и полицией, определённую роль играло и то обстоятельство, что существовала традиция провожать в армию, устраивая застолья. Так в 1914 г. подполковник Демидов сообщал в Ярославль о происшествии в г. Устьсыольске: «Толпа из не проходивших службу ратников, квартирующая в противоположной части сборному пункту, устроила хождение по улице, какие они устраивают в деревнях: с чиканьем и выкриками. Порядок восстановила полиция. Запасные сами даже оградили исправника от камней, бросаемых из толпы ратников, не владеющих русской речью, которых при сборном пункте 1025 чл.».

Ситуация на фронте в 1915 г. обусловила проведение более жёсткой мобилизационной политики. 15 июля 1915 г. Вологодский губернатор направил в Устьсыольск копию циркуляра министра внутренних дел от 13 июля того же года за № 76, в котором сообщалось, что «лица, призываемые на военную службу, согласно сего указа, не пользуются правом на льготы либо отсрочки по семейному и имущественному положению, а также по званию и роду занятий... за исключением лиц, изготавливающих предметы государственной обороны».

Очевидно, содержание этого циркуляра не сразу было доведено до населения Коми края. 27 июля 1915 г. крестьянин Маджской волости и общества Илья Максимович Нестеров обратился в Устьсыольское уездное по воинской повинности присутствие с прошением. В нём он сообщал, что три его сына находятся в действующей армии: Иван призван по Высочайшему повелению при первой мобилизации текущего года, 2-й сын Яков — в октябре 1914 года, 3-й сын Семён был зачислен ратником первого разряда в январе 1915. Сын Пётр подлежал призыву в августе 1915 г. И.М. Нестеров обратился с просьбой «освободить от призыва на действительную военную службу последнего сына Петра Ильича Нестерова, так как я останусь без всякой помощи, потому я личному труду не способен, имею от роду 57 лет, кроме того, имею семью: жену и двух малолетних девочек. Покорнейше прошу не оставить мою покорнейшую просьбу без внимания. Сделать зависящее распоряжение и тем меня удовлетворить». Ответ ему был весьма лаконичен — «Ходатайство оставить без последствий, т.к. по Высочайшему повелению никаких льгот призываемым не предоставлено».

В годы Первой мировой войны в армию было мобилизовано более 57% трудоспособного мужского населения Коми края, так, взято в войска в Печорском

уезде — 3653 чел., в Яренском — 8925 чел., в Устьсысольском — 17458 чел., всего — 30036.

Через армию прошли многие будущие коми политики и деятели культуры: Д.И. Селиванов, А.Ф. Потапов, Д.М. Ваддаров, А.П. Гичев, В.Т. Чисталев, В.А. Молодцов и другие. А.М. Мартюшев, известный коми политик, с начала войны был мобилизован в армию, зачислен в ополченческую дружину унтер-офицером. Немало выходцев из Коми края окончили военные училища и получили первый офицерский чин прапорщика. Среди них ставший позднее заметным политическим деятелем Коми края В.П. Юркин, учёный и поэт В.И. Лыткин, будущий организатор физкультурного движения в Коми Н.М. Жеребцов, упоминавшиеся уже А.А. Маегов и В.Т. Чисталев.

Мобилизация населения Коми края, как уже отмечалось, проходила по мобилизационному плану 1910 года, в котором оговаривались маршрутные сведения для новобранцев и запасных нижних чинов, направляющихся в призывные пункты. Согласно этому плану, призываемые должны были доставляться в призывные пункты на подводах как в зимнее, так и в летнее время. Причём, выделением подвод занимались должностные лица, избираемые волостными правлениями, эти же лица должны были обеспечивать во время мобилизации новобранцев квартирами, находившимися на пути следования новобранцев, запасных нижних чинов в призывные пункты и далее в воинские части.

Хотя мобилизационный план 1910 года предполагал отправлять ратников и запасных нижних чинов из призывных участков, находящихся на территории Коми, сухопутным путём, то есть на подводах, Устьсысольский уездный воинский начальник подполковник Демидов решил отправлять новобранцев из Устьсысольского уезда водным путём. 24 июля 1914 года в Усть-Вымь была отправлена телеграмма члену управы Максимову, сообщавшая: «Перевоз войск водой». Для этих целей управлением Устьсысольского уездного по воинской повинности присутствия было взято в аренду два паровых судна, которые помимо перевозки новобранцев и запасных нижних чинов, занимались перевозкой почты и провианта. Команда этих судов получила отсрочку по воинской повинности, так как согласно указу от 3 июля 1916 года за № 76, они относились к портовым и судовым рабочим, работавшим на военные нужды.

Путь отправляемых ратников и запасных низших чинов пролегал от пристани города Устьсысольска по реке Вычегде через сёла Усть-Вымь, Жешарт далее в Котлас, а оттуда по Пермской железной дороге в воинские части. Воинский начальник подполковник Демидов отправлял в населённые пункты, лежащие на пути следования пароходов с ратниками и запасными низшими чинами, приказы о закрытии винных лавок, эта мера должна была предотвратить пьянство и беспорядки среди новобранцев и ратников по пути их следования в Котлас. Так, например, 17 августа 1914 года, в Сольвычегодск поступила депеша: «Сегодня два парохода вышли с запасными низшими чинами и ратниками из города Устьсысольска. На время их прихода прошу закрыть торговлю вином». В конце августа 1914 года подполковник Демидов доложил в Ярославль о том, что: «Кроме сохранения здоровья людей, отправка мною водой запасных низших чинов и ратников дала экономию более 9 тысяч рублей». Примеру подполковника Демидова последовал и Яренский уездный воинский начальник В.В. Волков. С лета 1915

года ратников и запасных низших чинов с Яренского призывного пункта стали также отправлять водным путём, сэкономив в весенне-летний призыв 4500 рублей и освободив население от поставки подвод во время летней страдной поры. Таким образом, отправка ратников и запасных низших чинов водным путём Устьсысольского и Яренского призывных участков, помимо экономии денежных средств, давало возможность освободить население от поставки лошадей в страдную пору.

Из-за суровых климатических условий Коми края, навигация продолжалась незначительное время. С закрытием навигационного сезона, длившегося 3–4 месяца, ратников и запасных отправляли на сборные пункты и далее в воинские части сухопутным путём, продолжавшимся с ноября по апрель.

Для прибытия сухопутным путём из города Устьсысольска в Ярославль команде новобранцев предстояло преодолеть 5–8-дневный переход на подводах до станции Мураши, общей протяжённостью 320–330 вёрст, а далее по железной дороге через Вятку и Вологду в Ярославль. Весь путь обходился в 1,75–2,80 рублей на человека, в то время как водный путь обошёлся бы в 1,60 рубля.

По прибытии новобранцев, в сопровождении конвойной команды, к станциям Котлас и Мураши, Устьсысольский и Яренский уездные военные начальники обязаны были ходатайствовать в Санкт-Петербургскую канцелярию министерства путей сообщения о выделении вагонов для дальнейшего следования призывников в военные части российской армии. Так, например, в сентябре 1914 года из Устьсысольска была направлена телеграмма: «Ввиду могущего быть вновь призыва ратников и набора новобранцев в Устьсысольском уезде Вологодской губернии «прошу ходатайствовать перед господином министром путей сообщения в распоряжении им о наряде до станции Котлас Пермской железной дороги по три вагона».

При следовании новобранцев за пределами территории края не было выявлено никаких случаев беспорядков. Так, например, в отчёте начальника Ярославской местной бригады за 1914–1918 отмечалось, что «прибыли команды новобранцев из Устьсысольского уезда. По приезду они вели себя выше всякой похвалы. Всё благополучно».

Все зачисленные в армию, принимали присягу. Текст воинской присяги начинался следующими словами: «Я, нижепоименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, перед святым ЕГО Евангелием, что хочу и должен ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, своему истинному и природному Всемилощивейшему ВЕЛИКОМУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, самодержцу Всероссийскому и его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Всероссийского Престола Наследнику, верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего, до последней капли крови...»

Каждый солдат получал записную книжку, состоящую из 47 страниц, которая содержала информацию о нём, в ней также фиксировалось прохождение службы, в медицинском листе книжки отмечались заболевания, перечислены казённые вещи, которые ему были выданы (постельные принадлежности, рубахи, портянки, сапоги и т.д.), мундирные вещи (шинель, мундир, погоны, фуражка), фиксировалось выдаваемое жалованье, собственные деньги, которые он должен был сдавать на хранение ротному командиру. Также записывалось в книжку получение писем с деньгами, хлебные и чайные деньги. В документе приведены были тексты присяги,

солдатской памятки, извлечения из «Положения о призрении нижних воинских чинов и их семейств». В 1914 г. такую записную книжку получил Пётр Новосёлов из Койгородской волости Устьсысольского уезда. Его рукой был записан адрес — 3 действующая армия, 9 корпус, 74 дивизия, 294 Березинский полк. Очевидно, он только начинал службу, записано в книжке было немного. Зафиксировано, что П. Новосёлову были выданы на год по 2 пары — рубахи, исподние брюки, носовые платки, одна пара сапог и 8 штук портянок, а также мундир, шаровары, шинель, шапка, пристяжные погоны. В дальнейшем поставки одежды, обуви для новобранцев в русскую армию стали срываться, поэтому им было разрешено обеспечивать себя самостоятельно. Деньги за вещи выдавались в войсковой части, пара сапог стоила 9 рублей, нательная рубаха 80 копеек, пара портянок 20 копеек, носовой платок 9 копеек. Такое самообеспечение происходило и в последующие годы. Определённый интерес представляют солдатские заповеди, которыми нужно было руководствоваться в бою: «Сам погибай — товарища выручай (а товарищи тебя в беде выручат), «Откуда бы враг не появился, его всегда можно достать либо пулею, либо штыком. Что сподручнее, тем и бей...», «Не удалось одолеть врага сразу, лезь на него в другой, третий, четвёртый раз, и так без конца, пока не одолеешь его».

Содержалась информация о А.В. Суворове и изложены основные положения его «Науки побеждать»: «Умирай за Веру, Царя и Отечество: церковь тебя Богу молит», «кто остался жив, тому честь и слава», «тяжело в учении — легко в походе; легко в учении — тяжело в походе», « три воинские искусства: первое — глазомер, второе — быстрота, третье — натиск», «атакуй с чем Бог послал. Стреляй редко — да метко, штыком коли крепко».

В ходе комплектования армии в годы войны уроженцы Коми края были направлены в воинские части, расположенные в различных областях Российской империи. Уроженцы края служили в воинских частях, расположенных в южных районах России (Владикавказский, Грозненский, Улан-Одесский полки), в северных (пехотный Архангельский полк, Мурманские рабочие роты), восточных (Свеаборсская крепостная артиллерия, Кронштадтский флот) и других воинских подразделениях. Уроженцы Коми края отбывали воинскую повинность как в основных воинских частях (стрелковые и пехотные полки, крепостные артиллерии), так и во вспомогательных войсках (этапные роты, военнотранспортные части, рабочие команды).

В русском экспедиционном корпусе, сформированном в 1916 г. и отправленном во Францию, были и коми уроженцы — С. Рочев, А. Надуткин, Е. Турбылев, Д. Попов, Савин, Чукичев, Фомин, Третьяков, С. Тебеньков и А. Ванеев.

Для солдат, находящихся в армии, очень важно было знать, как обстоят дела дома, как поживают родные, а заодно они хотели сообщить и о себе. Многие из них были неграмотными. Для них были заготовлены письма, отпечатанные в типографии, где нужно было только поставить подпись или обозначить свои инициалы. Письма были адресованы жене или матушке, очень лиричные по содержанию. Одно из таких писем было подписано Михаилом Яковлевичем Поповым. Он использовал бланк официального письма, чтобы дополнить его своим текстом, так как оказался грамотным. Строки из письма на типографическом бланке: «Дорогая и любимая жена моя! Шлю тебе, дорогая моя, весточку о себе из

дальней сторонушки. Я слава Богу жив и здоров и бодро себя чувствую. Пиши, как здоровье твоё и дорогих наших деток. Если бы ты только знала, как подчас тоскует сердце моё по Вам, и если бы, кажется, я имел крылья, то прилетел бы к Вам, прижал бы Вас к сердцу и расцеловал бы от души». В своём письме М. Попов слал поклон родным, сообщал, что сам находился в добром здравии, называл своё место нахождения — город Рига. Уточнял, что их сняли с позиции, в городе они уже 10 дней. Он сообщал, что «из нашей дружины отобрали ружья, теперь мы живём без ружья. Мы учимся без ружья».

В письмах солдаты тревожились за близких: «Теперь же война, всё ждём отправки на позицию, многих уже отправили из наших на позицию. Дома вотчины опустеют, что могут одни жёны делать. Например, у меня, как только одна жена, да и та слабая здоровьем, вот всё это как подумаешь хорошенько, так и на душе будет тяжело и горько. Но пока до свидания, дорогой друг... Здоров твой товарищ бывший Пётр Конс. Семейшкин». Иногда письма помогают лучше понять их авторов. Так письмо Черноусова В.Ф., рядового 209 запасного пехотного батальона, написанное 29 декабря 1914 г. из города Рыбинска, позволяет высказать суждение, что это был человек, не лишённый лирического дара. В письме, адресованном родным в Важгорт, он пишет: «Сижу вечером, казарма, взял перо от скуки в руки и начал писать от скуки. Лети, письмо дорогое, и давайся тому, кто мил сердцу моему, т.е. моему семейству, и скажи им, что Ваш несчастный сыночек сидит в казарме, как птичка в клетке, и переносит мучения, как каторжник, и отдаёт тоску ветру. ... Я не вижу красных дней, радости не знаю и, как льдинка от лучей, на песочке таю». Наряду с этим он сообщал: «Наше житьё худо, ходим стрелять десять вёрст, учат плохо...» Напоминаю свой адрес: город Рыбинск Ярославской губернии, 209 запасной батальон, шестая рота, второй взвод». А. Опарин писал своей супруге Наталье Фёдоровне, проживавшей в Устьсысольске. Беспокоился, забрали ли сына в армию, интересовался новостями, передавал поклон родне, огорчался, что не получал писем уже три месяца. Письмо содержало поздравление с наступающим праздником Рождества Христова.

А.Е. Есева получила письмо от своего мужа Александра Михайловича, написанное 4.XII. 1917 года. Война шла уже несколько лет, и, очевидно, неслучайно фраза, что «я слава Богу остаюсь жив и здоров» встречается в письме дважды — в начале и в завершении. А.М. Есев, напоминая старый адрес, 26 пехотный запасной полк, отмечал, что «мой адрес неизвестно затем». В письме содержались многочисленные поклоны братьям, сёстрам, снохе, свояку, жене Афанасии Егоровне он послал «мужское почтение».

В настоящее время большое внимание уделяется «человеческому измерению» войны. Выявляются участники войны, изучаются их судьбы. Одни отдали свои жизни за чуждые им интересы, другие были искалечены и стали инвалидами. Кому-то пришлось сполна испытать горечь плена. Были и такие, кто попал в категорию без вести пропавших. Многие в этом направлении сделано Н.И. Сурковым. Он изучил судьбы некоторых из них — Григория Ивановича Рочева, Михаила Павловича Голосова, Прокопия Васильевича Колегова, Семёна Михайловича Кирушева, Петра Ивановича Морокова, Степана Степановича Жакова, Стефана Яковлевича Иевлева, Игнатия Ефимовича Безносикова, Григория Васильевича Торопова, Алексея Петровича Кузнецова, Ивана Тимофеевича Мезенцева.

Из них 4 были убиты в ходе военных действий, 6 ранены, 1 умер от болезни, 1 покончил жизнь самоубийством.

Василий Степанович Мелехин, уроженец д. Чойыв с. Пажга, воевал в Австрии. Как писал Н.И. Сурков, «Мелехин на фронте был вооружён двумя разными видами оружия — трёхлинейной образца 1891 г. винтовкой Мосина и фотоаппаратом». Привёз с фронта несколько десятков фотографий, на которых запечатлены сцены как военной, так и повседневной жизни солдат и офицеров русской армии, можно сказать, что это настоящая фотолетопись Первой мировой войны. На фотографиях изображены пушки, самолёты, пулемёты, бытовые сцены из жизни солдат (приобретение продуктов на городской площади, написание писем, купание в реке, похороны). В поле зрения фотографа попали и дома австрийской деревни Мильпо, военнопленные австрийской армии, митинг, запечатлена и встреча русских и австрийских солдат на позиции. Фотоаппарат и снимки после войны он привёз домой, в своё село Пажга.

Многие из комы воинов проявили мужество и храбрость, получили боевые награды. Высшей солдатской наградой является Георгиевский крест. Заслужить «Егория» можно было только настоящей храбростью и бесстрашием в бою, совершив боевой подвиг: захватить неприятельское знамя, пленив вражеского офицера или генерала, первым ворвавшись во время штурма в крепость противника или на борт его корабля, а также за спасение в бою знамени или жизни своего командира. Носился он на груди впереди всех медалей на ленте с равными оранжево-чёрными полосками цветов ордена святого Георгия. Знак представлял собой крест с расширяющимися к концам равносторонними лопастями и центральным круглым медальоном. На лицевой стороне медальона изображён святой Георгий, поражающий копьём змея, а на другой стороне медальона переплетённые вензеля С. и Г. Нижние чины, удостоенные знака отличия, получали пожизненную пенсию, освобождались от телесных наказаний, пользовались и другими льготами. С 1913 г. стало возможным посмертное награждение Георгиевским крестом, крест мог быть передан родственникам погибшего. Награждение производилось перед строем части со знамёнами и стандартами, войска держали на «караул», а при возложении крестов войска отдавали кавалерам честь «с музыкой и походом».

Е.Л. Демидовой составлен предварительный список Георгиевских кавалеров — уроженцев Яренского, Устьсысольского и Сольвычегодского уездов Вологодской губернии. В работе отмечено, что «только два героя — уроженца северо-восточных уездов стали полными Георгиевскими кавалерами, получившими 4 Георгиевских креста. Это С.А. Аткин (Латкин — *О.Б.*) и И.Г. Казродев». Можно дополнить имена полных Георгиевских кавалеров. Солдат села Бадьельск Егор Ефимович Уляшов был награждён двумя Георгиевскими крестами в годы Русско-японской войны и двумя — в Первую мировую войну. Имеется информация о том, что Иван Петрович Ракин, уроженец села Деревянск, с войны вернулся с четырьмя Георгиевскими крестами, но, возможно, эта информация требует документального подтверждения. Имена Георгиевских кавалеров названы и в работах краеведов — это Роман Аркадьевич Попов, унтер-офицер, кавалер двух Георгиевских крестов, уроженец села Кослан. Василий Прокопьевич Козлов, уроженец села Кожмудор, был награждён Георгиевским крестом четвёртой степени (хранится в семье), Евлампий Иванович Кизродев, уроженец села Айкино, вернулся с войны с Георгиевским крестом, а также В.И. Лыткин в 1917 г. получил Георгиевский крест.

Определённый интерес представляют материалы, конкретизирующие, за что получена награда. Одним из таких героев был Александр Назарович Изъюров, 7 ноября 1915 года в Вологодскую Казённую палату подполковником Гончаровым была представлена записка о его службе: «Ефрейтор 183 Пултускаго полка Александр Назарович Изъюров, происходящий из крестьян Богоявленской волости Устьсысольского уезда Вологодской губернии, родившийся в 1891 году 2 августа, принят на военную службу Устьсысольским уездным по воинским повинностям присутствием 26 октября 1912 года. Зачислен на службу в 133 пехотный Пултуский полк в 10 роту молодым солдатом 2 января 1913 года, рядовым 25 марта 1913 года переведён в пулемётную команду, 1913 года 15 ноября выступил с полком в поход, перешёл границу военных действий город Смоленск 5 августа 1914 года, ефрейтором 4 февраля 1915 года. За что будучи в разведке 4 февраля, несмотря на сильный ружейный действительный огонь противника, вызвался охотником узнать, есть ли проволочные заграждения впереди окопов и как велики окопы противника, что и выполнил с успехом, доставил точные сведения о расположении позиции противника и об искусственных препятствиях. Награждён Георгиевскою медалью четвёртой степени за № 59251 приказ по 25 армейскому корпусу 1915 года за № 3, знаков отличия имеет: светло-бронзовую медаль в память трёхсотлетия царствования Дома Романовых, пожалованную 21 февраля 1913 года и Георгиевскую медаль четвёртой степени за № 59251, находился в походах против Австро-Венгрии и Германии 3 августа 1914 года по 18 апреля 1915 года. Ранен в бою с германцами и умер от ран 18 апреля 1915 года. В унтер-офицерском звании не состоял».

Георгиевским крестом четвёртой степени за № 342507 был награждён и рядовой 192 пехотного Рымниковского полка Мошкалев Тихон Кельманович из Киберской волости. Рядовой 182 пехотного Гроховского полка Мезенцев Алексей из крестьян Троицко-Печорской волости за ночную атаку в ночь с 11 на 12 ноября 1914 года награждён Георгиевскою медалью четвёртой степени за № 59250. В бою 20 июня 1915 года он был убит, был в походах и сражениях против австрийцев и германцев. В Чухломское волостное правление в 1917 году поступило сообщение воинского начальника о том, что «ратник ополчения 2 разряда призыва 1915 года Пётр Васильевич Сажин 13 декабря 1916 года умер от ран в 10 передовом хирургическом отряде, о чём предписываю сообщить его родственникам, а препровождаемый при сем Георгиевский крест четвёртой степени за № 785223 выдать его родственникам с распиской которую выслать во вверенное мне управление». На документе была приписка чернилами: «1917 года марта 8 дня. Георгиевский крест за № 785223 получил родитель Василий Акадий Сажин, а за него расписался Василий Зиновьев. Сообщение о смерти младшего унтер-офицера Мамонтова Фёдора Ивановича с препровождением Георгиевского креста поступило в Усть-Немскую волость. На некоторых воинов были составлены представления для получения наград, но в связи с расформированием воинских частей, дело не было доведено до конца. Так, Александр Михайлович Савин, проживающий в селе Нившера, в 1918 году обратился к уездному воинскому начальнику с просьбой: «За проявленную храбрость в бою 31 августа 1917 года я был представлен командиром ударного революционного батальона Северного фронта к Георгиевскому кресту, но ввиду расформирования вышеозначенного батальона креста я не получил,



а потому прошу Вашего ходатайства о вытребовании Георгиевского креста четвёртой степени из Штаба... дивизии 2 Сибирского корпуса, к которой был зачислен II ударный батальон». Положительного решения вопроса не последовало.

Как уже отмечалось, в ходе боёв были человеческие потери, раненые, пропавшие без вести, некоторые оказывались в плену. Некоторые из жителей Коми края в годы войны попадали в плен. Об этом они сообщали в письмах, посланных родным. Подробно их содержание было рассмотрено на страницах журнала «Арт»<sup>1</sup>. Путь пленных на Родину был не быстрым, после возвращения они должны были заполнить регистрационные карточки. Карточки содержат сведения о времени прибытия на Родину, месте постоянного жительства до военной службы, воинской части, занятии до войны, семейном положении, времени и месте пленения, указана страна, где находился в плену, выдаче пособия, занятиях и условиях жизни в плену. Военнопленных из Яренского уезда насчитывался 961 человек, к началу марта 1919 г. вернулось из плена 576. Сохранился список лиц Устьсысольского уезда, находившихся в плену, датируемый 1918 г., названы имена, фамилии 1114 жителей.

Большинство военнопленных, жителей Яренского уезда, находилось в Германии, Австро-Венгрии, некоторые во Франции, Болгарии, Польше, Финляндии. Заняты были на железнодорожных, окопных, фабричных работах, а также их труд применялся в шахтах, на осушке болот, в хозяйствах частных владельцев. Проживали пленные солдаты, как правило, в бараках, палатках, конюшнях, сараях. Все отмечали недостаточное питание, «скверную пищу». Имели место и исключения из правил. Житель Корткероса Иван Семёнович Вишератин попал в немецкий плен. О его жизни в плену рассказала публикация А.Н. Сивковой. Работал в поместье, стал жить с хозяйкой, у них родилось двое детей. В 1921 г. он вернулся домой, привезя фотографии, на которых были запечатлены русские военнопленные, находившиеся в Германии.

После заключения Брестского мира пленные стали возвращаться домой. Всем волостным исполкомам поступило распоряжение Яренской уездной коллегии пленных и беженцев следующего содержания: «... оказывать содействие военнопленным в подаче подвод за наличный расчёт по 50 коп. с версты за человека. Неисполнение сего предписания влечёт за собой суровое наказание. Причём ямщики должны иметь шубу и валенки для прикрытия от холода военнопленного». Их встречали как защитников Отечества.

В 1918 году Устьсысольский уездный комиссариат представил в пенсионный отдел сведения о солдатах убитых, без вести пропавших и умерших от ран. Список состоял из 84 фамилий, были обозначены полки, в которых они служили. Погибших в бою было 20 человек, пропавших без вести — 35 человек, умерших от ран — 3 человека, от болезни — 22 человека, 2 покончили жизнь самоубийством, один человек утонул и ещё у одного причина смерти была не указана. Надо полагать, что список жертв войны был намного больше, чем названный. По данным Яренского уездного земства к лету 1915 года в уезд возвратилось 3106 человек, демобилизованных по состоянию здоровья, где большинство составляли получившие увечья в результате столкновения с противником. Раненых отправляли для лечения в госпитали и лазареты. Иван Степанович Рассыхаев, участник Первой

<sup>1</sup> Бондаренко О.Е. «Не оставите мене на чужой земле» // Арт, 1999, № 5. — С. 124–130.

мировой войны, уроженец села Усть-Кулом, «крестьянин по происхождению, коми по национальности, просветитель по устремлению души» оставил после себя «Дневные записки», в которых описал свою жизнь, в том числе и войну. В 1915 году он был призван в армию. Назначен в запасной батальон, привезён в 679 Курскую пешую дружину, где нёс караульную службу. В сентябре 1915 г. отправили на австрийский фронт и распределили в 320 Чембарский полк. Вместе с ним на позиции были ещё двое из Усть-Кулома — Андрей Ногиев и Алексей Разсыхаев. 26 января 1916 г. он был ранен. Вот как он сам описывает это событие: «... упала на землю одна бомба, разорвалась возле моей правой ноги в расстоянии одной четверти аршина, и ранило обе мои ноги ниже колена. Сначала, не чувствуя сильной боли, в испуге изменившимися видом лица и глаз, я с криком побежал шагов десять и упал. Тут я перекрестился, что Бог спас меня от смерти и останусь жив и что, может, войну уже не увижу. В обеих моих ногах было множество больших и мелких ранений ниже колен, и попало множество больших и мелких осколков... в обеих ногах было более 30 ранений». Для лечения он был отправлен в Киев и помещён в 12 Симферопольский госпиталь, затем переведён в команду выздоравливающих и отправлен в прежнюю часть в Волынской губернии. Как он пишет в «Дневных записках», «отправка на фронт вторично при слабом здоровье оказалась очень тяжёлым впечатлением, так как ноги мои не поправились, хотя раны и зажили, передок правой ноги не стал действовать, и я остался больным и калекой на всю жизнь».

Гибель воинов от ран и на полях сражений заставляла задуматься об увековечении их памяти. 20 октября 1915 г. на сессии Яренского уездного земского собрания был рассмотрен вопрос об увековечении памяти жертв войны. Было доложено, что Александровский комитет о раненых, заботясь об увековечении памяти жертв войны, «полагая бы крайне желательным, чтобы умершие воины были хоронены в городах лишь на определённом кладбище и в одном месте, с сооружением на них часовен, крестов, памятников и проч., дабы такие особые братские кладбища, обсаженные впоследствии деревьями и обнесённые решёткой, служили напоминанием последующим поколениям о жертвах Великой Европейской войны». Эта инициатива комитета была одобрена императором. Решено было привлечь городские и земские учреждения к решению этого вопроса. Кроме устройства братских кладбищ, также предполагалось «сооружение в ознаменовании памяти жертв настоящей Великой войны, в местах родины воинов, павших на поле брани и от полученных ран, во всех приходских церквах досок с начертанием их имён или других памятников, в виде часовен, крестов, каменных столбов, плит и т.п.».

В Яренском и Устьсысольском уездах госпиталей, куда бы приезжали на исцеление раненые из других мест, не было, поэтому вопрос о братских кладбищах фактически был снят с повестки дня. В качестве памятников для увековечения памяти погибших и умерших от ран воинов рассматривались чугунные поминальные с надписями доски, одобренные Синодом и утверждённые Его ИМПЕРАТОРСКИМ ВЫСОЧЕСТВОМ ВЕЛИКИМ князем Михаилом Александровичем, цена таких досок была от 10 до 25 рублей.

Яренское земство внесло в расходы 1916 года 100 рублей на приобретение досок-памятников для увековечения памяти воинов, умерших в городе и уезде от

ран и болезней, полученных на войне. Обесценивание денег, сокращение финансовых средств привели к тому, что на 1917 год деньги для изготовления памятных досок не были заложены в бюджет Яренского земства. Устьсысольское земское собрание в 1915 году выделило 1000 рублей на увековечение памяти жертв войны, по смете 1916 и 1917 гг. деньги на это не были выделены. Исследователи, изучающие приходские летописи, ничего не пишут о конкретной реализации этого замысла — увековечении памяти путём организации братских кладбищ или же изготовления и установки памятных досок. Очевидно, не успели, затем революция, гражданская война, стало не до этого. Важен сам факт, что был поставлен и положительно решён вопрос — отдать должное тем, кто погиб, защищая Отечество.

В годы Первой мировой войны определённое время уделялось поддержке нижних воинских чинов и членов их семейств. С этой целью были образованы уездные, городские, волостные попечительства по призрению семейств нижних чинов. По существовавшему законодательству пособия выплачивались жёнам, родителям с 55 лет, детям, братьям и сёстрам до 17 лет, пасынки и падчерицы призванных нижних чинов по закону 25 июня 1912 года казённое пособие не получали. С начала октября 1914 года всем жёнам мобилизованных солдат стали выдавать трёхрублёвое пособие за счёт казны.

В октябре 1914 года в Устьсысольскую уездную земскую управу поступил запрос из Таврического дворца от члена Государственной думы от Вологодской губернии священника с. Деревянска Дмитрия Попова. К нему приезжали жёны солдат Д. Нестерова и Ф. Пименова, мобилизованных из Аныбской волости, которые сообщили, что «в волостном правлении пособие им не выдали и на просьбу их объяснить причину невыдачи, ничего не ответили». Семья Д. Нестерова состояла из жены и дочери. Семья у Ф. Пименова была более многочисленной: жена, четырёхлетний сын, отец 64 лет, мать 66 лет. Д. Попов просил «земскую управу навести в волостном правлении справки о причинах невыдачи пособия и включить их в число получающих со дня призыва». Через несколько дней Д. Попов получил ответ от земской управы, в котором сообщалось, что семейства нижних чинов из крестьян Аныбской волости Д.Ф. Нестерова и Ф.И. Пименова волостным попечительствам не были внесены в список имеющих получать казённое пособие, а потому таковое им и не было выслано. Земская управа потребовала от Аныбского волостного попечительства сведения об этих воинах и завершила Д. Попова, «что если это окажется нужным, семейства названных лиц будут незамедлительно внесены в списки получающих казённое пособие». Скорей всего вопрос был решён положительно, т.к. по закону женщины имели право на это пособие.

Солдатам, награждённым Георгиевским крестом, назначалась со дня совершения подвига ежегодная денежная выдача по 4 степени — 36 рублей, 3 степени — 60 рублей, 2 степени — 96 рублей и по 1 степени — 120 рублей. Вдова награждённого после его смерти пользовалась причитающейся ему по кресту денежной выдачей ещё один год. Денежная выдача во время службы осуществлялась как прибавка к жалованью, а после увольнения от действительной службы, в качестве пенсии.

Война оказала влияние и на изменение состава населения Коми края. Сюда после начала войны стали выселять мужчин, подданных стран, воюющих с Россией, призывного возраста, которые до этого проживали в Российской империи в Москве, Петербурге, Польше, Прибалтике. Первая партия военнообязанных мужчин

появилась в Вильгорте 29 августа 1914 г., затем их стали расселять в Айкино, Усть-Выми, Жешарте, Княжпогосте, Серёгово, Палевицах, Глотова и др. селениях Коми края. В документе, полученном полицейским урядником, говорилось, что «с германскими и австрийскими подданными нужно обходиться корректно и не вызывать никаких осложнений». Высланные могли получать письма, корреспонденцию, переводы. Вся корреспонденция до вручения адресату просматривалась полицией. Им запрещалось без разрешения отлучаться из мест поселений, в противном случае им грозил арест. Среди военнообязанных были люди самых разных профессий — механик, агроном, плотник, часовщик, сапожник, управляющий магазином, банковский служащий и т.д. К ним приехали в дальнейшем жёны, жёны с детьми, родители. Родные стремились облегчить военнообязанным их пребывание вдали от мест постоянного проживания, хотя, наверно, их прибытие создавало новую проблему — нужно было разместиться и прокормиться всему семейству.

В 1916 г. в Устьсысольске был открыт пункт для размещения военнопленных, которые были пленены в ходе военных сражений. Сюда направлялись военнопленные из других мест за совершённые побеги, антироссийскую пропаганду среди солдат, содержались они здесь на строгом тюремном режиме. Это означало, что продолжительность прогулки не превышала одного часа в день, передвигаться по городу в случае необходимости (посещение бани, магазина) военнопленные должны были в сопровождении конвойного. Офицерам, которые здесь находились, выплачивалось ежемесячное жалованье, у них были денщики (пленные немецкие солдаты), которые чистили им обувь и одежду. Несмотря на охрану, иногда они совершали побеги, но неудачно.

Условия содержания военнопленных в России, в том числе и в Устьсысольске, претерпевали определённые изменения, что в значительной степени было связано с положением пленных в Германии. 27 декабря 1916 г. воинским начальником была получена телеграмма: «Ввиду полученных официальных сведений, что нашим пленным в Германии было разрешено праздновать день Тезоименитства Государя Императора 6 декабря сего года, а равно разрешено праздновать предстоящий день Рождества Христова, Его Императорскому Величеству благоугодно было высочайше разрешить в лагерях военнопленных германцев допустить в день рождения императора Вильгельма 14 января 1917 г. пение германского гимна, служение молебствия, равным образом Высочайше разрешено праздновать день Рождества Христова».

Труд военнопленных нижних чинов использовался на строительстве Камско-Печорской железной дороги, которая должна была соединить верховья Печоры (Троицко-Печорск) с Камой через Чердынь. Дорогу построить не удалось, но были проделаны значительные подготовительные работы по прорубке просек, строительству опор для мостов, прокладке телеграфа. Труд военнопленных использовался и для очистки Северо-Екатерининского канала. Закрытие пункта военнопленных, очевидно, произошло после заключения Брестского мирного договора (март 1918 г.).

Сложным является вопрос о взаимоотношениях местного населения с военнообязанными и военнопленными. До наших дней дошла Библия 1911 г. издания на немецком языке, обнаруженная в с. Межадор. В фондах Национального музея

Республики Коми сохранилась берестяная люлька, изготовленная немецкими мастерами, обозначены их фамилии, имя новорожденного — Иван, обозначено село — Усть-Кулом, сделана надпись «Для памяти немецких военнопленных». Следует уточнить, что это были не военнопленные в прямом смысле этого слова, а военнообязанные, т.к. военнопленные появились в Устьсысольске только в 1916 г. В фондах также отложились два рисунка немецкого художника, который был выслан в Устьсысольск, они запечатлели облик города в военные годы. В с. Палевицы жители раньше, чем в других сёлах Коми края, познакомились с парниками, т.к. именно в этом селе проживал мастер по изготовлению парников, высланный сюда на проживание до окончания войны. Можно сказать, что взрослые, особенно дети, проведя здесь несколько лет, познакомились с коми языком на бытовом уровне и, наоборот, могло происходить приобщение местного населения к немецкому языку. Вернувшись домой, бывшие военнопленные и военнообязанные долго ещё вспоминали суровые морозы и баню, в которой они парились.

Война вызвала изменения и в организации работы учебных заведений Коми края. Мобилизация учителей на фронт привела к нехватке учителей, увеличению учебной нагрузки. Воспитанники духовного училища, высших начальных училищ подали заявления о том, чтобы их взяли «охотниками» (добровольцами). Учебный год заканчивался в более ранние сроки, чтобы «учащимся дать возможность к началу полевых работ быть на месте своих родителей и родственников для оказания им помощи». Усилился интерес населения к обучению детей в школах. Как сообщали учителя, «это объяснялось, главным образом, настойчивым требованием родителей учащихся, призванных на фронт: учить детей и не оставлять их



Рисунок немецкого военнопленного художника Хейльмейера. Общий вид г. Усть-Сысольска со стороны Парижа (с оврага). 1914–1916 гг.



*Рисунок немецкого военнопленного художника Хейльмейера. Вид г. Усть-Сысольска. На переднем плане — одноэтажные бревенчатые дома с пристройками, на заднем плане, справа — Троицкий собор. 6.09.1914 год.*

безграмотными». Кроме того, по обстоятельствам военного времени, «школа стала ближе к народу: в школу солдаты постоянно обращаются с просьбой прочитатель письмо и написать ответ, в особенности адрес, т.к. письмо может написать и учащийся».

Интересно отметить, что именно в годы Первой мировой войны в Печорском уезде были открыты школы во многих населённых пунктах. Так в 1914 г. были открыты сельские училища — Лабажское, Великовисочное, Варышевское, Косъёльское, Порожское, Картаёльское, Короворучейское, Диорское, Вертепское, Замезное, в 1915 г. — Лиственичное, Нарыгинское, Уезное, Малогаловское, Устьюзное, Смольноматерицкое, Мутноматерицкое, Брыкаланское, Пильегорское, Щельяюрское, Трусовское, Верхнебугаевское.

Существовала традиция, что в свидетельствах и Похвальных листах фиксировались не только тип школы, оценки, но в оформлении отражались события, переживаемые страной. На многих свидетельствах были изображены Николай II, наследник Алексей, Александра Фёдоровна и их дочери. В годы Первой мировой войны встречаются изображения Александры Фёдоровны и дочерей в форме сестёр милосердия. Первоначально главнокомандующим был великий князь Николай Николаевич, его портрет расположен под фотографией наследника. Изображены сражения как на суше, так и на море. Матросы, солдаты, казаки представлены на свидетельствах. Под портретом Николая II слова — «За Веру, Царя и Отечество». Лозунг «Всё для войны, всё для победы», слегка видоизменённый — «Всё для фронта, всё для победы» — будет использоваться и в Великой Отечественной войне. Нашла отражение и помощь учащихся — производство снарядов (очевидно, в ремесленных школах), занятость их на полевых работах, и даже письмо с фронта читал родным школьник. Самолёты, пулемёты, обстрел русской артиллерией неприятельских позиций, уничтожение неприятельского кавалерийского отряда — эти сцены из фронтовой жизни должны были внушать надежду, что враг





будет разбит. Фигура священника часто присутствует — «молебен перед боем», «молебен на передовых позициях». В 1914 г. исполнилось 100 лет со дня рождения русского поэта М. Лермонтова. Одно из свидетельств было оформлено к этой дате — изображены герои его произведений, обозначены сами произведения, портрет М. Лермонтова с обозначением дат рождения и смерти.

Все свидетельства и похвальные листы были изготовлены из плотной бумаги, красочно оформлены, большого размера. Их бережно хранили в семьях, а некоторые отложились в фондах высших начальных училищ в Национальном архиве РК, т.к. при поступлении нужно было предъявить документ об окончании начальной школы.

Таким образом, начало Первой мировой войны, как на территории России, так и в







**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

Устьсисольский Уездный Училищный Советъ  
 сим удостоверяетъ, что **Головъ**  
**Борисъ Михайловичъ**

родившійся 1906 года марта 15  
 отприписанія православнаго  
 устѣсно окончилъ въ 1916 году курсъ ученія въ  
**Головинъ-Итѣдѣевскій**  
**длинскій** начальномъ училищѣ.  
 Выдано 30 июня 1916 года.

Председатель Совета **Ивановъ**  
 Инспекторъ народныхъ училищъ **А. Д. Д. Д. Д.**  
 Члены Совета **И. К. К. К. К.**  
**М. М. М. М. М.**

Училищнаго Совета.  
 Училища.  
 № 285  
 47

Обстрѣлъ нашей Черно-Морской эскадры турецкаго побережья.

Уничтожене нашими летчиками германскаго аэроплана.

Уничтоженіе штурмовика кавалерійскаго отряда.

Наша пехота штурмовала ударомъ выбила германцевъ изъ ихъ окоповъ.

Наша артиллерія обстрѣляла боевъ неприятельскаго полка.

Изданіе «Белгородскаго вѣстника» Д. Платина, 1916 г.



# СВИДЕТЕЛЬСТВО

Училищное Списание 252.  
Училищный

Устьмысльский Уездный Училищный  
Советъ симъ удостовѣряетъ, что ученикъ  
Владимиръ Ивановичъ  
Хармановъ  
родивш. Феврала 15 1904 г.

бѣроисповѣданія Православнаго успѣшно  
окочилъ въ 1915 году курсъ ученія въ  
Технико-инженерномъ институтѣ  
начальномъ училищѣ.

Выдано Июль 30 1915 года.

Председатель Совета М. Чибриковъ  
Директоръ народныхъ училищъ Д. Плотникова

Членъ Совета Сели А. Волковъ  
Д. Плотникова



Д. Плотникова в. о. директор



Коми крае, было связано с патриотическим подъёмом населения. О желании «принести свои силы на алтарь отечества» писали в своих заявлениях крестьяне, дети священников, представители купеческого сословия, мещане. Уроженцы Коми края служили в различных воинских подразделениях, сражались храбро и мужественно. Многие из них получили боевые награды. Полными Георгиевскими кавалерами были Латкин С.И., Казродев И.Т., Уляшов Е.Е. В годы войны многие из жителей Коми края, мобилизованные на фронт, погибли, пропали без вести. Похоронки, извещения о пропавших без вести, заявления женщин с просьбами указания местонахождения их сыновей, мужей свидетельствовали о той трагедии, которая коснулась многих семейств Коми края.

Более двух тысяч коми солдат прошли через плен, большинство военнопленных находилось в Германии и Австро-Венгрии, их труд использовался на тяжёлых физических работах, условия проживания, как правило, были неблагоприятными. Письма, написанные этими людьми, незамысловаты по своему содержанию. Они донесли до нас глубину переживаний этих людей о своих близких, тоску по родным местам, стремление остаться живыми.

Изменения в составе населения Коми края в годы Первой мировой войны были обусловлены как мобилизацией местных уроженцев в армию, так и высылкой на эту территорию военнообязанных мужчин стран, воюющих с Россией и военнопленных. Содержание их регулировалось международными нормами. Контакты местного населения с военнообязанными имели место как в бытовой, так и в языковой сфере.



## Анна Некрылова

*Некрылова Анна Фёдоровна родилась в 1944 году в г. Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета. Училась в семинаре В.Я. Проппа. Окончила аспирантуру в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Кандидатская диссертация посвящена народному кукольному театру «Петрушка». Кандидат искусствоведения. Член Союза театральных деятелей. Много лет работала в секторе фольклора в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) и заведовала литературным музеем ИРЛИ. Сейчас заведующая сектором фольклора Российского института истории искусств (Санкт-Петербург).*

## Лубок Первой Мировой Войны

Среди великого разнообразия лубочной продукции особое место занимали картинки на военные темы. Они донесли до нас одну из граней сложного отношения к войне. Грань эта определялась законами лубочного жанра, отражавшего древнейшую оппозицию мы — свои и они — чужие в её этническом и временном преломлении.

Практически все войны, которые вела Россия на протяжении XVIII – начала XX вв. зафиксированы народной картинкой. Разумеется, наибольшую популярность она приобретала в периоды военных действий. Не случайно в 1812 г., во время Крымской кампании 1853–56 гг. и Русско-турецкой войны 1877–79 гг. количество батальных листов увеличивалось в десятки раз. Сто лет назад Вера Славенсон образно заметила: «Война — это та почва, на которой лубок разрастается буйной травой» (Славенсон, с. 91).

Первая мировая война 1914–1918 гг. не явилась исключением, она породила свой батальный лубок, который, с одной стороны, продолжал традиции, сложившиеся в этом жанре зрелищной печатной продукции, с другой — внёс много нового, обусловленного и событийным рядом — характером военных действий, и изменившимися вкусами потребителя, и, конечно, усовершенствованием техники полиграфии.

В советское время Первая мировая война была если не забыта, то отодвинута на задворки истории как антинародная, империалистическая, развязанная капиталистами и противоречащая интересам простого народа. Между тем факты говорят о том, что в начале войны во всех слоях русского общества преобладало восприятие её как войны освободительной, священной, как спасение Отечества от угрозы немецкого нашествия. Ограничусь лишь несколькими примерами.

Ф.И. Шаляпин, находившийся в конце июля – начале августа 1914 г. в Париже, пишет своей дочери И.Ф. Шаляпиной: «Я жалею очень, что я не в

России, а то я пошёл бы тоже на войну. Немцев я не очень уважаю, и с ними сразиться я не пренебрёг бы. Жаль только, что я не умею совсем обращаться с военными инструментами, напр. с ружьём и с пушкой, но подучился бы. Напишите мне, пожалуйста, подробное письмо обо всём, что происходит теперь в России. Я думаю, что там тоже царит большое оживление и воодушевление и там, наверное, верят в победу» (Шалапин, с. 515).

Николай Гумилёв, признанный в 1907 г. совершенно неспособным к военной службе и потому освобождённый от воинской повинности, в первые же дни войны отправляется добровольцем на фронт, зачисляется в лейб-гвардии уланский полк и уже в начале 1915 г. награждён двумя Георгиевскими крестами. Владимир Маяковский в автобиографии «Я сам» вспоминает о настроении в августе — октябре 1914 г.: «Война. Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Плакаты заказные и, конечно, вполне военные...» (Маяковский, с. 22).

В армию были призваны или ушли добровольцами многие поэты, актёры, художники. Вадим Шершеневич воевал в качестве вольно определяющегося и был ранен, Пётр Кончаловский служил артиллерийским офицером, Казимир Малевич — в инженерных войсках, Георгий Нарбут — в одном из санитарных поездов. В 1916 г. М. Добужинский был зачислен «в историческую комиссию Красного Креста, куда перетянул и Нарбута вместе с Чехониным и художником Калмаковым» (Добужинский, с. 294). В Восточной Пруссии в 1914 г. сражался в чине прапорщика Михаил Ларионов (получил тяжёлую контузию). Был ранен Бенедикт Лившиц, ушедший на фронт в самом начале войны и заслуживший Георгиевский крест. Принимали участие в военных действиях и братья Бурлюки: Николай сражался в составе радиотехнического дивизиона на Румынском фронте, в одном из боёв погиб Владимир Бурлюк.

Известно, что Зинаида Гиппиус категорически не принимала любую войну, но не заметить общего настроения она не могла, потому дневниковые записи её, датированные первыми месяцами войны, пестрят фразами: «Москва в повальном патриотизме», многие из интеллигентных словесников «физиологически заразились бессмысленным воинственным патриотизмом», «москвичи осатанели от православного патриотизма. Вяч Иванов, Эрн, Флоренский, Булгаков, Трубецкой и т.д. и т.д.!» Записывает она и слова швейцара: «Что ж поделаешь, дело общее, на всех враг пошёл, всех защитить надо», и слова студента, «перешагнувшего через горе матери» и записавшегося в Преображенский полк: «Я всё равно пойду, не могу не идти» (Гиппиус, с. 28, 24, 33, 25).

Большинство россиян поначалу верили в скорую победу. Приведу характерное для августа–сентября 1914 года обращение к читателям журнала «Столица и усадьба»: «Наша громадная армия доблестно сражается за Отечество, и вся страна с твёрдой уверенностью в безопасности и победе спокойно живёт, почти как в мирное время... Война пройдёт, за нею ждёт Россию ещё большее величие» (1914, № 16–17).

Подобных примеров проявления патриотизма можно привести много, они зафиксированы в мемуарах, биографиях известных людей, в дошедших до нас письмах, в поэзии и прозе тех лет, в изобразительном искусстве, в песнях и частушках, распеваемых простым народом.

С 1914 г. тема войны заняла главенствующее положение в искусстве. «Теперь война, как соль, её во всё кладут», — смеялся В.Дорошевич. Издавались сборники и альманахи, посвящённые войне, организовывались концерты русской музыки. Устраивались благотворительные выставки с участием художников всех направлений: «Художники — товарищам-воинам», «Художники Москвы — жертвам войны» и т.д.

Народная картинка органически вписалась в это патриотическое движение. В. Денисов справедливо заметил: «Лишь только раздались на границе первые боевые выстрелы, сейчас же громким эхом отозвались они в лубке, и тысячи, сотни тысяч ярко расцвеченных листков полетели с печатного станка в глубины России, обгоняя газеты и правительственные сообщения <...>. Прежде чем деревня разобралась, как следует, «за что» и с кем «погнали народ воевать», она уже видела немца — в каске, в синей одежде (тогда как своих лубок заботливо облекает в защитный цвет) с торчащими прусачьими усами»; изображая солдата-немца, лубок вложил в рисунок «всю колкость насмешки и пыл негодования» (Денисов, с. 1). Народная картинка немало способствовала созданию двойного образа врага. С одной стороны, врага не столько страшного, сколько свирепого, но ничтожного, нелепого, трусливого, с которым наши чудо-богатыри быстренько справятся. С другой, врага коварного, злого, безбожного, покушающегося на самое святое — на русскую землю и православную веру.

Чтобы понять, что и как запечатлел батальный лубок из событий Первой мировой войны, следует напомнить наиболее важные даты, связанные с военными действиями на русском фронте.

Первая мировая война продолжалась четыре с лишним года — с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918. В ней приняли участие 38 государств, на полях сражались 74 млн. человек.

Русский театр военных действий занимал одно из главных мест в этой войне.

1 августа (даты приводятся по старому стилю) 1914 года Германия объявила войну России, через четыре дня то же сделала Австро-Венгрия. Однако ещё 30 июля в России была объявлена всеобщая мобилизация. 2 августа русские войска перешли границу Пруссии и спустя три дня вошли в Галицию, на территорию Австро-Венгрии.

Первые недели для нашей армии были очень успешными: на Восточно-Прусском направлении 7 августа русские нанесли поражение германским войскам под Гумбиненом, через три дня — при Франкенау. 5 августа началась Галицийская битва силами пяти русских армий Юго-Западного фронта под началом генерала Н.И. Иванова против четырёх австро-венгерских армий под командованием эрцгерцога Фридриха. 21 августа русские войска заняли Львов, на следующий день — Галич, чуть позже — Городок и ряд других населённых пунктов. С 29 августа началось общее отступление австрийской армии. 27 сентября русские войска перешли Карпаты и вторглись в Венгрию. Таким образом, в кратчайший срок была занята огромная территория — Восточная Галиция и часть Буковины.

Между тем, в Восточной Пруссии русское командование не воспользовалось плодами первых значительных побед, и это дорого обошлось нашим войскам.

Уже 13 августа русские потерпели поражение при Танненберге, в течение следующих четырех дней 2-я армия генерала А.В. Самсонова была разбита, частью окружена и взята в плен. 1-я армия вынуждена была оставить все завоёванные позиции.

15 сентября наступлением немцев началась Варшавско-Ивангородская операция. Германские войска подошли к Варшаве и вышли на рубеж Вислы. Ожесточённые бои здесь шли с 29 сентября по 31 октября. К 26 октября, не добившись результатов, немцы отошли на первоначальные позиции, но 29 октября они предприняли повторное наступление в том же северо-западном направлении (Лодзинская операция). Русские поначалу сдерживали натиск, отбивая атаки, и сумели отбросить противника, отстоять Лодзь и Варшаву, однако противнику удалось захватить северо-западную часть Царства Польского. 6 декабря германцы заняли Лодзь.

В феврале 1915 г. русские предприняли наступление на Восточную Пруссию, но плохо подготовленное, не обеспеченное артиллерией, наступление мгновенно захлебнулось. Едва начавшись, вторая Августовская операция (под г. Августовым), обернулась контр наступлением германцев. В результате зимней кампании в Мазурии наши войска вынуждены были отступить. 17 февраля немцы отбили у русских г. Мемель (нынешняя Клайпеда). Следующее крупное сражение (25 февр. — конец марта) произошло на Польской земле — в районе города Прасныш, в результате которой русские разбили неприятеля и взяли город. Сложная ситуация сложилась в Галиции. С конца января 1915 года до середины апреля шли жестокие бои на Карпатах, в результате которых на юге Карпат русская армия потеряла большую часть Буковины, но 22 марта взяла крепость Перемышль. Это был последний успех русской армии в 1915 году.

19 апреля — 6 июня 1915 г. в ходе наступательной операции австро-германские войска прорвали русский фронт (Горлицкий прорыв), битва на реке Сан закончилась тем, что части Юго-Западного фронта (командующий Н.И. Иванов) оставили линию Сана, и период с 22 апреля по 9 июня вошёл в отечественную историю как «великое отступление» 1915 года. К 22 июня русские войска потеряли 500 тыс. человек, оставили всю Галицию, затем, в течение лета — Литву, Польшу. 3 июня оставлен Перемышль, 9 июня — Львов, 22 июля — Варшава и крепость Ивангород, 9 августа — крепость Осовец, 19 авг. — Гродно. 26 августа германские войска оккупировали Брест-Литовск, 18 сентября захватили Вильно (Вильнюс).

1915 год со всей очевидностью показал, что Российская империя не была готова к военной кампании такого масштаба. В действиях военачальников отсутствовала чёткая координация, сообщения передавались открытым текстом, так что противник был хорошо информирован о планируемых русскими операциях. К лету во всей полноте проявил себя кризис военного снабжения, на фронтах ощущался «снарядный голод» — катастрофически не хватало боеприпасов, особенно для артиллерии. Ближе к зиме в России начался топливный кризис, вызванный потерей Царства Польского с его угольными месторождениями (они давали России до четверти добычи каменного угля). Разумеется, сказались большая протяжённость фронта (1200 км), огромные людские потери, нехватка продовольствия, перенапряжение и спад экономики, невозможность быстрыми темпами перевести промышленность на военный лад и пр.



10 августа 1915 г. Николай II принял на себя обязанности главнокомандующего русской армией, переместив вел. кн. Николая Николаевича на Кавказский фронт.

1916 год был ознаменован единственным крупным успехом русской армии. Это знаменитый «брусиловский прорыв» 21 мая – 9 августа: в ходе наступательной операции Юго-Западного фронта русские войска под командованием генерала А.А. Брусилова нанесли серьёзное поражение австро-венграм и заняли Галицию и Буковину. Однако эта блестящая операция не смогла коренным образом изменить общее положение на Восточном фронте, не зря современники назвали брусиловский прорыв проигранной победой.

Нельзя не сказать о событиях на Кавказском фронте, где России пришлось сражаться с Турцией. 29 октября 1914 г. турецкие корабли обстреляли Одессу и Севастополь. 2 ноября Россия объявила войну Турции.

В 1914–1915 гг. на Кавказском фронте русская армия добилась значительных успехов. 30 октября – 16 декабря 1915 г. в ходе Хамаданской операции корпус генерала Баратова занял северную Персию. С 9 декабря 1914 по 5 января 1915 г. бои на территории Турции (Сарыкамышенская операция) завершились окружением и полным разгромом 3-й турецкой армии генерала Энвер-паши, наступавшей на русское Закавказье. Турки потеряли 90 тыс. человек и свыше 60 орудий, русские — 20 тыс. человек убитыми, ранеными и больными. Позднее русские войска овладели Эрзерумом и Трапезундом.

Сражения велись и на море, однако главными участниками на русском театре военных действий были сухопутные войска, а не военно-морской флот. Отметим лишь несколько моментов: в ночь на 16 октября 1914 г. германо-турецкие корабли атаковали русские черноморские порты; 1 мая 1915 г. начался поход русской эскадры Черноморского флота к Босфору. 19 июня 1915 г. произошёл бой русской бригады крейсеров с отрядом немецких кораблей при шведском острове Готланд. В августе 1915 г. русские моряки отразили попытки немцев прорваться в Рижский залив, тогда же шли бои за Моозундские острова.

Февральская революция 1917 г. вызвала в России бурное развитие антивоенных настроений среди солдат, армия стремительно теряла боеспособность, происходило массовое дезертирство.

Одним из первых декретов после Октябрьского переворота стал «Декрет о мире». 2 декабря 1917 г. советское правительство в одностороннем порядке заключило с Германией перемирие, а в марте 1918 г. подписало тяжёлый для России Брест-Литовский мирный договор.

В конце 1918 г. в Германии была установлена парламентская республика, а 28 июня 1919 года в предместье Парижа был заключён Версальский мирный договор, ознаменовавший окончание Первой мировой войны. Но всё это происходило уже без участия России.

Легко заметить, что далеко не все эпизоды Первой мировой войны отражены в лубочных картинках. Основная масса лубочных листов, порождённых этой войной, была создана в 1914–1915 гг. Картинок, имеющих отношение ко второй половине войны, практически нет. Объясняется это самой природой лубка, ориентированного на победы, на демонстрацию доблести и героизма своих солдат, силы, мощи и

торжества отечественного оружия. Лубок даже мысли не допускал о неудачах, тем более о поражении русской армии, он свято верил и уверял своих почитателей в непобедимости наших солдат и полководцев. На картинках убитые — практически только враги.

Начальный период Первой мировой войны вполне соответствовал лубочному апофеозу. Как писал В. Денисов, «успешные действия наших войск в течение первых месяцев войны дали богатую пищу для лубка, и нет такого события или подвига, которые не отразились бы в одном, а то и нескольких листах», «что ни день, выходило несколько штук: свыше тысячи номеров было выпущено лубочными издателями, а ведь иные выпуски достигали сотни тысяч экземпляров» (Денисов, с. 4). Действительно, спрос на военные лубки породил несколько новых издательств и конкуренцию между ними. По сведениям Л.В. Родионовой, «выпуском лубочных картинок к началу войны занималось более 60 типолитографских и литографских производств Российской империи» (Родионова, с. 59).

Когда же победы сменились поражениями, война приняла затяжной характер и популярность её резко упала, пропал и интерес к батальным картинкам. Теперь они казались излишне хвастливыми, далёкими от реального положения дел на фронтах. Лубок не мог смириться с действительностью. Он просто перестал быть, прекратил своё существование.

Лубочные картинки Первой мировой войны можно подразделить не несколько групп.

Одна из них, немногочисленная, представляет собой лубки-аллегии, использующие хорошо понятные, традиционные образы-символы.

К популярным аллегориям патриотического лубка относится обобщённый образ России, Родины-матери (не случайно этот образ обрёл своё второе рождение во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.). Одна из картинок — «Россия и её воин», на которой фигура, олицетворяющая Родину, отвечает на слова солдата «Раздавить нас немец хочет, он коварен и силен, у него на всё машины...»:

...Пушки сами не стреляют,  
Цеппелины — не летят,  
Ими люди управляют,  
Храбрецы лишь победят...

<Враг> забыл, что силой духа  
Мы над всеми верх берем...  
Уж близка его разруха,—  
Смело бей его штыком!..

(типолитография Е.Ф. Челнокова)

В лубке «Россия — за правду» центральное место занимает фигура Родины-матери со всеми атрибутами защитницы и воительницы: в русском шлеме, кольчуге и красном плаще, со щитом и мечом, на груди — крест. Двуглавый змей, попираемый её ногами — олицетворение зла, несправедливости, насилия. Под изображением стихотворный текст некоего М. Петрова:

Не в первый раз отчизна дорогая  
 Вступила в бой за правду и любовь,—  
 Не в первый раз, честь братьев защищая,  
 Россия льёт свою святую кровь...  
 ...Победный меч св. Михаила  
 Вернёт земле согласие и любовь!..  
 (типолитография И.М. Машистова)

Знакомой символикой перенасыщен лист «За веру, царя и отечество»: портрет Николая II в медальоне, царская корона, лавровые ветви, двуглавый орёл с огромными крыльями над златоглавой Москвой, подписи «С нами Бог!» и «Боже, царя храни!». Эпизоды, сгруппированные вокруг портрета императора, типичны для эпохи больших войн, они призваны отразить настоящее и отсылать к истории: сбор пожертвованных, благословляемый священником; народное ополчение с вилами, косами, топорами (эти картинки напоминают времена Минина и Пожарского и Отечественной войны 1812 г.), атака солдатская, убитый на открытом поле и воронья над ним — почти иллюстрация к известной народной песне; наконец, детально прорисованная народная масса, где узнаются представители всех народов России, в едином настрое внимающие призыву к священной войне.

«Священная война» — огромная, во весь лист фигура воина-победителя (с чертами Николая II) с мечом и в доспехах, озарённого сиянием солнца — олицетворение непобедимого русского воинства, которому, подобно былинным богатырям, ни горы, ни реки не преграда (река под ногами императора — просто маленький ручей), за которым — могучая рать и Божье благословение. Изображение снабжено стихотворением под названием «Могучая Русь»:

Война... Охватила нас радость глубокая,  
 Падём на колени пред ликом Творца  
 И будем молиться, чтоб дело высокое  
 Господь нам помог довести до конца!  
 Защитница сирых, Россия могучая,  
 Грозою небесной иди на врага...

и т.д. (литография Н.А. Стрельцова)

К наиболее многочисленной группе относятся «героические картинки» с изображением победных битв. Русский лубок очень редко обращался к боям на Западноевропейском театре военных действий. Успехи союзников интересовали лубочников, разве что как свидетельства очередного поражения немцев. Известны листы, повествующие о «геройском отражении бельгийцами бешеной атаки немцев» под Льежем, о разгроме германских войск на французской границе и т.п. Зато, как уже было сказано, практически все успешные операции русских войск 1914–1915 гг. нашли отражение в народных картинках, нередко представленных в нескольких вариантах, каждый из которых — своеобразная импровизация на заданную тему, при строгом следовании выработанным канонам лубочного печатного творчества.

Главное внимание лубочных рисовальщиков и издателей было приковано к трём операциям: Восточно-Прусской, Варшавско-Ивангородской, Галицийской.

Из боёв в Восточной Пруссии в лубке запечатлено «Поражение германских войск у Гумбинена», «Бой под Августовым», «Разгром германских корпусов под Праснышем». На разгром немецко-австрийской армии на Средней Висле в сентябре–ноябре 1914 откликнулись лубки «Битва за Вислой», «Бой под Ивангородом» (крупным железнодорожным узлом, защищавшим переправу через Вислу), «На берегах Вислы», «Поражение и бегство германских войск за Вислой 11 ноября 1914 г.». Несколько лубочных картинок повествуют о боях на берегах Немана («Поражение немцев на реке Немане», «Битва с немцем у реки Немана»).

Множество картинок посвящено успехам русской армии в Польше и в Галиции: «Поражение австро-германских войск у реки Сан» — правого притока Вислы, «Бой на австрийской границе», «Взятие германских позиций нашим сибирским отрядом». В разных вариантах обрисовал лубок освобождение Варшавы 19 августа, где «особо отличились сибирские корпуса», а «австрийцы бежали в беспорядке» («Разгром немцев под Варшавой»).

Не пропущен ни один город, занятый нашими войсками: «Бой у Городка» (город в Львовской обл., на окраине которого шли кровопролитные бои, известные как «Городецкая битва»), «Бой под Лодзью», бои за Галич, Мариамполь, Осовец, Ярослав, Лык, Чортков, Слидомир и др. Особого внимания удостоилось сражение под Львовом и взятие города в ходе Галицийской битвы в августе 1914 г.: «Разгром австрийской армии под Львовом», «Взятие Львова», «Взятие русскими войсками Львова».

Достаточно много лубков о сражениях на галицийском фронте создано в течение 1915 г. («Бой в Карпатах» и др.). Радостно, восторженно было принято известие о капитуляции 22 марта Перемышля — хорошо укреплённой австрийской крепости на юго-востоке Польши. Что касается лубочных изображений — они появились ещё тогда, когда Перемышль был осаждён русскими войсками, одновременно представив своему зрителю и осаду крепости, и — заранее — её падение. Таковы картинки «Осада Перемышля», «Взятие австрийской крепости Перемышля», «Падение Перемышля» и др.

Большинство подобных картинок издалось в нескольких вариантах, причём разными литографиями в разных городах.

Наряду с изданиями, связанными с конкретными военными событиями, выпускались и обобщённые, рисующие типичные, как виделось авторам лубка, боевые эпизоды войны, например, «Казацкая атака», «Артиллерийский бой» и т.п.

Значительно меньше картинок, откликнувшихся на военные действия на юге России — с турками, союзниками Германии. Один из листов, состоящий из двух картинок («Про трусость турецкую да про удаль молодецкую»), напоминает о победах русских (взятие Плевны, Карса и Шипки) над Османской империей в войне 1877–1879 гг. и о разгроме турецкого флота в Синопской бухте (1853 г.).

Значительную группу военных лубков 1914–1915 гг. составляют листы, в которых внимание уделено отдельным группам войск, например, «Взятие германских позиций нашим сибирским отрядом». Главными же героями представлены казаки. По словам В. Славенсон, «казак — это излюбленная тема лубочного творчества» ещё со времён прусской войны при Елизавете Петровне (Славенсон, с. 99). Откровенное любованье и гордость за лихих казаков переполняют авторов лубка, заражая тем же своих почитателей. Тут не просто храбрость, смелость, а

какая-то невероятная, прямо сказочная удаля, упоение боем. В многофигурных батаях на фоне схематично изображённых пехотинцев, над помещёнными внизу листа убитыми и ранеными нередко крупным планом изображаются казаки-кавалеристы, с саблями и шашками наголо, которые шутя расправляются с количественно превосходящим противником («Поражение германских войск у Гумбинена», «Разгром австрийской армии под Львовом», «Казацкая атака», «Лихая атака казаков», «Геройский подвиг кубанских казаков»).

Среди героев, удостоившихся быть запечатлёнными в лубке, тоже больше всего казаков.

«Подвиг казака Лавина» (литография т-ва Сытина) — на картинке один казак конвоирует на лесной дороге целый отряд испуганных пленных. Подпись гласит: Лавин «будучи в разведке, в лесу наткнулся на отряд из 19 австрийцев, среди них три офицера». Храбрец всех взял в плен и препроводил в свою часть. «Подвиг казака Филиппа Приданникова» — пеший казак в полный рост идёт на нескольких солдат противника, за ним — эффектное сломанное дерево, то ли защищающее казака со спины, то ли символ негибачего духа нашего героя (можно сломать дерево, но сломить казака нельзя).

Из всех отечественных героев Первой мировой войны наибольшей популярностью пользовался легендарный Кузьма (Козьма) Крючков — первый из низших чинов русской армии, награждённый Георгиевским крестом. Ему посвящено огромное количество лубочных картинок, масса пропагандистских дешёвых брошюр, стихи и песни, бесконечные статьи в периодике времён войны. Он сродни знаменитому Силе Вихреву и старостихе Василисе эпохи Наполеоновского нашествия и Василию Тёркину А.Т. Твардовского. Но в отличие от последних Козьма Фирсович Крючков — не вымышленное, а реальное лицо, донской казак, родившийся в 1890 г. на хуторе Нижне-Калмыковском Усть-Хопёрской станицы, воевавший в составе 3-го Донского казачьего полка.

По устоявшейся версии, Крючков за день до официального вступления России в войну, находясь «с четырьмя товарищами в разведке, заметил немецкий разъезд в 27 всадников <...> свалил 11 немцев и сам получил 16 ран» (лубок «Геройский подвиг донского казака Козьмы Крючкова»). Подвиг Крючкова тут же оказался в центре внимания лубка, он повторен, по меньшей мере, в 10 вариантах (Денисов, с. 4), выходявших огромными тиражами. В Отделе эстампов Российской национальной библиотеки имеются 24 картинки, посвящённые подвигу донского казака, печатанные в разных городах (Москва, Одесса, Казань, Рига, Петроград, Киев, Вильна, Гродно) (Недвиг, с. 215).

По сути, подвиг Кузьмы Крючкова не является чем-то совсем уж неординарным, в тех же лубках и сводках с фронта о подобных случаях и поступках сказано немало. Но именно Кузьма Крючков попал в лучи славы и сделался героем массовых печатных изданий и лубка, символом героизма, отваги, смекалки, именно ему стали приписываться черты характера, поступки, связываемые с положительным, по-фольклорному идеальным, типическим образом русского солдата. (В советское время Кузьма Крючков был вычеркнут из истории и о подвиге его не упоминалось. Причина ясна: в гражданской войне Крючков участвовал на стороне белоказачков. Он был убит в бою под деревней Лопуховка Саратовской губернии в 1919 году) (Недвиг, с. 214–215).

Из других героев Первой мировой войны на лубочные листы попали два авиатора: Н.П. Нестеров и Ролан Гаррос (Гарро). Н.П. Нестеров — известный русский лётчик, первым совершивший знаменитую мёртвую петлю, названную его именем. 26 августа 1914 г. он применил первый в истории мировой авиации воздушный таран, ценой своей жизни сбил австрийский самолёт. Ролан Гарро — французский лётчик, сбитый 18 апреля 1915 г. над германскими позициями и попавший в плен. В 1918 г. он бежал из плена, вернулся в авиацию и вскоре погиб в воздушном бою.

Не оставил без внимания лубок и сопротивление врагу мирных жителей. Одна из таких картинок — «Геройский подвиг польских крестьян», повествующая о событии, имевшем место в небольшом городке: 26 июля австрийский драгунский патруль выехал на рынок городка. Горожане и крестьяне с косами, топорами и вилами прогнали его, обратив в бегство. О том же картинка «Бой под Мариамполем»: местное население вступает в бой с неприятелем, помогая наступлению наших войск.

В отличие от народных гравюр, освящавших прежние военные кампании, массовый лубок Первой мировой войны практически не знает портретов главнокомандующих. По традиции, на аллегорических листах-воззваниях помещался портрет императора. Главная причина отсутствия портретной галереи командующих войсками, по всей видимости, заключается в том, что после первых побед генералы показали себя не с лучшей стороны — пошли поражения, да и до войны большинство их не снискало любви и уважения солдат. Даже знаменитый «брусиловский прорыв» не изменил положения на фронте. Портрет Алексея Алексеевича Брусилова или вовсе не появился в народном лубке, или таких листов было очень мало. Один из немногих, удостоившихся портрета на лубочной картинке, — генерал-адъютант от инфантерии Николай Владимирович Рузский (1854–1918), в годы Первой мировой войны командующий 3-й армией Юго-Западного фронта, затем Северо-Западным фронтом, 6-й армией и Северным фронтом. Появление его портрета связано с успешной операцией по взятию Львова в самом начале войны.

Можно говорить о своеобразной достоверности батальных лубочных картинок, имея в виду детали, так сказать, бутафорию и реквизит событий на театре военных действий. Прежде всего это обмундирование и оружие. Основным вооружением по-прежнему оставались пушки, сабли, шашки, ружья, у казаков ещё и пики, у офицеров — пистолеты. Однако двадцатый век заметно перевооружил армию, и лубочники старались зафиксировать все новшества. Картинки изобилуют изображениями последних достижений военной техники, транспорта, средств связи (пулемёты, мины, автомобили, велосипеды, телефонный аппарат, колючая проволока заграждений, мощные прожектора и т.д.).

На лубке середины XIX века первые железные дороги, особенно паровозы с вагонами, изображались как чудо века, они восхищали и удивляли, но ещё не мыслились в качестве обычного удобного транспортного средства. Кю времени Первой мировой войны сеть железных дорог в Европе, да и в Европейской части России была достаточно развита, и значение её в условиях войны (доставка и переброска войск) уже трудно было переоценить. Как яркая примета времени

железная дорога попала и в батальный лубок. В нескольких картинках действие происходит на железнодорожных путях: взорванные горящие вагоны, из которых выскакивают военные, на рельсах пассажиры в панике (напр., «Бой под Чортковым»); похоже, впервые в лубке изображается железнодорожная станция как место, откуда провожают на войну («Проводы на войну за святое дело»).

В прежних батальных картинках не было сцен уличных боёв, теперь же они отражены в целом ряде лубков: «Разгром германцев под Праснышем», «Бой под Мариамполем», «Взятие русскими немецкого города Лык».

В ходе Первой мировой войны впервые была применена авиация. Правда, она тогда не играла столь важной роли, как в 1941–1945 гг., но само появление летающих аппаратов, участие их в военных операциях произвело неизгладимое впечатление на современников. Лубок, разумеется, не мог обойти стороной эту новую технику. То и дело на картинках-сражениях встречаются дирижабли, самолёты, взрывы рисуются не только на земле, но и в небе. Однако не встретилось картинок, целиком посвящённых боям в воздухе, если не считать лубков о подвиге Нестерова и Гарро. Воздушный бой всегда даётся как видимый с земли, издали, потому схематичный, скорее фиксирующий наличие авиации, чем конкретное её участие в сражениях.

Наибольший интерес, а поначалу и страх у простых солдат вызывали огромные дирижабли. Известно, что за время войны немецкое командование ввело в действие 123 дирижабля, совершивших около 800 вылетов. Но опыт применения дирижаблей не был успешным, значительная часть их была сбита артиллерией и авиацией союзников. Именно такие моменты чаще всего привлекали лубочников. Красноречива картинка «Захват австрийского дирижабля» — тут и сам дирижабль, и легковой автомобиль с укреплённым на нём пулемётом, и стрельба по диковинной летательной машине из винтовок. Лубочная версия на ту же тему — «Взятие в плен германского дирижабля и гибель германского аэроплана». Картинка «Австрийский цеппелин» подана в карикатурном ключе: у сбитого вражеского дирижабля скрючились две тощие, обтрёпанные фигуры немецких пилотов, один из них связан. Чуть поодаль — группа, состоящая из представителей разных народов России, с эпическим спокойствием вззирающая на позорное приземление. Внизу издевательская подпись: «Сообщение немецкого генерального штаба. Отправленный для завоевания России, цеппелин благополучно опустился на русскую землю. Спуск совершён по всем правилам военной науки».

Лубочные рисовальщики стремились показать размах и накал битв, используя традиционные приёмы: огромные массы сражающихся, как со стороны русских, так и противников, обычно на открытом пространстве, на фоне горящего города, военной крепости, на берегах рек. Чаще всего изображаются самые острые, кульминационные моменты боя — яростная атака, штурм, захват позиций неприятеля. Непременен в этой «массовке» есть «солирующие» персонажи — один-два воина, олицетворяющие победный натиск и неизбежное сокрушение врага. Центральные крупные фигуры к тому же формируют композицию, держат лист. Верный своему стилю, батальный лубок сочетает достоверность в деталях с обобщением, схематичностью, отсюда — удивительное сходство картинок в целом — из лубка в лубок повторяющиеся красочные взрывы, почти одинаково убегающие

фигуры неприятеля и устремлённая на врага лавина кавалеристов, условно изображённые крепости (всегда на заднем плане), реки, холмы, городские и деревенские дома. Герои отечественные, реальные и типические, часто выделяются размерами — один из характерных приёмов лубка. Противник кажется по сравнению с нашими — ничтожным, слабым.

Используя новую технику печати, внося элементы современной ему действительности, батальный лубок упорно следовал выработанным канонам жанра, в частности, используя ограниченный набор чистых, интенсивных тонов, которые создавали своеобразную декоративность. При стремлении плотно «населить» картинку, чтобы её можно было долго рассматривать, лубочные мастера прибегали к апробированным средствам добиваться эффекта развёртывания сюжета, умели передавать эмоцию боя, динамику и напряжённость за счёт чёткого ритма частей, сжатости эпизодов, чёткости движений и жестов, интенсивных штрихов и ломаных линий, неправдоподобно увеличенных ярких разноцветных взрывов, за счёт игры масштабами.

«Война в лубке похожа на игру в солдатики и изображается с казовой, праздничной стороны. И хотя лубок любит прибегать к сгущению тонов, но это делает его в глазах народа ещё значительнее и заманчивее. Все эти баталии, где дыбятся кони, рвутся шрапнели и льётся кровь, всё это — народная романтика, разукрашивающая, таким образом, тягостное иго войны» (Славенсон, с. 111). Действительно, ведь и о самой войне говорили как о ТЕАТРЕ военных действий, а все изображения битв и героических поступков принимали вид захватывающего зрелища: кульминационные моменты штурмов укреплённых позиций или торжественного вступления в освобождённые города подавались и оформлялись подобно театральным апофеозам.

Как правило, рисунок в таких лубках сопровождается текстом, и тут мы вновь сталкиваемся с, казалось бы, прямо противоположными подходами. Если сам рисунок — проявление яркого, эмоционального, в чём-то романтического представления о победоносной войне и неустрашимых наших воинах, то подписи зачастую представляют собой сухую информацию — цитируются или пересказываются газетные новости и сообщения от главного управления генерального штаба. К примеру, в популярной картинке «Битва под Вислой» изображается лихая атака наших солдат, которая поневоле воспринимается как начало или завершение блестящей разгромной операции; в тексте же речь идёт о затянувшейся обороне: «От штаба Верховного Главнокомандующего от 17.X.14 г. На восточно-прусском фронте упорные бои. Настойчивые атаки германцев в районе Бакараржева спокойно отражаются нашим войском» (изд. Н.Д. Алексеева). Конечно, в значительной части лубков-сражений патриотический настрой проявляется и в подписях, но всё же далеко не так пафосно, как в рисунке: «Наша доблестная пехота выбивает германцев штыками из их позиции и прогоняет обратно в Пруссию» («Бой под Августовым», изд. М. Фрейберга).

Иногда подписи намеренно подчёркивали силу и количество противника, причём языком официальных донесений. Характерна картинка из серии «Великая Европейская война» «Бой под Дильманом»: «“Кавказскому слову” сообщают из Дильмана о необычайно высоких достоинствах той турецкой армии, с которой пришлось иметь дело русским в последнем бою. Прекрасно обученные, умело применявшиеся



к местности, <...> метко стреляющие аскеры грозными волнами набегали на наш хребет...» Но, разумеется, чем сильнее враг, тем почётнее победа над ним. Турки потеряли 15 тысяч человек убитыми и ранеными и поспешно отступили, «гонимые нашими доблестными войсками» (литография т/д А.П. Коркин, А.В. Бейдемман и К??). Вариант популярного лубка о бое под Городком сопровождается подробным рассказом о том, как части генерала Брусилова разгромили австрийскую пехоту и венгерскую кавалерию: «В дело была брошена лучшая кавалерийская часть, цвет австро-венгерской армии, будапештская гвардейская дивизия»; «одетые в яркие жупаны, сомкнутыми рядами в бешеном галопе вихрем неслись венгры», навстречу им «лихо вылетели наши гусары»; через два часа «от блестящей будапештской гвардейской дивизии не осталось ни одного человека». Генерал Фрорейх «не перенёс позора поражения и застрелился тут же, на поле битвы» («Разгром венгерской кавалерии под Городком». Типолит. С.Мухарского). В той же типолитографии была выпущена ещё одна картинка о бое под Городком, которая сопровождается другим текстом: «Петроград. 6 августа. <...> 4-го августа, в 12 часов дня, австрийская дивизия подошла к линии Городок-Кузьмин. Наша конница завязала бой у Городка, длившийся 5 час. Огнём и конскими атаками противнику нанесён урон. Всё поле усеяно неприятельскими трупами. Наши потери незначительны. Около 7 час. вечера того же числа расстроенная австрийская дивизия отошла, преследуемая нашей конницей».

Помимо картинок, запечатлевших батальи и героев, выпускались карикатуры, сатирические и остроумно-язвительные листы. Вообще говоря, насмешка над врагом пронизывает все батальные картинки. Чего стоят утрированно зверские или искажённые страхом лица неприятеля, их неправдоподобно маленькие, скрюченные, как будто в судорогах, фигуры, улепетывающие от наших неустрашимых воинов. В листе «На буксире» громадный солдат в лихо сдвинутой на бок фуражке бежит, пританцовывая, держа за уши двух уродцев — «Вилю» и «Фрица» (немца и австрийца, в которых узнаются императоры Германии и Австрии), похожих на тантамарески — с большими головами, маленьким телом и тонюсенькими дрыгающими ножками. Одну из подобных картинок вспоминал В. Варшавский: «Казак в синих, с красными лампасами шароварах, зажав Вильгельма между колен, бьёт его, приговаривая: «Хоть одет и ты по форме, Получай-ка по платформе». Усатый, в белых штанах Вильгельм, с перекошенным от боли и страха лицом дрыгает ногами в чёрных ботфортах» (Варшавский, с. 15).

Традиционная тема — комическое изображение карты военных действий — подхвачена лубком «Немец и австриец за картой Европы» с язвительной подписью: «Наполеон приобрёл славу под Москвой, Карл XII — под Полтавой, а мы с тобой — под Варшавой». «Карта военных действий 1914 г.» с карикатурными фигурками представителей воюющих с нами стран была выпущена издательством «Кривое зеркало». В упомянутых воспоминаниях Варшавского есть такая запись: В Москве «в окне одного из магазинов на Тверской — большая карта, утыканная маленькими хорошенькими флажками. Зелёная Россия — больше всех. Её толстый шишковатый нос, Польша, упирается в розовую Германию, согнутую в поясе, как дама с протянутой вперёд рукой. А голова Германии приходилась между носом и лбом России. Выше — голубое Балтийское небо» (Варшавский, с. 15).

\* \* \*

Особого разговора заслуживают картинки, созданные профессиональными художниками. Напрашивается прямая параллель с эпохой Отечественной войны 1812 года, когда к созданию рисунков, гравюр в стиле народного лубка обратились известные художники, прежде всего И.Теребнев, лубочные карикатуры которого пользовались большим спросом и немало способствовали замене страха перед французами насмешкой над ними. Если вспомнить, что война 1914–1918 гг., особенно в самом её начале, именовалась Второй Отечественной войной, легко понять, насколько важным и притягательным оказывался агитационно-пропагандистский опыт войны столетней давности. Многие деятели культуры отозвались на призыв участвовать в войне — кто-то уходил на фронт, кто-то пошёл служить в санитарные поезда и лазареты, а кто-то решил применить свои профессиональные знания и умения в новом для себя направлении и жанре. Так появилось целое течение, поставившее перед собой задачу создания современной галереи лубочных листов, долженствующих, как в 1812 г., развенчать врага, высмеять его и одновременно воспеть величие Родины и её защитников, за которыми — Бог, Отечество и Правда. Сразу наметилось два подхода к тому, какими должны быть современные картинки — «старыми на новый лад» или новыми, в духе традиционного лубка, но не как копирование и подражание.

Ретроспективное направление исходило из популярности классических лубочных листов и из опыта прежних мастеров-лубочников. Нередко в периоды военных кампаний лубочники использовали старые доски с популярными сюжетами, принаравливая их к нынешней ситуации. Этот принцип лёг в основу работ художников, занявшихся переименованием старинных народных гравюр, хорошо известных всем слоям населения. Чуть-чуть подправленные, они как бы протягивали мостик из прошлого в настоящее, создавая, подобно любой хорошей пародии или переделке, комический эффект. Прежде всего это касается листов XVIII – начала XIX вв., печатавшихся с деревянных и медных досок, где постоянным объектом насмешек выступали немцы (вообще чужеземцы и иноверцы) и где было выведено множество «потешных персон» — модниц, шутов, дураков, молодящихся стариков, обжор, кутил и пр. Оказалось, эти персонажи, слегка осовременённые или неожиданным образом вписанные в настоящее время, великолепно отражают сегодняшнее и традиционное отношение к врагам с их «дурацкими», в глазах русских, привычками, с приписываемой им глупостью, бахвальством, трусостью.

Именно это направление представлено альбомом из 99 листов «Картинки — война русских с немцами» (Петроград, 1914). Картинки, созданные художником Н.П. Шаховским в подражание лубку XVIII века, воспроизведены литографским способом и от руки раскрашены акварелью. Текст к ним написал известный коллекционер и издатель памятников древнерусской литературы В.И. Успенский (Шилов, с. 111). Источником пародийных лубков альбома в основном послужило знаменитое издание «Русские народные картинки», осуществлённое в 1881 г. Д.А. Ровинским. По сути, использовался один прием: гротескным фигурам традиционных лубочных «дурацких персон» придавались черты нынешних противников — немцев, австрийцев, турок и/или в соответствии с событиями современной войны изменялись подписи под старыми картинками. Так, «Ералаш с

молодицей» новым текстом под прежней картинкой превращён в «Султана турецкого с женой». Популярная картинка, где Парамошка с Савоськой играют в карты, при сохранении общей композиции, интерьера, позы игроков, представлена как «игра в карту военных действий» двух фигляров — императоров Франца Иосифа и Вильгельма II. Лист с шутовскими портретами (каждый в своей рамке) Карла и Карлицы под рукой Шаховского оказался разделённым на две самостоятельные картинки. Карлица, у которой убраны с лица мушки, а в руку вложен череп, стала ни много ни мало «женой немецкого людоеда Августа — чтоб ей было пусто!». В облике Карлы — «саксонский обер-шталмейстер Отто Блох», заменивший собачонку у ноги старинного лубочного Карлы на игрушечный автомобиль, а трость на хлопущку, и повесивший на занавеси свой герб. Из картинки «Пан Трык и Херсоня» убран женский персонаж, зато к бывшему пану Трыку, а ныне главному участнику «Нового тройственного союза», добавлены два других союзника: собачка в турецкой феске и мартышка с лицом Франса Иосифа. «Фома и Ерёма», как и прежде, сидят за столом с чарками и бутылкой, но развёрнутый диалог XVIII века заменён одной фразой «от рисовальщика»: «Хорошее утешенье после поражения».

Шаховской не преминул воспользоваться и популярными гравюрами времён Елизаветы Петровны — Александра I с изображениями экзотических и курьёзных птиц, а также «нечистых» животных. Заморская «Птица попугай» сгодилась для насмешки над турецким султаном, в лапе у неё кинжал, а на голове феска с полумесяцем и звездой. Похожую метаморфозу пережил и «Куре доброгласное». У «Индийского петуха», названного теперь по-простому — индюком из «цесарския земли», голова — карикатурный портрет Франца Иосифа, на выпавших из роскошного хвоста перьях — названия городов, занятых русскими войсками (Львов, Черновцы, Галич, Ярослав). Козёл, свинья, пёс, обезьяна — животные, с которыми издавна у русских связаны негативные ассоциации и поверья, сгодились для унижения и осмеяния врага, к примеру, на одном из листов альбома запечатлена «Голодная свинья» с усами Вильгельма и в кайзеровской каске.

Часть художников обратилась к древнерусскому искусству, используя, главным образом в плакатах, образы витязей, богатырей, легендарных защитников Руси, а также славянский шрифт, характерный для лицевых рукописных книг, мотивы русского национального орнамента. Таковы, к примеру, плакат К. Коровина «Всероссийский земский союз помощи больным и раненым» с фигурой Дмитрия Донского в облачении воина времён Куликовской битвы и с призывом «Жертвуйте жертвам войны»; плакат Риммы Браиловской «Граждане Москвы, оденьте беженцев» (верхняя часть — Георгий Победоносец на коне с копьём, пронзающим маленького тщедушного змея, вторая половина плаката — внизу — подпись крупными славянскими буквами); созданный в декабре 1914 г. плакат Виктора Васнецова, приглашающий на благотворительный базар, средства от которого должны пойти на нужды войны, — с занимающей большую часть листа картиной битвы русского богатыря с трёхголовым змеем. Тот же Георгий Победоносец изображён Козловым на афише и программках Концертов русской музыки. Своеобразной вариацией лубка и народной иконописи является картина Натальи Гончаровой «Святой Георгий» (1914 г.) и её же «Ангелы и аэропланы».

В художественном плане особую ценность представляет деятельность художников, объединившихся в начале Первой мировой войны вокруг издательства «Сегодняшний лубок» и журнала «Лукоморье». Это были художники нового времени, либо входивших в объединение «Мир искусства», либо принадлежавшие к тому течению, которое принято называть «русским авангардом». Яркие индивидуальности, разные по убеждениям, по принадлежности различным направлениям авангардного искусства, использующие разные приёмы в живописи и графике, они пришли к лубку через увлечение народными художественными промыслами (лаковая миниатюра, роспись подносов, кустарные игрушки и пр.) и городским народным примитивом (вывески, изразцы, эстетика балагана, язык «улиц и площадей», частушки и т.п.). Стоит напомнить о громадном успехе устроенной М. Ларионовым в 1913 г. выставки иконописных подлинников и лубков.

«Сегодняшний лубок» был основан Г.Б. Городецким в августе 1914 года и просуществовал всего несколько месяцев, уже к ноябрю объединение распалось. Прекратили свою «лубочную эпопею» и художники. Обуреваемые в начале войны патриотическим настроением, они вскоре — после поражений наших войск и собственного участия в военных действиях или в различных военных ведомствах — увидели реальную, жестокую и ужасающую правду войны, соответственно, охладели и к ура-патриотическим произведениям.

Но в первые недели-месяцы начавшейся войны идея создания современного батального лубка захватила Казимира Малевича, Георгия Нарбута, Илью Машкова, Аристарха Лентулова, Владимира Маяковского, Осипа Шарлеманя, Дмитрия Моора и др. Часть лубков и лубочных открыток и плакатов создавалась по эскизам Н.Рериха, П.Митурича, Н.Богатова, И.Лебедева, В.Чекрыгина, И. Горского, Д.Бурлюка и др.

Ближе всего к привычному батальному лубку работы О.Шарлеманя, Г.Нарбута, отчасти Д.Моора. К наиболее известным листам Осипа Шарлеманя относятся «Атака русских кавалеристов на немцев» и «Атака лейб-гвардии конным полком прусской артиллерии» (обе картинки очень напоминают безымянные лубки, типа «Лихая атака кавалеристов»).

Г.Нарбут сосредоточился на созданном им особом жанре военных аллегорий: «Воззвание к полякам», «На взятие Перемышля» и др. Однако из-под его руки вышло и нескольких картинок в духе народного батального лубка — по словам Добужинского, картины «удивительные, полные хитрой маскарадной пышностью» (Добужинский, с. 294). Одна из самых удачных работ Нарбута в области лубка — «Казак и немцы», рисунок, расцвеченный акварелью. «Отличительной чертой нарбутовского лубка является стремительная динамика композиции. Конь казака вздыбился, копытами повергнув германский пограничный столб, а немцы буквально «улепетывают», припав к шеем коней, вздымающих клубы пыли. Впечатление движения здесь достигается противоборством линейных ритмов, в котором идущий справа налево, очевидно, побеждает. «Толчок» движению дают покосившийся столб, упругие линии в фигуре казачьего коня, затем движение стремительно ускоряется в дружных наклонах немецких копий и других дробных линиях вражеской группы, изгибающихся, будто в конвульсиях. Определённую монументальность придают композиции горизонтально удлинённый формат, линии, идущие по горизонталям; вертикалей в картине почти нет» (Белецкий, с. 110–111).

Дмитрий Моор (Дмитрий Стахивич Орлов) — крупный мастер плаката, автор серии военных лубков, среди них — «Богатырское дело Козьмы Крючкова», где Моор представил свою версию подвига легендарного героя. Именно этот лист, столь напоминающий народные картинки, получил широкую известность и много раз воспроизводился разными литографиями.

А.Лентулов, автор полотна «Аллегорическое изображение войны 1812 года», в начале Первой мировой войны работал над несколькими лубками на военно-патриотические темы и стилистически близким к ним военным панно «Победный бой». Лубки Лентулова имеют много общего с картинками К.Малевича и В.Маяковского, не случайно часть лентуловских картинок сопровождается стихотворными строчками Маяковского.

К.Малевичу и В.Маяковскому принадлежит основная масса авторских лубочных картинок, созданных в течение августа–октября 1914 г. Дело, конечно, не только и не столько в количестве. Они выработали свой, индивидуальный стиль, в общем-то далекий как от традиционного народного лубка, так и от привычного военного плаката. Современники высоко оценили своеобразный стиль этих лубков — плакатность Малевича и Лентулова с чертами наивного реализма народных (самодельных) рисовальщиков и броской (ярмарочной) аппликации, и звонкие, смелые рифмы Маяковского, ломаный, чеканный (частушечно-рекламный) ритм его строк. Лубки Малевича — Маяковского — Лентулова и других участников «Сегодняшнего лубка» создавались прямо по горячим следам событий, развёртывающихся на фронтах, они «привязаны» к конкретным сражениям, оттого почти в каждом тексте, сопровождавшем картинку, — названия местностей (городов, рек), обыгранных так, как умел обращаться со словом только Маяковский — весело, язвительно, броско и неожиданно.

Опыт, приобретённый в работе над лубками, естественно, не пропал даром, он в той или иной степени присутствует в дальнейшем творчестве всех, кто, пусть ненадолго, но глубоко и серьёзно вникал в специфику традиционного наивного примитива русского лубка, соединяя свой интерес к нему с осмыслением европейских движений, смелых экспериментов, направленных на выработку нового искусства, оперирующего совершенно новым художественным языком (кубизм, фовизм, футуризм, экспрессионизм и т.п.). Таким образом, создаваемый российскими авангардными художниками лубок следует рассматривать не в рамках подражания анонимной (массовой) лубочной культуре, а как одно из проявлений художественных исканий начала XX века, отразившихся и в изобразительном, и в словесном искусстве, составивших особую яркую страницу в истории отечественного и мирового искусства.

Сегодня трудно с достоверностью определить авторство многих картинок Малевича — Маяковского — Лентулова. На некоторых стоит справа внизу «Л», что значит «Лентулов», часть подписана инициалом «М», и не ясно, кто имелся в виду — Малевич или Маяковский (или это совместная их работа), часть имеет два инициала — «КМ», и скорее всего, это рисунки Малевича, хотя очевидно, что стихотворные строчки под ними принадлежат Маяковскому. Несколько листов подписаны «ВМ», и это свидетельствует о том, что Маяковский в таких случаях выступал и как художник, и как автор стихов.

Привожу некоторые стихотворные подписи Маяковского к лубкам Малевича, Лентулова и самого поэта (значительная часть этих текстов опубликована в 1 томе полного собрания сочинений Маяковского, номер указывает на порядок расположения их в этом томе).

Масса немцев пеших, конных  
Едут с пушками в вагонах.  
Да казаки на опушке  
Раскидали немцам пушки.  
И под — лих казачий гомон —  
Вражий поезд был изломан»  
(подпись — Л, т.е. Лентулов, текст Маяковского)

Картинки с подписью ВМ:

Немец рыжий и шершавый  
Разлетался над Варшавой.  
Да казак Данило Дикий  
Продырявил его пикой.  
И ему жена Полина  
Шьёт штаны из цепеллина.

Под Варшавой и под Гродно  
Били немцев как угодно.  
Пруссаков у нас и бабы  
Истреблять куда не слабы!

Эх ты немец, при да при же  
Не допрёшь, чтоб сесть в Париже  
И уж братец — клином клин:  
Ты в Париж, а мы в Берлин!

Картинки с подписью М:

Шёл австриец в Радзивилы,  
Да попал на бабы вилы.

Картинки с подписью КМ:

Ну и треск же, ну и гром же  
Был от немцев подле Ломжи!

Глядь-поглядь, уж близко Вислы  
Немцев пучит, значит, кисло!

Картинки без подписи (тексты, как принадлежащие Маяковскому, помещены в 1 томе собр. соч. Маяковского):

Плыли этим месяцем  
Турки с полумесяцем.  
Как бы турки у Синопа  
Не увидели потопа.

Эх, султан, сидел бы в Порте,  
Дракой рыла не попорти.

В славном лесе Августовом  
Битых немцев тысяч сто вам.  
Враг изрублен, а затем он  
Пущен плавать в синий Неман.

У союзников-французов  
Битых немцев полный кузов,  
А у братцев англичан  
Дранных немцев целый чан.

Англичан у Гельгоlanda  
Сторожила немцев банда,  
Да сломали чресла у  
«Гебена» и «Бреслау».  
А турки в Константинополе  
Взяли и заштопали.  
Как бы с этого у турка  
Не облезла штукатурка.

(«Гебен» и «Бреслау» — немецкие крейсера, переданные Германией Турции).

Вильгельмова карусель:

Под Парижем на краю  
Лупят армию мою.  
А я кругом бегаю,  
Да ничего не сделаю.

Эх и грозно, эх и сильно  
Жирный немец шёл на Вильно,  
Да в бою у Оссовца  
Был острижен, как овца.

Немцы! Сильны хоша вы,  
А не видеть вам Варшавы.  
Лучше бы в Берлин попёрли,  
Все пока не перемёрли.

Подошёл колбасник к Лодзи.  
Мы сказали: «Пан добродзи!»  
Ну а с Лодзью рядом Радом  
И ушёл с подбитым задом.

Австрияки у Карпат  
Поднимали благой мат.  
Гнали всю Галицию  
Шайку глуполицую.

Выезжал казак за Прут,  
Видит — немцы прут да прут.  
Только в битве при Сокале  
Немцы в Сереть ускакали.

(Сереть — река)

Сдал австриец русским Львов  
Где им, зайцам, против львов!  
Да за дали, да за Краков  
Пятить будут стадо раков.









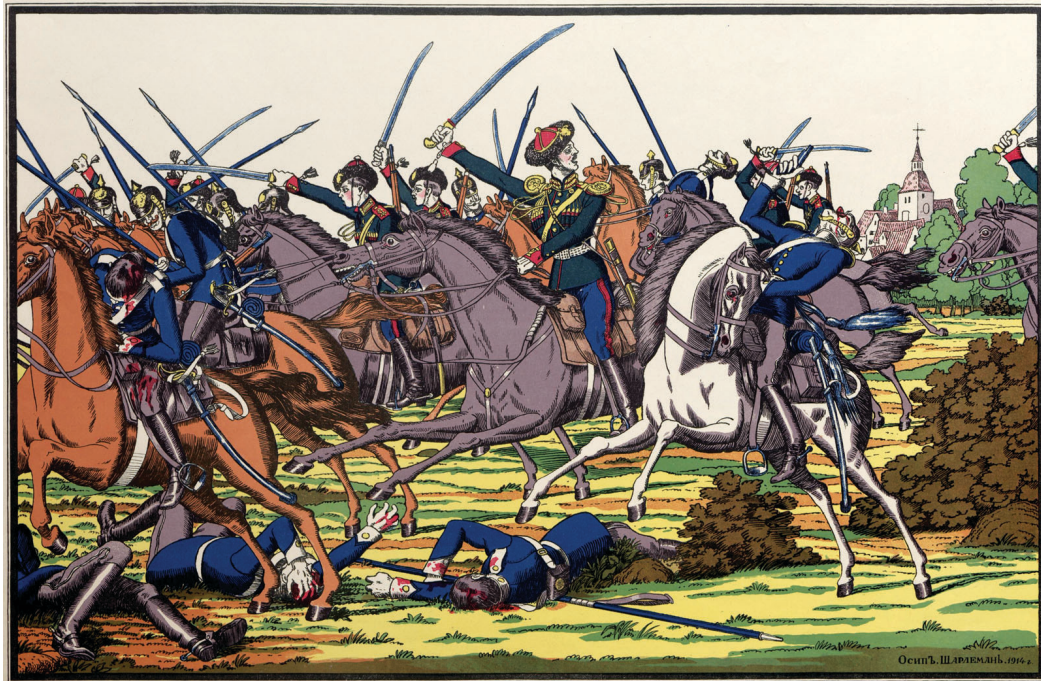


Геройский подвиг шт.-кап. П. Ж. Жестерова.



Геройский подвиг донского казака Козьмы Крючкова.











### Литература

- Белецкий Платон. Георгий Иванович Нарбут. — Л., Искусство. ЛО, 1985.
- Варшавский В. Ожидание. — Париж, YMCA-PRESS. 1972.
- Гишпиус Зинаида. Петербургские дневники. 1914–1919. — Нью-Йорк–Москва, 1990.
- Денисов В. Война и лубок. — Пг., 1916.
- Добужинский М.В. Воспоминания. — М., Наука, 1987.
- Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. В 13 т. — М., 1955. Т. 1 (Там же приведены тексты Маяковского для издательства «Сегодняшний лубок». С. 355–364).
- Недвиг А.Е. Казак Крючков: историко-литературный комментарий к образу героя романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» // Русская литература. 2005. № 1. — С. 213–221.
- Родионова Л.В. Русская народная картинка как явление книжной графики (период Первой мировой войны) // Библиотекосведение. 2003. № 2.
- Славенсон В. Война и лубок // Вестник Европы. 1915, № 7 (июль). — С. 91–118.
- Фёдор Иванович Шаляпин. В 3 т. — М., Искусство, 1957. Т. 1.
- Шилов Ф.Г. Записки старого книжника. М., 1959.



# Арт-факт





**Ольга Орлова**

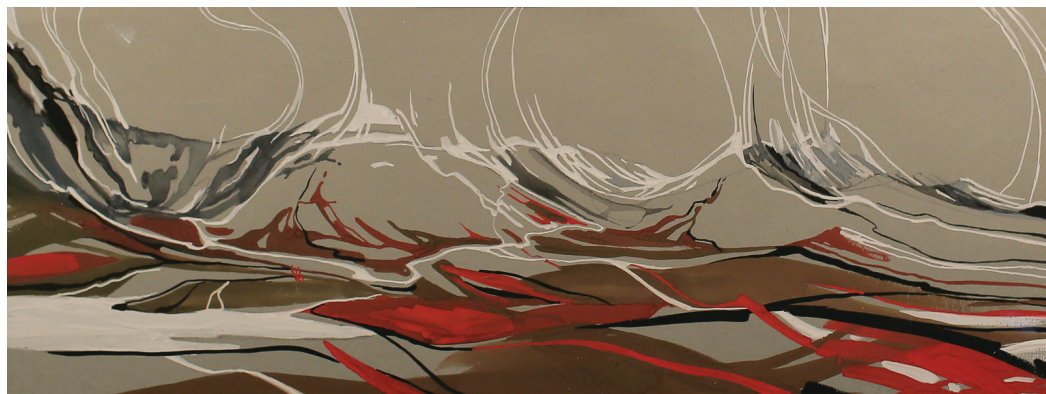
*Орлова Ольга Владимировна, историк искусства, куратор и эксперт Российских и Международных художественных проектов.*

## **ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА с глубоким ПОЭТИЧЕСКИМ СМЫСЛОМ**

«Как на картине  
Громоздятся горы»  
Ли Бо (701-762/763 г.)

Недельное пребывание (последние дни июля) на Приполярном Урале подарило участникам Третьего пленэра «Клюква» (куратор и автор идеи Анжела Разманова) солнце, «голубец» и хмурость неба, снег, штормовой ветер, дождь, радужность, цветение и увядание... Мир здесь воспринимается художником в его необъятности и гармоничном единстве. Здесь он **ЕДИНОЦЕЛЬНЫЙ, ПЕРВОРОЖДЁННЫЙ**. Впечатление усиливается от величественности и грандиозности ландшафта. Стоя у подножья гигантских вершин (Малдыны, Баркова, Еркусея, Рассомахи, Колокола) или останцов (Каменной Бабы), понимаешь огромную силу природы. Художникам было трудно и одновременно легко выразить в **ПЕЙЗАЖНОЙ КАРТИНЕ** своё понимание этой «вечной красоты», естественности и изменчивости природы. На Приполярном Урале она напоминает о неумолимом движении времени. Образы природы всегда связаны с размышлениями о быстротечности жизни.

«Вдали, вблизи ли горы? Нет меры расстоянья!  
Навстречу им иду — А всё — передо мной!  
Чуть поверну — и горы меняют очертанья».  
(Оуян Сю)



*Наталья Соловьёва. Ветер в горах. К., гуашь.*



*Наталья Соловьёва. Дождь прошёл. Б., акварель.*



Виталий Окунь. Окраина посёлка Желанный. К., масло.



Виталий Окунь. Цвет гор. Посёлок Желанный. К., масло.



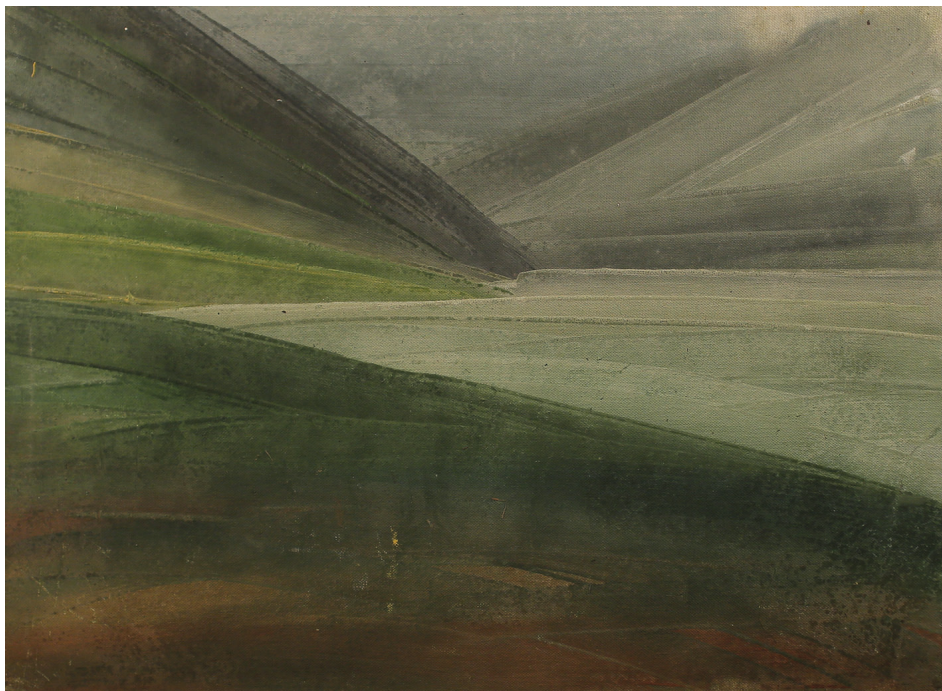
*Светлана Бутакова. Вид на Балбан ты. Б., акварель.*



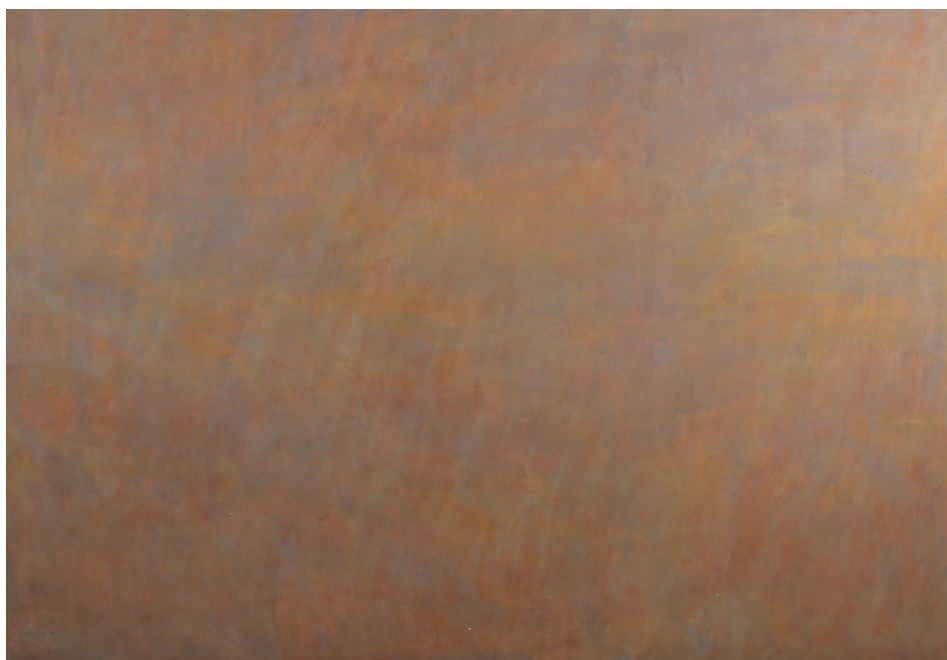
*Светлана Бутакова. Печалью охваченный пейзаж. К., акрил.*



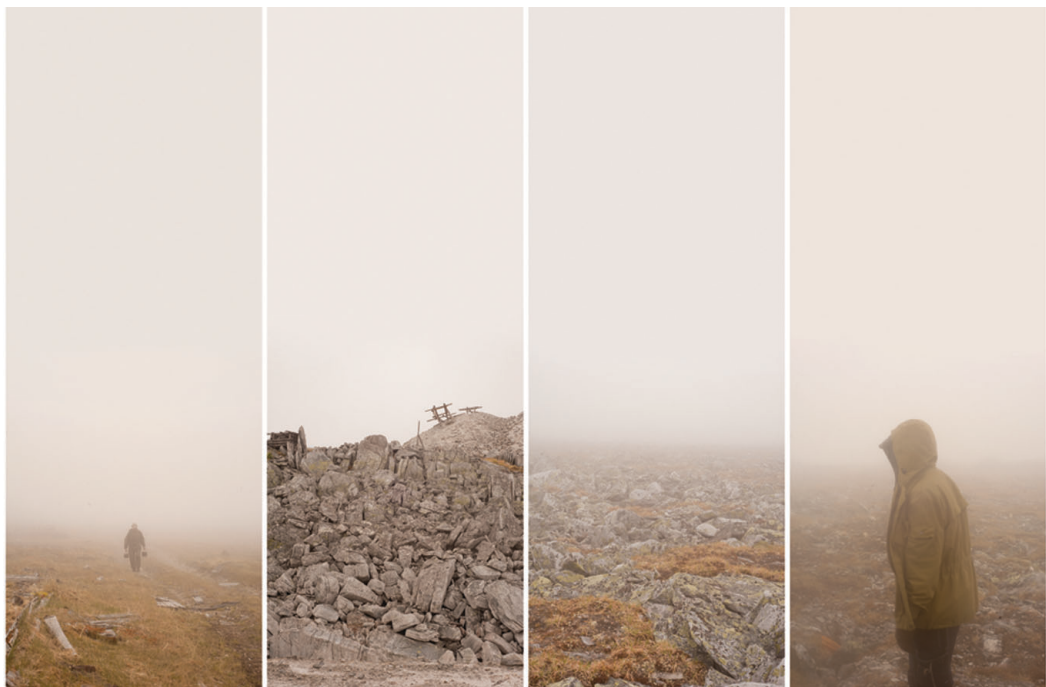
*Анжела Разманова. Место силы. Диптих, х., масло.*



*Дмитрий Прокушев. Долина Балбан ты. К., акрил.*



*Иван Новиков. Композиция № 2. К., темпера.*



*Игорь Попов. Горы. Фотоинсталляция.*



Созданные произведения живописцами, графиками, фотохудожниками — всё это разность суждений о бесконечной красоте и величии мира. Задача была проста — передать ощущение целостности мира. Каждый приехал со своими конструктивными правилами и законами. Зрительные наблюдения живой потрясающе-нетронутой природы помогли им создавать художественные образы, способные отражать глубокое духовное переживание.

#### **Наталья Соловьёва (Сыктывкар)**

В мягкой и воздушной пейзажной картине Натальи произошло духовное слияние с природной действительностью. Разливами пятен, динамикой линий, через тональное единство впечатлений она добилась гармонии увиденного мира, заставляя зрителя пережить то же экзистенциальное состояние от увиденного. Акварельно-быстро, легко нанося линии и пятна, Наталья воплотила в листах замысел, выношенный в сердце. В работах Натальи — всё зыбко, тонко, полно ассоциаций и недомолвок. Горы, утопающие в волнах тумана. Связь с местом не на логическом, а на ассоциативном уровне. Белая матовая поверхность может восприниматься водой, небом, туманной пеленой, обволакивающей горы. Панорамная цветная графика с белыми пустотами листа — необъятная бесконечность пространственного пейзажа полого-волнистого рельефа гор Малдыны. Белое и тёмное — знаки взаимодействия дуальных начал. Условность, недоговорённость заставляет домысливать «пейзажный образ» за пределами формы. «Зримым не исчерпывается суть, словом не исчерпывается мысль». Панорамные горизонтально-ориентированные листы-холсты дают возможность наблюдать вселенскую необъятность.

#### **Виталий Окунь (Ижевск)**

Черпая вдохновение в образах природы, преобразуя их в приподнято-праздничные, Виталий Окунь поражает красотой темпераментной живописи. В его работах запечатлена вечная картина мира в её сущности, целостности, гармонии: движение солнца, причуды погоды, узнаваемые пейзажи («Каменная Баба»). Движения кисти художника аккордно «бегут» по плоскости, лепят ПЕЙЗАЖНУЮ КАРТИНУ. Всё музыкально, всё связано с проживанием происходящего во времени. Его пейзажное пространство наполнено радостью бытия, трепетным восторгом от увиденного. В пастозных пейзажах с густым красочным замесом цвет открыто-живой, сочно-аккордный. У художника своё понимание природы, особая декоративная манера, построенная на сочетании сине-зелёных и белых плоскостей. Его картины яркие, праздничны. Горная природа в его картинах представлена как место для путешествий.

#### **Анжела Разманова (Сыктывкар)**

Декоративно-орнаментальная специфика искусства Анжелы связана с поэтической формой мышления. Она верит в поэтический смысл искусства. Чтобы понять поэтический строй её работ, отличающихся «мелодической интуицией», необходимо обратиться к периоду искусства «модерна», преданной последовательницей которого является художница. Духовные устремления Анжелы направлены в особо-отличный, художественно-проживаемый мир. Она создаёт

художественные произведения только в единении с природой. Это её путь, её природа творчества. У Анжелы — свободная «живопись идеи». Визуальная система художницы, колористический лейтмотив, цветовая гамма (розовато-золотистая, зелёно-голубая) неизменны. Оттенки «ВЕЧНОСТИ» и «ЖЕНСТВЕННОСТИ» присутствуют во всех работах: в травах, небе, цветах, свете... Художница всегда узнаваема в своих «цвето-звуковых» повторах-ритмах. Собственно декоративная образность Анжелы Размановой — самостоятельный сюжет идеального пространства Приполярного Урала, заново обретённого, обновлённого «новыми» переживаниями, лирическими интонациями. Она преобразует и передаёт впечатления от природной картины в новую визуальную «пейзажную картину». Образ горы, созданный в диптихе, перетекает из материальной, видимой формы в символ таинственной гармонии, художественной иллюзии. Присутствующая в её полотнах интимная нота придаёт им ярко-узнаваемую индивидуальность автора.

### **Светлана Бутакова (Сыктывкар)**

Светлана тонко прочувствовала колорит, цвет, бесконечную гармонию пейзажной природы и органично выразила её на холстах-картонах (полотнах), отказавшись от многоцветной палитры. Монохромные мазки, богатые оттенками, увлекают в глубь пространства, прочерчивают траектории пейзажных движений, взбираются на горные холмы, в туманы, в лучи дождя, в горных камнях, в животворно-упругом воздухе переливаются осязаемыми тенями. Художница рождает убедительную художественную реальность, где явственно ощущается незримое присутствие автора. Цвет и красочная масса едины в пейзажной живописной картине Светланы. Зелёно-бурые холмы, расположенные кулисами горы соединены водой, небом. И воспринимаются как единое огромное пространство, объединённое на листе-холсте в единую композицию. Конкретное становится главным не само по себе, а как выражение общего. Серебристо-серые нюансы в сочетании с белильными пятнами, светлые массы гор противопоставляются тёмным, с нежными размытиями, острые и графические линии переднего плана с живописью — дальнего передают красочное разнообразие мира. Её ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА то с всклоченными поверхностями гор, то окутанная туманным облаком влаги, то засыпанная июльским снегом. Контраст, который создаёт художница в своей ПЕЙЗАЖНОЙ горной КАРТИНЕ — ощущение мощного дыхания природы. Светлана создала образ изменчивой, разнообразной, бесконечной природы.

### **Иван Новиков (Москва)**

Многослойное нанесение прозрачных красок придаёт цвету глубину, объёмность и лёгкость, а высветленный слой — материальность, плотность и весомость. Перекрывая одни краски просвечивающими слоями других красок, Иван придаёт их локальным тонам тончайшие оттенки. Прозрачная плотность цвета усиливает объёмность «невидимых» форм, эффект освещения, материальность изображения, сохраняя при этом лёгкость живописи. Можно было бы назвать это уникальным «плёнэрным» явлением. ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА с «экологическим подходом» Ивана — самостоятельное явление с особой живописно-пластической системой полупрозрачных мазков. В его композициях с неявными, невыявленными ритмами поэтично взаимодействуют конструктивность, смягчённость, размытость. То же

ощущение в цветотональных характеристиках. Иван важное значение придаёт плоскости, как инструменту живописи и компоненту живописно-пластического образа. Образы его живописи не имеют объёма, они невесома. Появление их — чудо переживания. Плоскостность его декоративных работ оправдана. Реальная ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА преОБРАЗУется в некие пейзажные фрески, где пейзажная плоть невесома, нетленна. Реальный мир остаётся за живописной плоскостью, первенство — за духовным, внутренним миром автора, чьё состояние, чьи движения передаются тщательно отобранной палитрой и всеми моментами исполнения. Иван действительно увидел мир таким. Пространство и время превращено в его работах в ВЕЧНОСТЬ. И в этом его реализм. Его живописный мир как бы растворяется в туманном мираже, поглощая пейзажные очертания.

### **Попов Игорь (Москва)**

Фотографическая ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА художника (фотоинсталляция) — поражает воздушностью, глубиной пространства, ощущением полного присутствия. В монументализированном и дюймовочно-пиксельном (клюквенно-алые фотопортреты) формате — ощущение необъятности, усиливающееся включением в пейзаж «маленького человека», который становится частью пейзажа, частью стихии, частью горы, частью ВСЕГО. Грандиозность масштабов природы и человека. Понимание, что именно здесь проявляется космическая мощь природы. В своей ПЕЙЗАЖНОЙ КАРТИНЕ с глубокой самоотдачей Игорь создал эффект вечной подвижности природы, её огромности... Фотоинсталляция демонстрирует высокое мастерство, разрушает сложившееся представление о легкодоступности фотоискусства. Выразительный язык органичен авторскому высказыванию, неповторим, профессионально самостоятелен.

Намеренные пустоты в пространстве с выверенными приёмами передают ощущение трепетности приполярных растений (Ангела Разманова), воздушности далей (Наталья Соловьёва), состояний движений и покоя (Виталий Окунь) в природе графической чёткостью контуров (Прокушев Дмитрий), беглых альбомных зарисовок, отличающихся простотой стиля с едва уловимыми душевными порывами и настроениями (Сергей Разманов).

ПЕЙЗАЖНАЯ КАРТИНА, картина-странствие, созданная художниками в путешествии по горам Приполярного Урала, была на выставке в Центре культурных инициатив «ЮГОР» (в августе 2014 г.), имела живой зрительский отклик, прикоснувшись с художниками к искомой гармонии, которой лишён современный мир, глобально заполненный насилием, подменой ценностей, реальными угрозами для духовной и физической жизни человека.

*«Смысл не исчерпывается написанным».*

*Заповедь китайской поэзии*

# WWW.VAENGA.RU

*Елена Ваенга — Елена Владимировна Хрулёва родилась на Кольском полуострове в г. Североморске 27 января 1977 года. Родители, отец и мать*



*работали на СРЗ «Нерпа», который обслуживал атомные подводные лодки. Дедушка, по линии матери, Василий Семёнович Журавель был контр-адмиралом. Родители отца, коренные петербуржцы. Дед был зенитчиком, воевал под Ораниенбаумом, а бабушка врачом в госпитале в блокадном городе.*

*Ваенга закончила музыкальное училище имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, позже — получила театральное образование — курс Петра Вельяминова в Балтийском институте экономики, политики и права. Сегодня вместе со своим коллективом музыкантов она одна из самых востребованных исполнителей не только в России...*

*В репертуаре Ваенги песни её собственного сочинения (их уже чуть ли не 800...), песни военных лет, песни Советского Союза, народные песни...*

*В репертуаре Ваенги песни её собственного сочинения (их уже чуть ли не 800...), песни военных лет, песни Советского Союза, народные песни...*

Никогда раньше, за всю мою журналистскую жизнь у меня не возникало желания написать что-либо о ком-либо из артистической среды, тем более звёздной среды... А открыв однажды для себя певицу Елену Ваенгу, я совершенно неожиданно «разразилась» большущей статьёй и даже сама предложила её в журнал «Мир Севера» (Москва)... И журнал напечатал статью, назвав её (у меня всегда были трудности с названиями...) «Потому что любишь».

Как и в прошлый раз, я никак не могу остановиться на каком-то из пришедших в голову названий. Может, просто так и назвать: [www.vaenga.ru](http://www.vaenga.ru)?

\* \* \*

Опять о Ваенге? Не совсем, — скорее о её «гостевой» в Интернете. О её гостях.

Что такое «гостевая», — скажу для тех, кто с Интернетом пока «не дружит». Многие артисты сегодня (и не только) создают собственные сайты (страницы) в сетях Интернета. Есть официальный сайт (и к сожалению — множество «фейков», лжесайтов...) и у Елены Ваенги. Однажды я зашла к ней в «гости» и вот уже третий год — можно сказать, завсегдатай её сайта...

Почему? Попробую объяснить, если сумею.





Я пока лично знакома только с одной-единственной «гостьей» сайта Ваенги, с Еленой Михайловой из Санкт-Петербурга. И знакома, благодаря как раз моей статье из журнала «Мир Севера». Елена Геннадьевна где-то наткнулась на этот журнал (а возможно, она его выписывает, не знаю) и поместила мою статью в «гостевой» Ваенги. Пожалуй, никогда в жизни я не получала столько (причём — сразу!) отзывов ни на один из своих журналистских материалов... Столько положительных отзывов!..

Не было (ни положительного, никакого...) отзыва только от самой героини моей статьи. И мне остаётся только гадать, почему... То, что она не читала статью — маловероятно, судя по тому, как оперативно она реагирует на всё, что появляется в газетах и в журналах, и в «гостевой» — тоже. К тому же, по просьбе Елены Михайловой я отправила ей почтой два журнала в Санкт-Петербург, и она намеревалась один из них как-то передать бабушке Ваенги, Надежде Георгиевне...

Но это к слову.

А с Еленой Михайловой мы и по сию пору время от времени переписываемся по Интернету. Пару раз даже виделись на концертах Ваенги в Санкт-Петербурге.

А впервые встретились в театре эстрады им. А.Райкина. Она подошла (мы созвонились), и мы совершенно непроизвольно обнялись, как будто были знакомы уже лет сто. Это при том, что я это делаю крайне редко, только с близкими друзьями, а с мало знакомыми людьми — и вовсе никогда. Но вот так вышло, — возможно, на эмоции (уже было прослушано полконцерта...).

Других «гостевых» я знаю только по Интернету. Кое-кого уже даже и узнаю на концертах, но поскольку мы лично не знакомы, не подхожу. Тем более, что они всегда уже с кем-то общаются, неудобно отвлекать...



Когда я читаю отзывы о концертах Елены Ваенги в её «гостевой», я чувствую, что большинство из поклонников уже как бы стали друг для друга если не близкими друзьями, то — очень хорошими знакомыми и приятелями. Наверное, правы те, кто считает, что талант Елены Ваенги собирает вокруг себя родственные души. Это видно и из каких-то отзывов и переписок на форуме, и потому, как «гостевые» откликаются на просьбы друг друга: например, когда в Петербурге концерты Ваенги, на помощь гостям неизменно приходит Галина Алексеевна (по нику — Галина-Питер). Вот и на концерт Ваенги в БКЗ (25.09.2013) ей пришлось, наверное, немало побегать, чтобы всех гостей обеспечить билетами... И гостиницами!..

Галина Алексеевна писала в «гостевой» (25.09.2013; 09:35): «Последняя просьба вылетающим и выезжающим, одевайтесь и обувайтесь тепло, холодно не только на улице, но и в домах! До встречи!..»



А гости ехали из Краснодара, Парижа, Новосибирска, Москвы, Германии, Украины...

Те, кто не смог быть в этот вечер в БКЗ, писали в «гостевой»: «Я не попаду на концерт... Моя мечта увидеть Вас и прикоснуться сердцем пока мечтой и останется... А сейчас я искренне рада за всех, чьи мечты осуществились...» (Украина, Кривой Рог, Татьяна)

А это из откликов тех, кто «прорвался» в северную столицу...

mza mza 00:44, 25.09.13

«Санкт-Петербург, мы прибываем! Это праздник! Я говорю только немного по-русски, но музыка не знает границы...»

Анастасия Москва (16:15, 25.09.13)

«Приятного вечера всем, кто попадёт сегодня в волшебную страну под названием Елена Ваенга...»

Мысленно с вами!!!»

Тави (15:50, 25.09.13)

«Дорогие гостевые! Друзья! Аплодируйте, пожалуйста, и за нас... (это из Омска!..)

Таволга (13:12, 25.09.13)

«Ждём вестей со слёта любящих сердец!»

\* \* \*

И вот! Сообщение уже непосредственно из БКЗ (Большого концертного зала в Петербурге), где новый концертный сезон (уже не первый год) открывает Елена Ваенга...

Татьяна Тимонова (19:51, 25.09.13)

«...уже прозвучали песни «Невеста», «Девочка», «Любимый»...

Это был первый выход в эфир Татьяны, позже она ещё несколько раз выйдет в «гостевую», и так почти до самого окончания концерта — будет «телеграфировать» для тех, кто в самых разных точках страны (и мира!) ждёт эти весточки...

Как Ната из Казани (22:29, 25.09.13):

«Эх-х! Какие песни!.. на каждой улетаешь...»

Или Степа из Израйля (20:59, 25.09.13):



«... Советские песни, как здорово! Очень ждём видео!»

А Татьяна Тимонина продолжает «телеграфировать»: «Тайга», «Города»...

Чуть раньше была «телеграмма» от Якова (из Нью-Йорка!): «...Елене Ваенге вручили знак «За заслуги перед Петербургом!..»

И что тут после сообщения Якова началось в «гостевой»?! В комментариях «заплясали» смайлики, «зааплодировали», «заколотили» по барабанам, «закидали» всю гостевую «розами, сердечками и поцелуями...»

Из Воронежа, Сыктывкара, Израиля, Украины, Эстонии, Германии, Евпатории, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Твери, Самары и т.д. и т.п.

А концерт ещё шёл. И до конца было ещё не близко. И понятно: на этот раз он состоял из трёх отделений! И как остроумно заметила Кааза (ник): из двух буфетов!..

Три отделения и заметим — всё с живым звуком! Без всяких фонограмм!

Не дождавшись финала, я решила заглянуть в «гостевую» уже утром. Как и ожидала, ночью здесь не спали...

00:01, 26.09.13, Людмила Соловьёва:

«Как жаль, что всё когда-нибудь кончается. Вот и этот замечательный концерт... Очень грустно».

Ольга из Петербурга, 00:00, 26.09.13:

«Спасибо за эмоции! Спасибо родителям, друзьям, людям, которые сделали Вас такой! Хочется жить!!!»

00:49, 26.09.13 Елена Михайлова, Петербург (кажется, она не пропускает ни одного концерта Ваенги в Питере):

«Спасибо за сегодняшний вечер! Удивляли, удивляете и надеюсь, удивлять будете, Елена Владимировна!..»

1:08, 26.09.13, Мирка (ник?):

«Дорогая Елена Владимировна! Спасибо большое за то, что Вы у России есть...»

Вот под этими словами и я бы с удовольствием подписалась. Наконец-то на нашу эстраду пришла певица, которая с любовью к своему зрителю, к каждому человеку разговаривает с ними о самом главном на свете: о родине, о семье, о вере...





По «гостевой» очень легко составить «дорожную» карту Елены Ваенги. Пишут отовсюду, — где певица побывала только что и где ещё ей предстояло побывать: из Одессы, Львова, Донецка, Запорожья, Днепропетровска... из Москвы, Подмоскovie, из Поволжья...

Ещё шёл петербургский концерт в БКЗ (25.09.13), а Ваенгу уже ждали на гастроли в Мурманске, затем, после небольшой паузы — в Оренбурге, Уфе, Ижевске, Перми, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Магнитогорске, Стерлитамаке...

А с 9 ноября в гастрольном плане певицы была почти вся Сибирь!..

Только как не было, так до сих пор и нет на этой «карте» нашего Сыктывкара...

Хотя у соседей, в Архангельске, Елена Владимировна в первые дни нового 2013 года дала аж два концерта подряд, а в 2014-ом ещё столько же...

Как тут не позавидуешь архангелогородцам...

Но вернусь к осеннему концерту 2013 г. в БКЗ.

Оксана из Рыбинска пишет в «гостевой» (в два часа ночи!): «Доброй ночи, самые стойкие! Какой был концерт — один из лучших! Незабываемый! Необычный! Мы получили такой заряд положительных эмоций — это нечто!»

Ещё два послания «ночных корреспондентов»: «Спасибо, Вы так выросли профессионально! Поздравляем с наградой! Маленький северный рай боготворит Вас! Виват!!! Тамара Панфилова и Анна Лазеева, Санкт-Петербург».

И почти одновременно с ними написала своё письмо ещё одна «неспящая»: «Долго живу, но такой любви зрителей к артисту не видела... Ленком (команда Лены) вошёл в нашу жизнь, в наши дома и, наверное, уже всегда будет с нами, а мы с Вами» (Сенёрка).



В одном из стихотворений зрителей-поклонников (а надо отметить — в «гостевой» их столько!..) мне понравились такие строчки: «Как изба, моя душа заколочена, и закрыты все окошки ставнями...»

И правда, столько ещё людей сидят за «закрытыми ставнями» — по разным причинам, в том числе и из чувства самосохранения, чтобы просто выжить в наши непростые времена...

И вдруг в их жизнь приходит, нет, буквально врывается, влетает Та, которая своим сочувствием, своей искренней любовью, всей мощью своей энергетики срывает эти пресловутые «ставни»...

И душа нараспашку — устремляется к другой душе...

И где вы думаете они встречаются? — на концертах, конечно, и в «гостевой»...

И для этого иногда они преодолевают тысячи километров, как Анна и её семья из Хабаровска, или Галина из Торонто (Канада), или Любовь Степановна из Израиля и т.д. и т.п.

По записям в «гостевой» я пытаюсь угадывать, что это за люди. Ведь не зря же они собрались под крышей одной «гостевой», возможно, кроме самой хозяйки «гостевой», делает их интересными друг для друга и ещё что-то...

Почти всегда с улыбкой читаю короткие, иногда немного ироничные, почти всегда очень остроумные комменты Каазы (ник), кажется, из Украины... Или



стихи Журавки (ник) из Москвы. Или письма Яны-берёзки, или Татьяны Беляковой... В театре эстрады мы сидели с Яной в одном ряду, я узнала её, но как-то знакомиться не решилась. Её нетрудно было узнать, — она танцует во всемирно известном ансамбле «Берёзка» (хотя, на сцене я вряд ли узнаю её, они там как близнецы-сёстры...). Она одна из немногих, кто в аватарке, по-моему, сразу поместила свою настоящую фотографию. Сегодня так делают уже почти все. Я же пока — нет. Потому что не умею... Но имя и отчество я даю свои, настоящие. Мне, кажется, ники вместо имён в такой «гостевой» — это «не есть хорошо»... Единомышленники, и вдруг — отсутствие элементарного доверия? Надеюсь, я никого не обидела, если что не так, простите...

Всегда с большим удовольствием читаю очень взрослые письма от людей ещё совсем юных.

Вот что написала как-то в «гостевой» Ульяна из Сахалина: «...спасибо, Елена Владимировна, за то, что Вы научили меня искренности, научили верить... И знаете, невозможно объяснить, но это потрясающе! Такие слова, такие эмоции, такое исполнение, как будто за руку берёте и провожаете в мир... Оставайтесь собой, пожалуйста. Вы такая, какая есть, за это Вас и любят.

Сахалин с Вами!

Навсегда и безусловно, безоговорочно и вне обстоятельств...» (если не ошибаюсь, Ульяне где-то всего-навсего лет шестнадцать...)

Екатерина Андреева пишет в «гостевой»: «...вокруг Вас, Елена Владимировна, собирались и продолжают собираться люди, у большинства у которых богатейший внутренний мир. Как говорится, подобное притягивается к подобному...»

Подтверждением замечанию Екатерины могут быть многие и многие письма в «гостевой». Я всегда с удовольствием читаю письма от Арлет.

Она писала, что её с творчеством Ваенги познакомили родители. А она в свою очередь осуществила мечту познакомиться с любимой певицей свою младшую сестру, которая живёт в Париже. И вот что та написала, вернувшись из Петербурга обратно в Париж: «Милая Арлет, я уже в Париже. У нас + 24<sup>о</sup>, в парке пахнет жареными каштанами, где-то играет аккордеон, но ещё тише в моём сердце играет изящный концерт Ваенги... Спасибо тебе!»

Позже Арлет напишет: «Скоро у сестры день рождения. Я спросила её, что ей подарить? — «25 сентября... — ответила сестра. — Пусть меня твой подарок так же перевернёт, как концерт Ваенги, чтобы кто-то, незнакомый, так же подарил бы частичку тепла — неожиданное странное счастье...» Своё письмо Арлет закончила словами: «Я никогда не забуду глаза моей сестры во время концерта в БКЗ, 25 сентября...»

Жаль, ничего не знаю об этих потрясающих сёстрах, возможно, ранее в «гостевой» они что-то уже писали о себе...

А как прекрасен был рассказ Арлет о маленьком мальчике в церкви! Арлет, спасибо! Пишите, пожалуйста! Вас уже давно не было в «гостевой». Надеюсь, всё у Вас замечательно.

Из любопытства, а какие поклонники у других артистов, я заглядывала в «гостевые» нескольких «звёзд». Ничего подобного я там не нашла. Может быть, и бывают такие же письма, как от Арлет... Но мне это пока неизвестно.

Или как от Якова из Нью-Йорка, где всё у него вроде «пучком»: с английским

языком всё в порядке, дети успешны... «И вдруг, как гром среди ясного неба — «Белая птица» и с того дня «нет мне покоя...» Лена, я не знаю, поймёте ли, как Вы дороги для меня. Вы встали в один ряд с моей семьёй, дочерью, недавно родившейся внучкой... с Одессой! Зачем я это пишу? Наверное, хочу оправдаться, что не приехал в Питер... Со всем уважением и тёплыми чувствами к Вам, Яков».

Я читала в «гостевой», что Ваенга отправляла Якову в Нью-Йорк персональное приглашение на питерский концерт (23.09.13). Но американскому гостю что-то помешало приехать. Что — не знаю.

Удивительный (или удивительная?) корреспондент у Ваенги есть в Германии. Подписывается в «гостевой» mzamza (ник?) Этот человек в отличии от Якова попал в Питер той осенью. Вот один из её (его) отзывов после концерта в БКЗ: «Дорогие люди! Пять чудесных дней в Ленинграде (!..) Незабываемый город на Неве. Мы любим тебя! Почитаемая Елена Владимировна... Темперамент, мужество, откровенность, сердечное тепло и гордость...»

Я должен учиться ещё много по-русски. Если Елена прибывает от мая в Германию, сестра говорит очень вполне по-русски...» Позже я узнала, что под ником mzamza пишет очень симпатичная женщина, просто у неё пока не всё получается на русском языке. Теперь мы с нею уже даже в друзьях Вконтакте...

\* \* \*

Чувствую, уже пора закругляться, а не могу, — в «гостевой» всё новые и новые послания о концерте в БКЗ, на котором я могла быть, но не была. А теперь, пока нет видеозаписи, ищу в письмах «гостевых» то, чего сама же себя и лишила.

Но вот появилась первая видеозапись, первого отделения, затем — второго...

Пора начинать смотреть. Пока не накатила Мурманский концерт. Потому что он тоже, наверняка, будет особенный. Всё-таки Елена Владимировна будет петь для своих земляков, тем более, что она уже давно не пела на родине...

\* \* \*

И правда. Мурманский концерт был, конечно же, другим, он просто не мог быть не другим...

Я с удовольствием прослушала его и просмотрела от начала и до конца. Хотела об этом написать поподробнее. Но неожиданно в «гостевой» прочитала письмо из Карелии, уже о другом «северном» концерте Ваенги.

И не могла не привести несколько выдержек из того письма. Писала Наташа (увы, больше о ней ничего сказать не могу — не знаю) о концерте в ледовом Дворце Кондопоги: «...в тот вечер был момент, когда мне показалось, что меня, как бы это сказать, ведут... Хотя в жизни я абсолютно не ведомый человек.

Концерт «дома» — не сравнится ни с каким другим. Волнуешься так, как будто лично сама принимаешь любимого артиста. Не хочется ударить в грязь лицом...

Люди знают Вас разную. Кто-то ждёт «Курю», кто-то «Желаю»... Иные даже требуют ту или иную песню!!! Но это далеко не все. И даже не половина зала»...

И здесь Наташа приводит в своём письме слова журналиста из Донецка: «Желаем Елене Владимировне только не вестись на выкрики — у неё очень много настоящих поклонников, но они сидят тихо и с замиранием сердца ожидают

трогательных песен»... И далее Наташа добавляет от себя: «Трогательных и мудрых»...

Почему-то многие эстрадные певцы считают (конечно, не все!), что зрителя надо развлекать, веселить, а то мы заскучаем... Да нет же! Просто, может, задумаемся, может, даже поплачем, но кто сказал, что это не делает нас лучше?! Судя по письмам в «гостевой» Ваенги, людям так иногда нужно (и полезно!), чтобы песня перевернула их «запорошенные» души, настроила на добро, на любовь, на искренность! И чтобы «распахнулись ставни»... Это тоже из письма Наташи (Кондопога): «Вряд ли Елена Владимировна прочитает мои слова. Но так хочется сказать, — Вас по-настоящему избрали люди. Такую любовь не купишь никаким пиаром, — ни громкой борьбой с властью, ни баталиями разных там позиций и оппозиций на обломках когда-то великой страны, где изо дня в день нам иногда приходится буквально выживать в наших глубинках»... Об этой всенародной любви, но уже словами профессионального музыкального критика сказано в письме Якова из Нью-Йорка: «Сегодня прочитал интервью Артемия Троицкого для Радио Шансон. Вот его слова: «Могу понять, почему популярна Ваенга, — она артистка пассионарная»... И далее уже сам Яков даёт разъяснение слову «пассионарная»: «Passion — пламень, страсть. Пассионарность — стремление к перемене окружения, нарушение инерции, потенциал к прогрессу, внутреннее стремление к деятельности, направленное на реализации. Супер-важной далёкой, иррациональной цели. Пассионарная личность — человек энергоизбыточного типа, рисковый, активный, увлечённый до одержимости, который способен идти на жертвы ради достижения того, что он считает ценным».

«Мне кажется, Троицкий очень близко, как критик, подошёл к понятию, кто такая Ваенга... Энергоизбыточный, рисковый, увлечённый до одержимости, — это действительно о Ней, о Ваенге». Это тоже из письма Якова (Нью-Йорк).

\* \* \*

Редко, но появляется в «гостевой» Вильям из Израиля. Вот строки из одного его послания: «Обычно говорят, скажи, кто твой друг и т.д. А про артиста можно сказать: дай почитать его «гостевую», я скажу, кто таков...»

Именно благодаря «гостевой», возможно, и я сегодня тоже лучше понимаю и кто сама Певица, и кто её поклонники.

Я только-только появилась в «гостевой», как не стало одной поклонницы Елены Владимировны из Екатеринбурга, Татьяны. Вся «гостевая» буквально была шокирована этим трагическим событием.



И вот перед гастрольями Ваенги в Екатеринбург разговоры о Татьяне вспыхнули вновь.

Яна-берёзка поместила в «гостевой» её прощальное письмо. В своё время его, наверное, уже можно было прочитать в «гостевой», я, к сожалению, не читала. Приведу фрагменты этого послания: «... Почти все говорят, что Вы перевернули их жизнь... Моя подруга, давно покинувшая страну, совсем уж меня огорошила: слушающая Ваенгу, я снова хочу жить в России...

Вы, взяв меня за руку, повели за собой...

... шансов у меня теперь ноль, с операцией — 50 на 50... Хотя бы 51 на 49!.. Где отыскать этот недостающий один-единственный процент...

... Рождество. Концерт «Белая птица»... в сознании промелькнуло, если уйду сейчас — уйду счастливой... Абсолютно.

Ничего не боюсь. В моей жизни случилось всё, чего хотела, о чём мечтала... А главное, мне очень везло на хороших людей. Не случилось ни предательства, ни измены, ни подлости, ни лжи... А только жаркие, до хрипоты, споры на профессиональные темы (насколько я поняла, Татьяна была военным хирургом... прим. автора) да и то... только потому что на кону была человеческая жизнь.

Познакомившись с Вами, я окунулась в прекрасную сказку... под своим дурацким, но тоже сказочным ником «Тортилла»... И эта сказка вырвала меня из нависшей реальности... И наполнила мою жизнь таким очарованием, таким безудержным восторгом, что я грешным делом поверила в то, что это и есть то чудо, которое ждала, тот самый 1%, так необходимый моему больному сердцу... Моей душе больше повезло, ей досталось от Вас все 100%... И теперь я живу ожиданием концертов 9 и 11 октября (в Екатеринбурге). И боюсь, что ожидание взорвётся воем сирены и операционным столом, а я так и не услышу Вашего голоса... Голоса, дающего Надежду...

Жаль только, что я пришла к Вам слишком поздно...

Бесконечно благодарна Вам за подаренную сказку длиной в полгода... Для меня это уже немалый срок...

С глубоким уважением и любовью, Ваша Тортилла».

\* \* \*

Это случилось после Перми, — с начала гастрольного тура Ваенги по Уралу прошло уже пять концертов. В Екатеринбурге концерты ещё предстояли, и, видимо, думая о них, думая о Татьяне (Тортилле), Елена Владимировна «затосковала».



И в «гостевой» началась вот такая своеобразная переключка городов и стран. Ваенга была в эфире с 00:42 по московскому времени до 01:27 минут. Первой вспомнила Грецию! Потом — Грузию!!! Абхазию!!!!!! (восклицательные знаки не мои, — так было у Ваенги) Украину! (двадцать три человека в Украине не спали, откликнулись)... Потом была Америка! — там тоже было несколько неспящих...

Потом Белоруссия, Прибалтика, Германия, Израиль (здесь не спали пять «гостевых»)

Подмосковье! (тоже не спали...) Москва! (больше всех бодрствующих...)

Питееееер!!! (так и слышишь за этими бесконечными гласными знакомый голос, как наяву...) Дальний Восток!!! Средняя полоса!!! Урал, Сибирь! (здесь откликнулись около тридцати человек) Милое Поволжье! Татарстан!!! Сахалин! (на острове двое «гостевых» словно ждали этого призывного, родного голоса — откликнулись тут же!)

Землякиии... Мурманск!..

И — всё. Переключка закончилась. Я молча порадовалась за тех, кого поприветствовала Елена Владимировна, и поскольку не смогла сориентироваться, где мы — на Урале или пока нас и вовсе нет на «карте» Ваенги, поэтому в переключке участия не принимала.

Но какие наши годы! — и на нашей улице будет праздник... однажды, надеюсь, и города моей республики также будут отзываться в ночном эфире на голос Хозяйки самой замечательной «гостевой» в мире... (не хочу сглазить, но, кажется, в новом 2015-ом и мы, сыктывкарцы, увидим Елену Владимировну... Но! — пока об этом ни-ни...)

\* \* \*

23.11.13 Алёна Лоза (Воронеж):

«Всё-таки удивительная у нас «Гостевая». Сколько постов— столько судеб. Люди пишут о своих радостях и о своих горестях... И радуешься вместе, и сочувствуешь...»

Разве это не удивительно, ведь даже человека и не знаешь порой, а чувствуешь к его жизни СО-причастность...

В последнее время много трагических событий... И первая мысль: там же Аня живёт, а там Оля, Лена... Как они???

Чуть раньше, 19.10.13 (23:21) написал Владимир: «Доброй ночи, сударыня! ... Не знаю, задумывались ли Вы когда-нибудь, что можете даже влиять на судьбу человека? А лучше и не задумывайтесь, а то можно возгордиться и забронзоветь. Да Вам это и не грозит. И не перестаю этому удивляться и восхищаться. Знаю и всё же опасаясь. Каждый раз смотрю и понимаю, что опасаясь безосновательно... Какое счастье, что Вы есть. Здесь и сейчас. С нами.»

Ваенга не так часто появляется в гостевой, но появляется! И Владимиру ответила: «Владимир...» я посылаю Вам человеческий поцелуй))) за Ваши слова)))»

И ещё одна из записей в «гостевой» Елены Ваенги. Пишет Ночная радуга (08:01) 06.08.14

«Здравствуйте! Елена Владимировна! ... Как всегда ограничусь эмоциональным потоком бессознательного)))»

Про Ваш, Лена, патриотизм, гражданскую позицию, искренность, трудолюбие,

любовь к своему делу, уважение к поклонникам, человечность, про наше благодаря Вам знакомство с людьми на сайте здесь писали и пишут каждый день. Мне это тоже близко, но всегда хотелось копнуть глубже и понять, что же в Вас есть такое, чего нет в остальных? Ведь абсолютно точно существуют другие исполнители, обладающие качествами, перечисленными выше, и их тоже можно слушать с удовольствием и уважением... слушать, но не сродниться с ними...

Елена Владимировна, дорогая моя Леночка Ваенга, просто спасибо Вам за всё!..»

Я подчеркнула слова «Ночной Радуги»: «но не сродниться с ними» ... потому что тоже так думаю.

Её и правда любят, как очень близкого, очень родного человека, а потому так часто звучит осторожное: не меняйтесь... Оставайтесь такой, какой мы Вас полюбили...

Ангела-Хранителя Вам, Елена Владимировна!

*Галина Бутырева,*

*главный редактор журнала «Арт»*

## 2014. Культура во. Год культуры

«Ме ньоби кык билет концерт вылө, — шуис телефон пыр нылöй, и содтыштис: — он лысьт шуны «ог», локтö Печорайсь «Пельись» ансамбль». Дерт, огтö ог шу, öд тайö ансамбляс съылысь-йöктысьяс меным важöн тöдсаöсь, да и татчö жö 15 воысь унджык ветлö менам нывьёрт Нина Артеева (Яркова), кодкöд ми 2 во велöдчим педучилищын, пукалим öти пызан сайын, кöть и важöн тöдсаöсь, эг öти концерт вылын выступайтлöй, но тыр-бура найöс сцена вывсянь эг аддзывлы, ни эг кывлы, öд пыр занавес сайсянь ассьыд петан кадтö виччысян да тиралан-майшасян. Сийöн и локтi окотапырысь, торъя кыпид сьölöмön, нöшта на нимкодъ лои, кор аддзи училищысь классной руководителнымöс, Холопова Зинаида Александровнаöс.

А лов кыпöдана нимкодълуныс вöли водзын на, кор сцена вылө петисны мича паськöма съылысь-йöктысьяс. Збыльысь войвывса нывбабаяс: кутöны статьсö, юрсö кутöны, кужöны и вильшасьыштны. Воис сьölöм вылө налөн репертуарныс: öнiя, важ коми йöзкостса сыланкывъяс, абу вунöдöмаöсь и Лидия Даниловна Чувьуровалысь мича, мелi шыладгъяссö. И ставсö съылисны уна гөлöсön, öта-мöдкöд ладмöмön. Шензьöдисны коми шен йöктöмön. Пыр поли, мед эськö оз жö сорасьны, сы мында вежлалöм, бергалöм... Эз сорсьыны, збыль профессиональяс! Часön джынйөн нимкодътисны видзöдысьясöс печорасаяс, а кажитчис, быттö кызь минут и коли. Важöн нин эг видзöдлы татшöм концертсö. Аттö тiянлы сьölöмсянь. Кузь нэм да бур шуд! Дыр на съылöй да йöктöй! Ки пыдöсöй век на кылö, сэтшöма клопайтi.

*Лидия Логинова,*

*Коми Республикаса народной артистка*



\* \* \*

Я могу подписаться под каждым словом Лидии Петровны Логиновой. Для меня концерт печорских самодельных артистов тоже стал настоящим событием, хотя на недостаток культурных мероприятий (особенно в последнее время) нам, сыктывкарцам, грех жаловаться...

Поводом для этого отклика стал вопрос, который я задавала сама себе во время концерта, а интересно, есть ли у руководителя ансамбля «Пельсы» Елены Уваровой звание «заслуженный работник культуры»? Она создала в Печоре уникальный ансамбль, которому в прошлом году, говорят, исполнилось уже 20 лет. Это сколько же концертов, сколько программ, сколько фестивалей и конкурсов на их счету?! А теперь у неё появился и ещё один ансамбль «Югөр». К тому же она руководит и Соколовским народным хором, говорят.

Чтобы узнать, как у нас в культуре относятся к таким, не побоюсь сказать, к «штучным» руководителям, я позвонила в несколько адресов, но сразу ответа я нигде не получила...



*Елена Уварова.*

Как член наградной комиссии при Главе Республики Коми могу сказать, что не часто встречаются на заседаниях комиссии фамилии руководителей самодельных ансамблей, а уж самих участников, самодельных артистов, и вовсе редко. А ведь они представляют нашу республику иногда далеко за её пределами, как нынче модно говорить, создают положительный имидж о республике, о стране в целом. Ансамбль «Пельсы» из Печоры в последние годы участвовал на различных фестивалях как по России, так и за рубежом

(Кипр, Финляндия, Франция). И что же, хотя бы каким-нибудь грамотами отмечены артисты или их руководитель?

Слава богу, руководитель получает зарплату, а участники? Конечно, нет! Более того, на фестивали, говорят, им иногда приходится выезжать за свой счёт?! Энтузиазм, что называется, «зашкаливает»... Но я их понимаю, — потратив столько времени, сил, таланта наконец! — на создание новых номеров, им хочется это показать и другим!.. Я понимаю и руководителей района, у них недостаточно средств (а талантов — не счесть...), вот и приходится отказывать. Но сказать доброе слово этим энтузиастам, поощрить если не материально, то хотя бы морально, — можно?! Можно! Вот тут никто, кроме руководителей не виноват, если ваши таланты не отмечены правительственными наградами. Причём, я имею в виду таланты в любом деле — в культуре, в сельском хозяйстве, в образовании и т.д. и т.п.

А то, что Елена Уварова — талантливый руководитель, для меня несомненно. И артисты у неё очень талантливые люди! Они сохраняют наши традиции, наш фольклор, а тем самым, может, и душу народа?!

Мне кажется, надо непременно поднять на одном из заседаний Совета общественности при Министерстве культуры вопрос о повышении престижа тех, кто беззаветно служит своему делу, в том числе и на ниве самостоятельного искусства.

*Галина Бутырева,  
главный редактор журнала «Арт»,  
зам. председателя Общественного Совета  
при Министерстве культуры РК*

\* \* \*

Дорогие наши читатели!

Не забудьте оформить подписку на I-полугодие 2015 года. Подписку можно оформить в любом филиале «Почта России». Индекс издания 78503.

А также вы можете получать наш журнал круглый год в электронном виде.

Для этого достаточно отправить 200 рублей на наши реквизиты: **Автономное учреждение Республики Коми Редакция журнала «Арт»**

ИНН/КПП 1101485466/110101001 р/с 40603810328004070042

Коми ОСБ № 8617 БИК 048702640 к/с 30101810400000000640

в назначении платежа обязательно указать ФИО, телефон и e-mail